Адам Мицкевич

ПАН ТАДЕУШ

Annotation

«Пан Тадеуш или последний наезд на Литве» (Шляхетская история 1811-1812 годов в двенадцати книгах стихами) — знаменитое произведение мировой литературы, Адам Мицкевич написал в 1832-1834 годах «на парижской мостовой», «закрыв дверь от шума Европы» в кругу близких друзей. Поэма была задумана как сельская идиллия, но в процессе работы её рамки неизмеримо расширились, в ткань поэмы вплелась борьба Польши за освобождение — и получилась национальная эпопея.

- Пан Тадеуш
  - Книга первая. ХОЗЯЙСТВО
  - Книга вторая. ЗАМОК
  - Книга третья. ВОЛОКИТСТВО
  - Книга четвёртая. ДИПЛОМАТИЯ И ОХОТА[1]
  - Книга пятая. ССОРА
  - Книга шестая. ЗАСТЯНОК[1]
  - Книга седьмая. СОВЕТ
  - Книга восьмая. НАЕЗД
  - Книга девятая. БИТВА
  - Книга десятая. ЭМГИРАЦИЯ. ЯЦЕК
  - Книга одиннадцатая. ГОД 1812
  - Книга двенадцатая. ЗА БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ
  - (Эпилог)[1]
- notes
  - [*]
  - [1]
  - [2]
  - [3]
  - [4]
  - [5]
  - [6]
  - [7]
  - [8]

- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [39]
- [40]
- [41]
- [42]
- [43]
- [44]
- [45]

- [46]
- [47]
- [48]
- [49]
- [50]
- [51]
- [52]
- [53]
- [54]
- [55]
- [56]
- [57]
- [58]
- [59]
- [60]
- [61]
- [62]
- [63]
- [64]
- [65]
- [66]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]

- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]

- [16]
- [17]
- [18]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]

- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [39]
- [40]
- [41]
- [42]
- [43]
- [44]
- [45]
- [46]
- [47]
- [48]
- [49]
- [50]
- [51]
- [52]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [1]

- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]

- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]

- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]

- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]

- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]

Пан Тадеуш
или
Последний наезд[*] на Литве

Шляхетская история 1811—1812 годов в двенадцати книгах, стихами

Книга первая. ХОЗЯЙСТВО

Возвращение панича • Первая встреча в комнатке, другая за столом • Тонкие рассуждения Судьи об учтивости • Политичные замечания Подкомория о модах • Начало спора о Куцом и Соколе • Сетование Войского • Последний Возный Трибунала[1] — Взгляд на тогдашнее политическое положение в Литве и в Европе.

Отчизна милая, Литва, ты, как здоровье:
Тот дорожит тобой, как собственною кровью,
Кто потерял тебя! И я рисую ныне
Всю красоту твою, тоскуя на чужбине.

О матерь божия, ты в Ченстохове с нами,
Твой чудотворный лик сияет в Острой Браме
И Новогрудок свой ты бережёшь от бедствий [2],
И чудом жизнь мою ты сохранила в детстве [3].
(Едва я был вручён твоей святой опеке,
Я поднял мёртвые, сомкнувшиеся веки
И с ложа смерти встал, хвалу тебе читая,
Вернула ты мне жизнь, заступница святая) —
Так нас на родину вернёшь, явив нам чудо [4].
Позволь душе моей перелететь отсюда
В леса любимые, к родным лугам зелёным,
Над синим Неманом раскинутым по склонам;
К пшенице налитой, на золото похожей,
К полям, расцвеченным серебряною рожью,
Где жёлтый куреслеп в гречихе снежно-белой,
Где клевер покраснел, как юноша несмелый;
Всё опоясано межою, лишь местами
Там груши вкраплены с поникшими листами.

Среди таких полей, на берегу потока,
В густом березняке, на горке невысокой

Шляхетский старый дом стоял в былые годы [5];
Скрывали тополя его от непогоды,
И стены белые за порослью лесною
Издалека ещё сияли белизною,
Фундамент каменный, а домик деревянный,
И перед ригою виднелись постоянно
Две-три больших скирды, не могшие вместиться.
Округа славилась обилием пшеницы.
И видно по снопам, тяжёлым и душистым,
Которые блестят, как звёзды в поле чистом,
И по числу плугов, что пар ломают рано
На тучных полосах, богатых нивах пана,
Усердно вспаханных, как в огороде грядки,
Что дом зажиточен, содержится в порядке.
Оповещают всех раскрытые ворота,
Что рады здесь гостям и примут их с охотой.

Вот шляхтич молодой на бричке пароконной,
Объехав рысью двор, к крыльцу свернул с разгона
И наземь соскочил; а лошади лениво
Травою занялись, потряхивая гривой.
Пустынно на дворе и тихо на крылечке,
А на дверях засов и колышек в колечке.
Но путник ждать не стал, пока придёт прислуга,
Он снял засов — и дом приветствовал, как друга, —
Ведь не был здесь давно: он в городе далеко
Науки изучал и вот дождался срока[6].

Вбежал он в комнаты и поглядел на стены,
Как будто бы искал, уж нет ли перемены?
Всё та же мебель здесь расставлена в порядке:
Меж этих кресел он играл, бывало, в прятки;
Однако выцвели и съёжились предметы.
Висели по стенам старинные портреты;
Вот на одном из них Костюшко вдохновенный,
В чамарке краковской, сжимает меч священный;
Как будто бы на нём, у алтаря святого,

Монархов трёх изгнать даёт он клятву снова [7],
Не то погибнуть с ним. Вот на другом угрюмо

Рейтан о вольности скорбит, объятый думой:
Нож у груди, лицо героя непреклонно,
Раскрыты перед ним Федон и жизнь Катона [8].
Вот и Ясинский здесь, прекрасный и надменный,
И рядом Корсак с ним — товарищ неизменный [9];
Плечом к плечу они дерутся с москалями,
В предместьи между тем уже бушует пламя.
Куранты старые приезжий видит снова,
Они по-прежнему стоят в тиши алькова.
Вот с детской радостью он за шнурок берётся, —
И вновь Домбровского мазурка раздаётся! [10]

Стремглав несётся он по светлой галерее,
Чтоб детскую свою увидеть поскорее.
Вошёл и отступил, и огляделся живо[11]:
Всё было в комнате нарядно и красиво!
Но дядя — холостяк, кто ж мог здесь поселиться?
Гость знал, что тётушка давно живёт в столице.
Откуда ж в комнату попало фортепьяно?
Кто ноты с книгами перемешал нежданно?
Всё так небрежно здесь, но вид всего так сладок!
Руками юными наделан беспорядок.
Кто платье белое, сняв с гвоздика, повесил,
Распялив кое-как, на спинках мягких кресел?
Расставлены горшки с геранью по окошкам,
С петуньей, астрами, гвоздикой и горошком.
Приезжий поглядел в окно — и снова диво:
У края сада, где была одна крапива,
Теперь разбит цветник, посажены левкои
И выстрижен газон искусною рукою.
Сплетённый цифрами заборик [12]; у калитки,
Как пёстрая кайма, — вьюнки и маргаритки!
Должно быть, политы недавно были грядки;
Вон лейка полная стоит у чистой кадки,

Но нет садовницы, — куда ж она девалась?
Недавно здесь была, калитка колебалась,
Задетая рукой. След узкой женской ножки,
Босой и маленькой, лёг на песок дорожки.
На мягком и сухом песке белее снега —
След лёгкий, угадать не трудно, что с разбега
Оставлен девушкой, которая, казалось,
Босыми ножками едва земли касалась.

Приезжий не сводил с пустой аллеи взгляда,
Вдыхая аромат, несущийся из сада.
Лицом прильнул к цветам, стоявшим на окошке,
А мыслями бежал по беленькой дорожке
И на следах опять глазами задержался:
Всё думал, чьи они, и угадать старался.
Внезапно девушку он на плетне заметил
В одежде утренней; был нежный облик светел.
Едва прикрыта грудь оборкой вырезною,
Но плечи нежные сияют белизною.
Литвинка поутру так рядится обычно,
Но повстречаться так с мужчиной неприлично;
И девушка, хотя совсем одна стояла,
Но вырез на груди руками закрывала.
Он видел завитки её волос коротких,
Накрученных торчком на белых папильотках.
В сияньи солнечном, подобные короне,
Светились венчиком они, как на иконе.
Лица он не видал, она искала что-то,
Глядела на поле, склонясь вполоборота.
Нашла, захлопала в ладоши восхищённо,
Как птица, сорвалась с плетня и так с разгона
Помчалась в сад она по клумбам, через грядки;
Вот по дощечке вверх взбежала без оглядки [13],
В раскрытое окно стремительно впорхнула,
Как месяц молодой, пред юношей мелькнула.
Схватила платьице и к зеркалу пустилась.
Увидев юношу внезапно, так смутилась,

Что платье белое из рук её упало.
Лицо приезжего покрылось краской алой,
Как тучка ранняя, что солнце повстречала.
Глаза потупил он и к стенке прислонился,
Хотел заговорить, но только поклонился
И слова не сказал. Крик девушки был звонок, —
Так дети малые порой кричат спросонок;
Взглянул с испугом он, — но девушка пропала.
Ушёл взволнованный, и сердце трепетало,
Опомниться не мог, не понимал, как видно,
То ль радостно ему от встречи, то ли стыдно?

А дворня между тем уже оповестила,
Что бричка новая к подъезду прикатила.

Тут распрягли коней и увели мгновенно.
Овса засыпали, не пожалели сена.
Судья не отсылал коней на корм к еврею,
Он жил по старине, согласовался с нею.
Хоть дворня юноши в дверях не повстречала,
Но то небрежности отнюдь не означало [14], —
Все ждали Войского, пока он наряжался [15]
И ужином к тому ж ещё распоряжался.
В отсутствии Судьи хозяйничал он в доме,
Сам принимал гостей, заботясь о приёме
(Как дальний родственник, приятель закадычный).
Узнав о госте, он пошёл тропой привычной
К себе, — чтоб не встречать приезжих в пудермане [16],
На праздничный костюм сменить его заране.
Костюм готов с утра, разложен, отутюжен,
Недаром Войский знал, что будет званый ужин!

Пан Войский юношу приветствовал сердечно,
Он обнимал его и целовал, конечно;
Беседа началась, вопросы полетели, —
Вмиг десять лет друзья пересказать хотели! —
Несвязные слова, короткие ответы,

И восклицания, и вздохи, и приветы.
Но вот, наслушавшись приезжего досыта,
Пан Войский в свой черёд заговорил открыто:

«Тадеуш! (Юношу так звали в честь Костюшки,
Он родился в тот год, когда гремели пушки
И дорог был сердцам герой войны суровой.)
Тадеуш, ты как раз приехал в Соплицово
Теперь, когда у нас немало панн в усадьбе,
А дядя о твоей подумывает свадьбе!
К нам гости съехались, и выбор преотличный, —
Назначили у нас на завтра суд граничный [17]
Для разрешения с соседом Графом спора,
И Граф в именье к нам приехать должен скоро;
Сам Подкоморий к нам с семейством прибыл тоже [18].
В лес пострелять пошёл кой-кто из молодёжи,
А старшие в полях осматривают жниво
И за беседой ждут стрелков нетерпеливо.
Пойдём туда со мной, невдалеке от бора
Ты Подкомория и дядю встретишь скоро».

Тадеуш с Войским в лес направились тропою,
Наговориться всласть не могут меж собою.
А солнце между тем уже с небес сходило,
И хоть не жаркое, оно ещё светило.
И разрумянилось, подобно селянину,
Что с полевых работ спешит к себе в долину.
Уже багровый диск зашёл за лес зелёный,
И тихий мрак повил дубы, берёзы, клёны.
Наполнил ветви он, вершину сплёл с вершиной
И тёмный лес связал как будто воедино.
Лес, точно дом большой, виднелся над полями,
А солнце разожгло на тёмной крыше пламя,
Потом проникло вглубь, и только ветви тлели.
Блеснуло, — так свеча порой блеснёт сквозь щели, —
Погасло. И серпы звенеть вдруг перестали,
И грабли замерли, как будто бы устали.

Всё по хозяйскому исполнилось приказу, —
Как день окончился — бросать работу сразу.
Судья говаривал: «Всевышний знает сроки!
Когда батрак его покинет свод высокий.
Тогда и нам пора кончать работу в поле».
В именьи всё велось согласно панской воле,
Которую считал пан эконом законом;
Бывало, воз ещё не доверху гружённым
Свозили на гумно, лишь солнце заходило, —
И ноша лёгкостью своей волов дивила.

В порядке стройном шло всё общество из бора;
Вначале детвора под оком гувернёра,
Там, с Подкомория женой, Судья почтенный,
А рядом с ними шёл супруг её степенный;
За ними — барышни; на полшага, не больше,
От них шли юноши, как то водилось в Польше.
Никто не думал здесь о соблюденьи правил,
Никто мужчин и дам в порядке не расставил,
Но трудно было бы не соблюдать приличий:
Судья хранил в дому былых времён обычай,
И требовал от всех он дани уваженья
Для старости, ума, чинов и положенья [19].
Любил он говорить в те памятные годы:
«Порядком держатся и семьи, и народы,
С его падением приходит мир в упадок».

Кто приезжал к Судье, перенимал порядок,
Которым всё кругом в имении дышало,
Хоть незнаком ему порядок был сначала.

Соплица повстречал племянника приветом,
Он руку дал ему поцеловать при этом,
Поцеловался с ним, поздравивши с прибытьем,
И хоть пришлось совсем немного говорить им,
Но чувство прорвалось невольною слезою,
Которую смахнул он на ходу рукою.

За господами вслед, как повелось в поместье,
Крестьяне и стада с полей уходят вместе.
Там овцы скучились, а дальше, за оврагом,
Коровы шествуют неторопливым шагом —
И колокольчики звенят друг подле друга.
Несутся лошади со скошенного луга;
Стада на водопой бегут, стучат копыта,
Скрипит журавль, течёт струя воды в корыто.

Судья с гостями был, устал, гуляя долго,
Но пренебречь не мог он исполненьем долга.
На скотный двор пошёл сам поглядеть на стадо,
Приглядывать за ним хозяйским глазом надо.
Присмотра пан Судья не доверял дворовым,
Он утверждал, что скот был оттого здоровым.

Пан Войский свечи взял и вышел в сени с Возным[20],
Там разговором с ним он занялся серьёзным.
Расспрашивал его, зачем он спозаранка
Перенести столы велел под своды замка,
Чьи стены издали в густой листве белели.
Зачем столы туда поставил в самом деле?
Не мог понять того пан Войский, он скривился.
Пошёл спросить Судью, Судья и сам дивился,
Но было некогда менять распоряженье,
Пришлось созвать гостей, просить у них прощенья.
Тут Возный объяснил Судье весьма пространно,
Что изменить пришлось распоряженье пана,
Затем, что дом жилой для пира не годится,
Гостям почтенным в нём никак не разместиться;
А замок цел ещё, не обвалились своды,

Лишь треснула одна стена за эти годы;
Нет рам, но в летний зной зато дышать свободней,
А близость погребов для челяди удобней.
Тут он мигнул Судье, видать по важной мине,

Что перенёс столы он по другой причине.

Почти в двух тысячах шагах от Соплицова
Руины высились, как памятник былого.
То замок родовой Горешков был [21]. В восстаньи
Погибли все они: богатство, в наказанье,
Отписано в казну; всего за четверть века
Вконец разорено имение опекой.
По женской линии родным кой-что досталось
Да перепало там и кредиторам малость.
Лишь замок уцелел — средь местного шляхетства
Никто не зарился на эту часть наследства;
Но юный Граф, сосед и родственник магната, —
Хотя родство у них весьма далековато, —
Когда вернулся вновь из странствий заграничных,
Пленился готикой старинных стен кирпичных [22].
Судья по записям доказывал, однако,
Что замок — дело рук не гота, а поляка [23].
У Графа стал Судья оспаривать руины,
Неведомо зачем процесс затеяв длинный [24].
Но тяжба их в судах осталась без ответа
И поступила в суд губернский из повета,
В сенат, и наконец, дорогою привычной,
Вернулась вновь она в исходный суд — граничный.

А Возный дело знал и в замок звал недаром, —
Хватило места всем в огромном замке старом.
Колонны круглые поддерживали своды,
Пол камнем вымощен, как строили в те годы,
И стены чистые, без всяких украшений;
Лишь по углам рога ветвистые оленей,
Фамилии стрелков поставлены под ними,
И даты рядышком с гербами родовыми.
Не стёрлись имена, хоть лет промчалось много,
Горешков «козерог» прибит был у порога [25].

Всё общество в сенях столпилось в полном сборе.

Вот к месту главному идёт пан Подкоморий,

Он самый старший здесь и возрастом и чином,
Шагает, кланяясь и дамам и мужчинам.
Ксёндз и Судья за ним [26]. Как водится доныне.
Вначале ксёндз прочёл молитву по-латыни.
Мужчины выпили, на скамьи гости сели,
Литовский холодец в молчаньи дружном ели.

Тадеуш молод был, но на почётном месте
По праву гостя сел и с дамами был вместе.
Меж ним и дядюшкой местечко пустовало,
Казалось, что оно кого-то поджидало.
(Судья поглядывал на дверь, — по всем приметам,
И сам кого-то ждал, не говоря об этом.)
Не зная отчего, Тадеуш, точно дядя,
Обеспокоен был, на то же место глядя.
И странно! Столько панн сидело тут же, рядом,
Тадеуш ни одной не удостоил взглядом.
Для королевича нашлась бы тут невеста,
А юноша глядел лишь на пустое место!
Не знал он, чьё оно, — пленяет юность тайна,
И был взволнован он загадкой чрезвычайно!
Своей соседке он едва сказал два слова,
Тарелок не менял, не подливал ей снова,
Небрежен с нею был и по своим манерам
Не выказал себя столичным кавалером;
Пустое место лишь влекло и волновало, —
В мечтаньях юноши оно не пустовало!
Так мысли прыгали, гоняясь друг за дружкой,
Как скачут под дождём лягушка за лягушкой.
Но образ девушки царил в душе упорно,
Как лилия царит над синевой озёрной [27].

Пан Подкоморий сам за третьей переменой
За дочерями стал ухаживать степенно.
Налив одной вина, другой подвинул почки,

Сказав: «Приходится услуживать вам, дочки,
Хотя не молод я!» — Тут юноши, в смущеньи,
Скорей придвинули соседкам угощенье.
Меж тем насупился Соплица недовольный,
Венгерского хлебнул и разговор застольный
Затеял: «Новые порядки, грош цена им!
Мы юношей своих в столицу посылаем, —

Не стану спорить я, что сыновья и внуки
Постигли лучше нас все книжные науки;
Да жаль, не учат их, как жить с людьми, со светом,
И право, старики их превосходят в этом!
Бывало, шляхтичи у панов жили годы,
И сам я в юности служил у воеводы [28] —
У подкоморьева отца, — тут он соседу
Слегка колено сжал и продолжал беседу. —
Сказать по совести, пан, памяти блаженной,
Манерам нас учил, учтивости отменной!
Признателен ему, добра принёс он много,
И за него молю до сей поры я бога.
Хоть не отмечен был вниманьем воеводы;
И дома землю я пашу все эти годы,
В то время как среди воспитанников пана
Достигли многие и почестей, и сана,
Но обо мне никто не скажет здесь с упрёком,
Чтоб я кого-нибудь обидел ненароком.
По правде говоря — искусство обхожденья
Даётся нелегко и требует терпенья!
Уметь расшаркаться [29] и руку жать с улыбкой
Труд небольшой ещё, но было бы ошибкой
То вежливостью звать: купеческая штука
Не старопольская шляхетская наука!
Училась молодёжь учтивости недаром;
Учтивым должно быть и с малым и со старым,
Учтив с женою муж, пан со своей прислугой…
Учтивость разная! Большая в том заслуга,
Чтоб досконально знать искусство обхожденья

И каждому воздать согласно положенью.
Беседа панства шла, бывало, не смолкая,
О счастье родины, судьбе родного края.
А шляхта речь вела о всех делах повета.
Давала шляхтичу понять беседа эта,
Что знает всё о нём доподлинно шляхетство,
И шляхтич дорожил своею честью с детства.
Теперь не думают о том: каков ты? кто ты? [30]
И всякий всюду вхож, о чести нет заботы!
И если не шпион, не нищ, то примут пана:
«Не пахнет золото!» — слова Веспасиана [31].
Он деньги брал от всех, мы всех встречаем смело, — .
Род, воспитание, ни до чего нет дела!
По чину-званию встречаем, как магната,
И чтим приятеля, как чтут менялы злато».

Так говоря, Судья оглядывал собранье.
Встречала речь его достойное вниманье.
Однако знал Судья, что юности наскучит
Такая проповедь, хоть многому научит.
На Подкомория он поглядел с сомненьем,
Но тот не прерывал Соплицы поощреньем,
Заслушался, как все, и, головой кивая,
Поддакивал ему, из чары отпивая.
Когда замолк Судья, кивнул ему он с жаром.
Судья венгерское разлил гостям по чарам.
«Панове! подлинно всему венец — любезность!
Кто ею овладел, найдёт в ней ту полезность,
Что, оценив других, себя понять сумеет
И те достоинства, которыми владеет.
Кто хочет взвеситься хотя б из интереса,
Другого должен он поставить мерой веса.
Любезность всех других достоинств нам дороже,
И дамы вправе ждать её от молодёжи;
Особенно ж когда богатство, древность рода
Венчают красоту, что создала природа.
Отсюда путь к любви, поэтому нередки

Союзы славные [32]. Так рассуждали предки,
А нынче…» Тут Судья на юношу с упрёком
Взглянул и замолчал, как будто бы уроком
Хотел закончить речь, замолкши ненароком,

Но табакеркою прищёлкнул Подкоморий [33]:
«Нет, в старину порой похуже было горе, —
Не знаю, мода ли другая, чем когда-то,
Умней ли юноши, но нет того разврата!
Я помню до сих пор в мои былые годы
Влияние на всех французской пришлой моды.
Наехали юнцы из заграниц толпою,
Нахлынули на край ногайскою ордою;
Гоненья начались на старые законы
И на обычаи, и на кунтуш суконный! [34]
Кто мог бы не жалеть о тех молокососах.
Гнусящих в нос порой, а иногда безносых [35],

Читающих с утра брошюры и газеты,
Хвалящих новые законы, туалеты!
Шляхетство предалось ужасному влиянью.
Кого захочет бог подвергнуть наказанью,
Безумие нашлёт он на того вначале, —
Пред вертопрахами и мудрые молчали!
Боялся их народ, как мора или сглаза,
Не знал он, что и в нём уже сидит зараза.
Ругали модников, но все по их примеру
Бросали кунтуши, обычаи и веру.
Разгул на Масленой, потом иная доля:
За карнавалом вслед Великий пост — неволя!

Хоть я ребёнком был, но помню эти годы,
В Ошмяны прибыл к нам угодник новой моды [36],
Подчаший, — ездил он в кабриолете узком,
И первый на Литве в костюме был французском [37].
Все, как за ястребом, за ним гнались [38]; едва ли

Его в те времена они не ревновали
К тем, у чьего крыльца появится двуколка,
Звал по-французски он свой экипаж «карьолкой»,
Там на запятках две кудрявые болонки,
На козлах — немчура, как жердь худой и тонкий,
В чулках и башмаках, а ноги, как тычины,
Парик на голове, а сам бесстрастный, чинный,
И за спиной коса свилась в мешке из меха,
Как глянут старики — покатятся со смеха.
Крестясь, твердил народ, что вот на белом свете
Венецианский чёрт в немецкой мчит карете! [39]

Каков Подчаший был, описывать не стану:
Похож на какаду, похож на обезьяну!
Всё с золотым руном он сравнивал, бывало,
Парик, но колтуном его толпа прозвала! [40]
Кому же не пришлось по вкусу подражанье,
И кто предпочитал родное одеянье,
Таился и молчал, — не то повесы сдуру
Могли бы закричать, что губит он культуру.
Так крепко этот вздор проник уже в натуру!
Подчаший заявил, что он цивилизатор,
Организует нас, как истый реформатор!

Что суть французского «великого» открытья
Есть равенство людей. Не стану говорить я
О нём, известно нам из Нового Завета,
С амвона ксёндз всегда провозглашал нам это,
Да только не было Завету примененья.
Однако модники тогда от ослепленья
Не верили вещам, известнейшим на свете, —
Не напечатанным французами в газете.
Подчаший-демократ явился к нам маркизом.
Меняют титулы в Париже по капризам:
Раз в моде был маркиз, он сделался маркизом!
Но мода держится не долгий век в Париже,
И демократом стал Подчаший, вот поди же!

Когда же Франция пошла с Наполеоном,
Подчаший величал себя уже бароном.
Но всё меняется! Когда бы жил он дольше,
То демократом бы явился снова в Польше.
Хоть мода и глупа, известно всем, однако, —
Что выдумал француз, то мило для поляка.

Что ж, молодёжь теперь успела измениться,
Не платьями её прельщает заграница,
Не ищет истины она в брошюрках низких,
Не совершенствует язык в кафе парижских [41].
Премудр Наполеон и не даёт народу
Заняться модою тщеславию в угоду.
Успехи воинов сердца нам окрылили,
И о поляках вновь везде заговорили [42];
А значит, Польше быть, как в золотые годы, —
Из лавров расцветёт и дерево свободы!
Жаль, время тянется в бездействии печальном,
И всё нам кажется несбыточным и дальним.
Так долго ждём гостей — и вести ни единой.
«Отец, — вполголоса спросил он бернардина, —
Ты из-за Немана весть получил недавно [43];
Какие новости из Польши нашей славной?»
«Да ровно никаких! — ксёндз молвил беззаботно,
Видать, что слушал он беседу неохотно, —
Что мне политика? Я не ищу в ней славы,
А если получил известье из Варшавы, —
Дела церковные, и вам, как светским людям,
Неинтересные, касаться их не будем».

Так говоря, повёл в конец стола глазами,
Где русский капитан беседовал с гостями [44].
У шляхтича в селе стоял он на квартире,
Был приглашён Судьёй принять участье в пире.
Он смачно ел и пил, с гостями не чинился,
«Варшава» услыхав, тотчас насторожился.
«А, Подкоморий пан, вас любопытство точит!

Пан о Варшаве знать, о Бонапарте хочет!
Я не шпион отнюдь, но я по-польски знаю.
Отчизна! Чувствую, панове, понимаю!
Вы — ляхи, русский — я, теперь мы не воюем,
В знак перемирия все вместе мы пируем.
Мы и с французами, бывало, выпить рады,
Пока не загремят раскаты канонады.

Как говорят у нас: кого мы бьём, тех любим;
Трясём, как грушу, их, зато и приголубим!
Скажу — война близка. Вчера был у майора
Из штаба адъютант, он говорил, что скоро
Отправимся в поход! Пойдём не то на турка,
Не то на Францию; ну, Бонапарт — фигурка!
Нам без Суворова теперь придётся скверно.
Как на французов шли, то сказывали, верно,
Что Бонапарт колдун, ну, и Суворов тоже [45],
Вот чары с чарами в бою столкнулись. Что же?
Раз Бонапарт исчез — да где ж он? Столько споров!
А он лисою стал, да стал борзой Суворов;
Стал кошкой Бонапарт, царапался немало,
Суворов стал конём. Ага, кому попало?
Попался кот впросак! Что скажете, панове?»
Лакеи с блюдами стояли наготове, —
Он к яствам приступил и смолк на полуслове.

На радость юноши раскрылась дверь широко,
Тадеуш увидал в одно мгновенье ока:
Вошла красавица. Все перед нею встали,
Так незнакомую приветствуют едва ли.
Она была стройна, а грудь манила взоры,
На платье розовом сплелись цветов узоры.
И вырез низок был согласно новой моде,
И веер был в руках, — хотя не по погоде,
Казалось, веер был прелестною забавой,
Он сыпал искрами налево и направо.

К лицу красавице была её причёска
И ленты розовой атласная полоска;
Светился бриллиант меж локонами вдетый,
Как светится звезда в большом хвосту кометы.
Наряд был праздничный; кругом шептались панны,
Что слишком вычурный и для деревни странный.
Но панство туфелек её не разглядело.
Как будто не прошла она, а пролетела.
Марионетки так стремительны и прытки,
Когда их дёргают украдкою за нитки.
Приветствуя гостей, кокетливо и смело
К накрытому столу она пройти хотела.
Но как пробраться ей? Сидит в четыре ряда
На четырёх скамьях шляхетство, вот досада!
Перешагнуть скамьи нужна была сноровка,
Она меж двух скамей протиснулась так ловко!
У самого стола мгновенно очутилась,
Как биллиардный шар по ряду покатилась;
Тадеуша на миг задела кружевами…
Как вдруг запуталась оборка меж скамьями.
Тут гостья, оступясь, невольно наклонилась,
Плеча Тадеуша коснувшись, извинилась
И тотчас рядом с ним тихонько в кресло села.
Но не пила вина и ничего не ела;
На юношу она поглядывала зорко,
Играла веером и кружевной оборкой,
То ленты светлые в кудрях перебирала,
То кудри чёрные на пальцы навивала.

Прошло в молчании минуты три-четыре,
Сперва беседа шла чуть слышная на пире,
Потом вполголоса мужчины обсуждали
Охоту псовую и горячиться стали.
Сперва Нотариус с Асессором схватился [46],
Стоял за Куцого, которым он гордился;
Вот ссора вспыхнула: Юрист твердил упорно,
Что Куцый зайца взял, он лучший пёс, бесспорно!

Асессор Соколу приписывал победу;
Кичась своей борзой, назло законоведу!
Иные Куцого хвалили, но едва ли
Другие Сокола не больше восхваляли;
Те были знатоки, свидетели — другие.
Соседке говорил Судья слова такие:
«Прошу прощения, что не дождались пани,
Проголодаться мы успели в ожиданьи.
К тому же я не знал: почтит ли пани ужин,
И подавать велел — шляхетству отдых нужен».
Вот к Подкоморию Соплица обратился
И о политике с ним в разговор пустился.

Меж тем как занялось шляхетство разговором,
Тадуеш с жадностью впился в соседку взором.
И радовался он, что изо всех соседок
Свою избранницу он встретил напоследок.
Тадеуш покраснел, забилось сердце сладко,
Не подвела его счастливая догадка!
Дождался наконец! Ведь с ним сидела панна,
С которой в сумерках он встретился нежданно.
Казалось, что была повыше панна эта,
Не изменилась ли она от туалета?
И золото кудрей запомнил он как будто,
А эти — чёрные и завитые круто.
Наверное, они и не были другими —
От солнечных лучей казались золотыми.
Лица не разглядел, она исчезла живо,
Но догадался он, что девушка красива,
Что губы красные, как вишенки на ветке,
Что тёмные глаза; и у его соседки
Такие же глаза, уста. Одно, пожалуй,
Что в возрасте могла быть разница немалой:
Казалась юной та, а рядом с ним сидела
Особа, красотой пленяющая зрелой.
Но дела нет ему до возраста красотки,
Для молодого все красотки — одногодки,

И женщина юна для юных постоянно,
Как для невинного — всегда невинна панна.

Хотя Тадеушу шёл год уже двадцатый,
Жил с детства в Вильне он, и город был богатый,
Но рос он у ксендза, воспитывался строго [47],
В суровых правилах, и видел он немного.
Вернулся в край родной с невинною душою
И с чистым сердцем он, но с жадностью большою
К веселью, к радостям. Был в ожиданьи сладком

Любви; рассчитывал натешиться порядком
Свободой новою, под дядюшкиным кровом;
Знал, что хорош собой, был юношей здоровым,
В наследство от родных он получил здоровье.
Соплицею он был, Соплицы все по крови
Здоровяки, к тому ж хорошие солдаты,
В науках, может быть, немного слабоваты.

Гордиться юношей могли бы смело предки:
Хороший был ездок и пешеход был редкий.
К наукам, правда, он не чувствовал влеченья,
Хоть денег не жалел Судья на обученье;
Любил охотиться и фехтовал отменно:
Ведь для карьеры он готовился военной, —
Так завещал отец в своей последней воле, —
И юноша был рад, скучал он в душной школе.
Но вызвал дядюшка к себе его в поместье —
Писал, что, мол, пора подумать о невесте,
К хозяйству приступить, а там сыграть и свадьбу;
Деревню обещал, а после — всю усадьбу.

Черты Тадеуша не скрылись от соседки,
Недаром взгляд её был пристальный и меткий!
Она заметила, что юноша был строен,
Высок, широкоплеч, внимания достоин.
Взглянул он на неё и покраснел мгновенно,

Едва лишь встретился с улыбкой откровенной.
Вот он оправился от первого смущенья,
Сам глянул ей в глаза; не скрывши восхищенья,
Глядела и она. Глаза при этой встрече
Нежданно вспыхнули, как восковые свечи.

Тут по-французски с ним она заговорила;
О школе, городе любезно расспросила,
О новом авторе выспрашивала мненье.
Хотела обо всём узнать его сужденье;
О живописи с ним заговорила смело,
О танцах, музыке, — всё знала, всё умела!
Вот стала разбирать гравюры и пейзажи,
От мудрости такой остолбенел он даже!
Боялся, что она смеётся над невеждой,
Как на экзамене дрожал, хотя с надеждой:
Учитель, правда, был красивый и нестрогий;
Соседка поняла предмет его тревоги
И завела она беседу с ним попроще:
Об их житье-бытье, о поле, доме, роще.
Учила юношу, как не скучать в именьи,
Как отыскать себе получше развлеченье.
Тадеуш отвечал смелее; в разговоре
Сошлись и поняли они друг друга вскоре;
Уже она над ним подшучивала мило:
Три хлебных шарика на выбор предложила;
Он ближний шарик взял, лежавший за стаканом;
То не понравилось сидевшим рядом паннам.
Смеялась женщина, не объяснив секрета,
Кого касается счастливая примета.

В другом конце стола шло время в жарком споре:
Сторонников обрёл немало Сокол вскоре,
Бранили Куцого, на спорщиков насели,
И за столом уже последних блюд не ели;
Все пили, с места встав и ссорясь меж собою:
Юрист, как на току глухарь, без перебоя

Всё толковал своё, упрямцев атакуя,
Жестикулировал, безудержно токуя.
(Ведь адвокатом был когда-то пан Болеста
И обойтись не мог без красочного жеста.)
Вот руки он согнул, к бокам прижавши локти,
И пальцы вытянул, их удлиняли ногти,
Он представлял борзых и, не моргнувши глазом,
Как закричит: «Ату! Борзых пустили разом!
Псы вместе сорвались, столь необыкновенно,
Как будто два курка, нажатые мгновенно!
Ату! А заяц — шмыг! и в поле — мах рывками!
А псы за ним!» Юрист всё пояснял руками,
И пальцы своре псов искусно подражали.
«Борзые — хоп! — за ним, от леса отбежали.
Тут Сокол вырвался, — пёс ловкий, но горячий,
Я знал, что Соколу не справиться с задачей!
Косой был не простак, он разгадал уловки,
И по полю летел, видать, зайчина ловкий!
Но лишь почувствовал он свору за собою,
Направо кувырком, и псы за ним гурьбою

А он налево скок! и в чаще очутился,
Налево псы за ним, мой Куцый изловчился
И — цап!» Юрист вскричал, а пальцы пробежали
Всю ширину стола и до конца достали.
«Цап!» — закричал Юрист над парочкой так рьяно,
Как будто бы хватил их обухом нежданно.
Обоих поразил удар нежданный метко,
И от Тадеуша отпрянула соседка, —
Так липы старые сплетаются ветвями,
Но ветер ветви рвёт; разъединились сами
И руки под столом, успевшие сродниться.
Румянцем вспыхнули взволнованные лица.

Тадеуш поспешил смущенье скрыть словами,
Сказав Юристу так: «И я согласен с вами,
Ваш Куцый славный пёс, ну а хорош ли в деле?»

«Ещё бы не хорош! Да вы меня задели!
Он в деле лучше всех!» — «Борзая без порока!»
Тадеуш оценил её весьма высоко,
И даже превознес над всем собачьим родом,
Жалея, что видал её лишь мимоходом.

Асессор, выронив бокал, нагнулся низко,
На юношу взглянул он взором василиска [48],
Асессор ростом мал и с виду был невзрачен,
Но устрашал друзей, когда был зол и мрачен,
На сеймиках, балах всё перед ним дрожало,
Как будто не язык был у него, а жало;
Шутил ехидно он, но так умно и кстати,
Что шутки острые годились для печати.
Он сам богатым был и получил наследство,
Но промотать успел свои большие средства
В ту пору, как ещё вращался в высшем свете.
Теперь служил, — хотел он вес иметь в повете.
Охоту обожал, не знал иной забавы:
Напоминал ему заветный рог облавы
Те давние года, когда он был богатым,
Десятки егерей держал, под стать магнатам…
Осталось две борзых. Одну из них позорят,
И с ним, со знатоком, ещё к тому же спорят!
Известно было всем, что он за Телименой

Ухаживал, томясь надеждой сокровенной;
Однако вовремя сознав свою ошибку,
Закинул удочку он на другую рыбку.
Теперь заговорил с улыбкой безобидной,
А между тем была улыбка преехидной!
«Немало в Вильне школ, однако же нескладно
Там учат о борзых и путают изрядно:
В Варшавском княжестве, и верно в целом свете,
Твердят пословицу, известную в повете:
«Борзая без хвоста, как шляхтич без усадьбы».
Бесхвостие — порок. И мне хотелось знать бы

За что его теперь достоинством зовёте?
Хочу я выслушать сужденье панской тёти!
Хотя она гостит недавно в Соплицове,
В столице век жила и ей охота внове,
Но лучше молодых в ней знает толк, наука
Приходит с возрастом, я сам тому порукой!

Был юноша сражён, как громовым ударом,
Смутился, замолчал и только в гневе яром
На остряка глядел со злобою во взоре.
На счастье, тут чихнул два раза Подкоморий.
Все крикнули: «Виват!» Ответил он поклоном
И, табакерку взяв, раскрыл её со звоном.
Была алмазами усыпана оправа
С изображением монарха Станислава [49].
Тот королевский дар берёг отец покойный,
И пользовался им по праву сын достойный.
Вот звоном подал знак, что просит он вниманья,
Все смолкли, и никто не нарушал молчанья.
«Панове, — он сказал, — не место здесь раздорам,
Луга, поля и лес — вот наш единый форум! [50]
Я дома не берусь решать дела такие,
На завтра отложу, пусть отдохнут борзые.
Сегодня выступать истцам я не позволю.
Перенеси процесс на завтра, Возный, в поле;
К тому же завтра Граф прибудет с егерями,
И мой сосед Судья поедет вместе с нами,
И пани с панами, и пани Телимена,
Охоту славную устроим несомненно!
Поможет Войский нам и делом и советом».
Попотчевал его он табаком при этом.

Старик не тешился беседою живою,
Сидел, нахмуренный, с поникшей головою.
Ещё не высказал он своего сужденья,
Хоть спрашивал уже кой-кто его решенья.
Понюшку молча взял и, словно вспоминая,

Не нюхал, а сидел, табак переминая.
Понюхал и чихнул, а чох отдался эхом.
Качая головой, сказал он с горьким смехом [51]:
«Мне уши старые те споры истерзали.
Ну чтоб великие охотники сказали,
Когда б услышали подобный спор горячий,
Предмет которого — ничтожный хвост собачий!
Ах, что б сказал Рейтан? [52] От этакого спора
В могилу бы он лёг, чтобы не слышать вздора.
Что Неселовский бы ответствовал на это[53],
Владелец лучших свор и первый пан повета?
Есть двести егерей в его именьи панском
И сто возов сетей при замке ворончанском! [54]
Он, как монах, живёт, не ездит на охоту,
Так много лет прошло, что сбился я со счёту!
Бялопетровичу, и то он шлёт отказы [55].
Охота для него не детские проказы!
Я спрашиваю вас, пристало ль воеводе
За зайцами гонять по вашей новой моде?
На языке стрелков, в кругу их молодецком,
Кабан, медведь и волк звались зверьём шляхетским,
А звери без клыков и без рогов к тому же, —
Добыча платных слуг и челяди похуже,
Шляхетство в руки бы двустволку ту не взяло,
В которой дробь хотя б однажды побывала.
Держали мы борзых: когда поедем с лова,
Выскакивал русак — вот травля и готова!
Спускали мы собак, и, припустив лошадок,
Скакали малыши — таков уже порядок.
Смешила стариков сыновняя потеха.
Когда я слышал вас, мне было не до смеха!
Пускай вельможный пан остаться мне позволит
И от поездки с ним на этот раз уволит,
На травле заячьей ноги моей не будет!
Я знаю, пан простит, по совести рассудит:
Зовусь Гречехой я: от царствованья Леха
На зайца ни один не хаживал Гречеха!» [56]

Затейливая речь покрылась смехом вскоре,
Встаёт из-за стола достойный Подкоморий.
Он самый старший здесь и возрастом и чином,
Шагает, кланяясь и дамам и мужчинам.
Ксёндз и Судья за ним; супругу Подкоморья
Повёл хозяин сам с почтением во взоре.
Соседку — юноша, но был он не в ударе,
А с дочкой Войского Нотариус шёл в паре.

Тадеуш молодёжь вёл в ригу; злясь на что-то,
На что? И сам себе не отдавал отчёта.
Беседа за столом Тадеуша смущала,
Он вновь и вновь её перебирал сначала,
И слово «тётушка» жужжало прямо в ухо,
Как будто бы жужжит назойливая муха.
Хотел он Возного порасспросить о пани,
Но, не поймав его, остался при желаньи.
Гречеху он искал, но тот ушёл с гостями,
Заняться должен был домашними делами:
Ночлег готовили в дому для именитых,
Старик раздумывал, как лучше разместит их.
Устроить юношей Тадеуш был обязан,
На сеновале им ночлег Судьёй указан.

Настала тишина, в монастыре как будто,
За колоколом вслед — безмолвия минута.
Лишь окрик сторожа ночную мглу тревожит,
Да всё ещё Судья забыться сном не может;
Хозяин-хлебосол обдумывал забавы
В дому и на поле, в окрестностях дубравы.
Распоряжения давал он экономy,
Конюшим, егерям, принадлежавшим к дому.
Вот просмотрел счета, в них должно разобраться,
И Возному сказал, что хочет раздеваться.
Тут Возный развязал парчевый слуцкий пояс [67],
Витая бахрома на нём висела сдвоясь,

Золототканный шёлк, бесценный по работе,
Он чернью серебра покрыт на обороте.
На обе стороны тот пояс надевали:
На праздник — золотой и чёрный — в дни печали.
Один лишь Возный мог сложить его в порядке.
Он говорил Судье, разглаживая складки:
«Ведь в замке трапеза была ничем не хуже,
И в выигрыше пан останется к тому же!
С сегодняшнего дня владеть мы замком вправе,
Понеже есть статья, известная в уставе [58],
Которая теперь нас вводит во владенье,
Противной стороне отрезав отступленье!
Кто в замке принимал, тот подтвердил тем самым,
Что он хозяин в нём. Ответчикам упрямым
Придётся отступить. Свидетельство их будет
Во вред самим себе. Вам замок суд присудит!»
Уже уснул Судья, а Возный вышел в сени,
Уселся, положив тетрадку на колени,
Которую носил, как требник, неизменно
И дома и в пути читал обыкновенно.
Реестр судебных дел хранил бедняга свято [59]:
В нём были списки лиц, судившихся когда-то,
Которых Возный сам провозглашал бывало,
А об иных слыхал, таких имён немало,
Обычный список лиц для глаз непосвящённых,
А Возный в нём читал о годах отдалённых.
Все тяжбы старые: Огинского с Визгирдом,
Монахов с Рымшею, а Рымши с Высогирдом,
Потом Мицкевича с Малевским, а с Петковским
Юраги и ещё Гедройца с Рудултовским…
Да всех не перечесть, фамилий вереница,
А в довершение — Горешко и Соплица.
Дела минувших дней из списка выплывали,
Истцы, свидетели пред ним опять вставали.
Он видел сам себя в кунтуше яркоалом,
Жупан белёхонек, стоит пред трибуналом,
И саблею своей с достоинством бряцает

И по столу стучит: «Спокойно!» — восклицает.
Мелькают перед ним уставы трибунала…
Последний Возный спит, смежив глаза устало [60].

Так проводили жизнь в то памятное лето,
В повете на Литве, когда почти полсвета
Слезами изошло. Бог войн, вооружённый
Литыми пушками, полками окружённый,
Орлов серебряных запрягши в колесницу,
А с ними золотых[61], простёр до Альп десницу:
Маренго, Аустерлиц, Египет, пирамиды,
Он с гвардией прошёл, она видала виды!
Разя, как молния, он вёл войска к победам,
И слава бранная за ним стремилась следом,
Взносила имена: у берегов литовских
Отбилась, наконец, от грозных войск московских!
Они стеною путь в Литву закрыли сразу,
Чтоб вести не могли переносить заразу!

Но вести падали в Литву, как будто с неба.
Нередко инвалид, просивший корку хлеба
Христовым именем, придя за подаяньем,
Оглядывался вдруг с тревогой и вниманьем;
И если не видал нигде мундиров красных [62],
Еврея, москаля, других людей опасных,
То признавался вдруг, что он пришёл из Польши,
Отчизны защищать уже не в силах больше,
Вернулся умереть! Как все тогда рыдали!
Как все наперебой страдальца обнимали!
Садился он за стол и, окружённый лаской,
Вёл речи о боях, казавшиеся сказкой:
Как из Италии спешит домой Домбровский —
О Польше помнит он и о земле Литовской!
Собрал он земляков уже в Ломбардском поле;
Князевич между тем взошёл на Капитолий,
Приказы отдаёт; к ногам Наполеона
Отбитые в боях он положил знамёна [63],

Как Яблоновский наш на острове далёком [64],
Где сахарный тростник исходит сладким соком,
На негров ринулся с дунайским легионом,
А сам о родине грустит в раю зелёном».

Шли вести по домам, и парню молодому
Случалось пропадать негаданно из дому.
Лесами тёмными он потаённо крался
И от солдатских пуль он в Немане скрывался.
Ныряя, в Польшу плыл [65], а чуть на берег вышел —
«Приветствуем тебя!» слова родные слышал.
И прежде чем уйти, кричал он в назиданье
С пригорка москалям: «До скорого свиданья!»
Так пробрались уже Горецкий, Обухович [66]
И Межеевские, Рожицкий и Янович,
Пац, Бернатовичи, Брохоцкий с Гедимином,

Петровские и Купсть — все шли путём единым!
Бросали край родной и семьи забывали,
В отместку москали добро конфисковали.

Из Польши квестарь вдруг являлся — и поди же —
Едва он узнавал своих хозяев ближе,
Как им показывал газету потаённо:
А в ней — число солдат, названье легиона,
Фамилии вождей, бои на поле чести,
И весть о славе шла порой со смертью вместе!
Так через много лет родные узнавали
Судьбу сыновнюю и траур надевали.
По ком был траур тот — родители молчали,
Но шляхтичи судить могли по их печали.
Так радость панская, иль траур для повета
Являлись в те года единственной газетой!

Таким же квестарем был Робак, по приметам,
Наедине с Судьёй беседовал, при этом
Известья новые кружили по застянку.

Никто бы не сказал, взглянувши на осанку
Монаха, что привык он хаживать в сутане,
В монастыре служил, а не на поле брани.
Над правым ухом шрам прямою был уликой
Того, что нанесён он саблей или пикой,
Другой рубец на лбу. Указывали знаки
Отнюдь не на посты — на битвы и атаки.
Монах проникнут был насквозь военным духом.
Имел он грозный вид, не только шрам над ухом,

Когда во храме он с поднятыми руками
Народу говорил у алтаря: «Бог с вами!»,
То делал поворот так чётко и так браво,
Как будто выполнял «равнение направо!»
Провозглашал «аминь» подчас таким он тоном,
Каким командуют пред целым эскадроном.
И примечали все за мессой поневоле,
Что был в политике осведомлён он боле,
Чем в житиях святых. Пускаясь в путь-дорогу
За сбором, в городе имел он дел помногу:
То письма получал — и ни за что на свете
При посторонних он не вскроет письма эти, —

То посылал гонцов — куда? их путь неведом! —
То ночью уходил сам за гонцами следом,
Усадьбы посещал, со шляхтою шептался,
По сёлам, деревням нередко он шатался,
В корчмах беседовал подчас с простым народом.
О Польше говорил, всё будто мимоходом.
Видать, что новости привёз он издалёка,
Пришёл будить Судью, который спал глубоко.

Книга вторая. ЗАМОК

Охота с борзыми на косого • Гость в замке • Последний из дворовых Горешки рассказывает историю последнего Горешки • В саду • Девушка на огуречной грядке • Завтрак • Случай с пани Телименой в Петербурге • Новая вспышка спора о Куцом и Соколе • Вмешательство Робака • Речь Войского • Заклад • По грибы!

Как не запомнить лет, когда в полях весною
Ты юношей бродил, с двустволкой за спиною;
Препятствий никаких в дороге не встречалось,
Чужая от своей межа не отличалась!
Охотник на Литве — корабль в открытом море,
Куда глаза глядят, несётся на просторе!
То смотрит в небеса, подобно астрономам,
Погоду узнаёт по признакам знакомым,
То землю слушает; с другими молчалива,
С ним разговорчива зато она на диво;

Чу! Дёрнул коростель, искать его напрасно, —
Как щука в Немане, он в зелени атласной.
Там колокольчиком весенним льются песни,
А жаворонка нет, он скрылся в поднебесьи.
Тут воробьёв вспугнул орлиный клёкот грозный,
Пугает так царей комета в выси звёздной [1].
Вон ястреб в синеве повис насторожённый,
Дрожа, как мотылёк, булавкою пронзённый;
Едва завидит он добычу острым взором,
Как тотчас с высоты метнётся метеором,

Когда же, господи, закончатся скитанья,
И мы на родину вернёмся из изгнанья!

Ударим конницей на зайца и лисицу

И дружно выступим пехотою на птицу!
Домашние счета заменят нам газеты,
А косы и серпы — клинки и пистолеты!

Вот солнце поднялось, лучи прокрались снова
Сквозь щели узкие на ригу Соплицова
И на душистое рассыпанное сено,
Где летом молодёжь спала обыкновенно;
Полоски золота, в глухую темь проёма,
Как ленты из косы, струились невесомо.
Светило раздразнить лучами спящих хочет,
Как девушка цветком любимого щекочет.
Чирикать воробьи пустились на рассвете,
Загоготал гусак, за ним другой и третий,
Вот утка крякнула, наскучивши молчаньем,
Скотина ей в ответ отозвалась мычаньем.
Все поднялись уже, лежит один Тадеуш,
Он после ужина взволнован был, и где уж
Сомкнуть глаза ему! И петухи пропели,
А он всё вертится бессонный на постели,
И в сене, как в волнах, под утро утонул он,
Спал до тех пор, пока в глаза ему не дунул
Холодный ветерок. Он глянул, беспокоясь,
То бернардин вошёл, в руке сжимая пояс.
«Surge, puer!» сказал и тотчас для острастки
Он поясом взмахнул с угрозой, полной ласки [2].

А во дворе уже охотники толпятся,
Выводят лошадей, галдят и суетятся,
Повозки катятся, всё делается споро,
Вот грянула труба и выпущена свора.
Завидев лошадей, псарей и доезжачих,
Борзые прыгают на радостях собачьих,
Визжат и мечутся, — что делается с псами!
Бегут и головы суют в ошейник сами!
Должна удачной быть, по признакам, охота.
Дал Подкоморий знак скорей открыть ворота.

Один вслед за другим, все едут тихо, чинно,
И растянулся ряд в дороге цепью длинной:
Асессор посреди, с Нотариусом рядом,

Грозят по временам друг другу мрачным взглядом,
На поединок свой они, как люди чести,
В беседе дружеской неспешно едут вместе.
Асессор Сокола ведёт благопристойно,
И держит Куцого Нотариус спокойно.
Коляски позади, а сбоку кавалькадой
Гарцует молодёжь — покрасоваться рада.

Ксёндз Робак по двору похаживал без спешки,
Творил молитвы он, но не сдержал усмешки.
При виде юноши, ещё раз оглянулся
И поманил его. Тадеуш встрепенулся,
Ксёндз пальцем погрозил Тадеушу сурово,
Но на вопрос его не отвечал ни слова.
Как ни выспрашивал Тадеуш бернардина,
Тот оставался нем и с набожною миной
Надвинул капюшон, окончивши молиться [3].
Пришлось Тадеушу в сомненьи удалиться.

Меж тем охотники борзых попридержали,
На месте замерли, покрепче сворки сжали,
И каждый призывал к молчанию другого,
Уставясь на Судью; приметил тот косого,
На камень поднялся — и прочим с возвышенья
Он знаками давал свои распоряженья.
Все поняли его, — как вкопанные стали,
И все Асессора с Нотариусом ждали.
Тадеуш обогнал соперников и разом
К Соплице подскакал, ища косого глазом,
Но серого никак не сыщешь в сером поле,
Среди камней русак укроется тем боле.
На зайца указал Тадеушу Соплица,

Русак к земле приник, боясь пошевелиться.
Как зачарованный, предчувствием терзаем,
Глазами красными глядел русак в глаза им.
От ужаса застыл с остекленелым взглядом,
Казался мёртвым он, как мёртвый камень рядом.
Пыль по полю летит, клубится тучей рыжей,
То Куцый с Соколом, они всё ближе, ближе…
Но тут Нотариус с Асессором вступили
И с криками «ату!» исчезли в гуще пыли.

Пока погоня шла, недалеко от лога
Вдруг показался Граф, он опоздал немного [4].
Неаккуратностью прославился в округе,
Хоть были у него «во всём виновны слуги».
Проспал он и теперь. К охотникам, весёлый,
Он рысью поскакал, пустив по ветру полы,
В английском сюртуке изысканного кроя.
И слуги на конях за ним трусят рысцою;
Белеют их штаны, и на грибы похожи
Шапчонки чёрные, черны ботфорты тоже.
Граф наряжал их так согласно новой моде,
И звал жокеями в домашнем обиходе [5].

Влетели всадники стремглав на луг зелёный,
Увидел замок Граф и замер изумлённый.
Не верил сам себе, что тот же замок это,
Так изменился он от утреннего света.
На замок Граф глядел, не отрывая взгляда.
Рассыпались лучи по контурам фасада,
Во мглистом воздухе казалась башня выше,
Блестела золотом под солнцем жесть на крыше.
От солнечных лучей, струящихся потоком,
Играла радуга в разбитых стёклах окон.
Руины белые под пеленой тумана
Казались новыми, без трещин, без изъяна.
Далёкой травли гул спокойный луг встревожил,
Он стены пробудил, и замок снова ожил.

Казалось, замок был отстроен, обитаем,
Шумели люди в нём и вторили рога им.

Всё Графу нравилось, что было необычно,
Необычайное казалось романтично.
Граф величал себя романтиком; пожалуй,
И в самом деле был чудак он или шалый:
На травле мог отстать и ввысь глядеть тоскливо,
Как смотрит кот на птиц, кружащихся над сливой.
Без пса и без ружья, как беглый рекрут в чаще,
Блуждал нередко он, и над струёй журчащей
Склонивши голову, сидел один часами,
Как цапля жадная, рыбёшек ел глазами.
Привычки странные ему стяжали славу
Чудаковатого, однако же по праву

Он уважаем был людьми: за древность рода,
За то, что был богат, не обижал народа [6],
Со шляхтой был учтив.

Тут Граф коню дал шпоры,
Помчался к замку он, на все решенья скорый.
Вздыхая, вынул он бумагу из кармана
И принялся чертить на ней наброски рьяно.
Вот поднял голову, окинул поле оком,
Другого знатока он увидал под боком —
На замок тот глядел и взгляд его был долог,
Казалось, камни счесть задумал археолог.
Граф, опознав его, окликнул, но Гервазий [7]
Не сразу услыхал, в таком он был экстазе.
Последний из людей Горешки, он когда-то
Нёс службу верную у старого магната.
Старик уже седой, но всё ещё здоровый,
Лицо угрюмое, в морщинах лоб суровый,
Он был весельчаком, однако после боя,
В котором пан погиб, рассорился с гульбою
И много лет уже не посещал гулянок,

И не видал его смеющимся застянок,
И не слыхал никто его весёлых шуток
И смеха звонкого, забавных прибауток.
В ливрею панскую рядился он доселе.
Но галуны на ней поблекли — пожелтели,
А некогда они казались золотыми;
Расшитые гербы пестрели рядом с ними;
Шелками вышиты Горешков козероги,
И Козерогом зван был шляхтич длинноногий.
«Мопанку» звал он всех, и вот за ту привычку
«Мопанку» назван был, носил и третью кличку:
За лысину в рубцах, отведавшую стали,
Прослыл рубакою, герба ж не вспоминали.
Он Ключником себя именовал недаром [8],
Служил он ключником у пана в замке старом.
Ключи за поясом носил он и доныне,
На шёлковой тесьме с узлом посередине.
Хоть замок без замков и отперты ворота.
Нашёл он где-то дверь, с великою охотой
Её исправил сам, приладил без помехи,
И, отпирая дверь, не знал другой утехи.
Здесь, в комнате пустой, он жил под тихим кровом,

Хотя у Графа жить он мог на всём готовом.
Но шляхтич дня прожить не мог вдали развалин.
Хирел в разлуке он и был всегда печален.

Вот шапку с головы сорвал Гервазий в спешке,
Склонился низко он пред родичем Горешки, —
И лысина его, иссечённая сталью,
Светилась далеко. Старик вздохнул с печалью,
Погладил лысину и вновь склонился низко,
С волненьем говоря: «Мопанку, мой паниско!
Прости, вельможный пан, мне смелость обращенья,
Привычка такова, в том нет неуваженья!
«Мопанку» говорить привыкли все Горешки,
И я так говорю, поверь, не для насмешки!

Мопанку, правда ли, что вздумал ты скупиться,
Не тратиться на суд и уступить Соплице?
Не верю я, хотя прошла молва плохая».
На замок он глядел и говорил, вздыхая:

«Что ж сомневаться тут? Не велика потеря!
А скука велика! Жаль, шляхтич тот тетеря,
Всё упирается, извёлся я от скуки,
И я не выдержу, сложу сегодня руки,
Приму условия, какие суд предложит».
«Как? Мир с Соплицами? Да быть того не может!
Мир и Соплицы… Что?» — тут шляхтич так скривился,
Как будто собственным словам своим дивился.
«Соплице уступить? Нет, это не годится!
В гнездо Горешково не залетит Соплица!
Пусть соизволит пан сойти с коня, со мною
Пусть замок посетит, гнездо своё родное.
Пускай не спорит пан, теперь шутить не время.
Слезайте же с коня!» — и придержал он стремя.

Добравшись до сеней, рассказывал пространно
Гервазий, что в былом здесь сиживали паны
Со всем двором своим, за дружеской беседой
Здесь после сытного, весёлого обеда
Они крестьян своих судили и мирили,
Порой гостям своим рассказывали были,
Порою слушали, а молодёжь, бывало,
Скакала по двору верхом и фехтовала.

Гервазий речь повёл в сенях уже с порога:
«Пол камнем вымощен. Камней здесь очень много,
Но больше было здесь распито бочек винных,
На сеймах, сеймиках, на панских именинах! [9]
Тащили шляхтичи бочонки из подвала
На поясах своих, как в старину бывало.
На хорах музыка играла неустанно,
Гром трубный заглушал мелодию органа [10],

Как в судный день, когда шли здравицы. Виваты
Сопровождали их под медные раскаты.
Сперва за короля звучали тосты эти,
Потом за примаса [11], за королеву третий,
Четвёртый — шляхте всей, простой и именитой,
А пятый — здравие всей Речи Посполитой.
«За братскую любовь!» — и чаши замелькают,
Виваты дружные всю ночь не умолкают;
Немало ждёт карет и бричек пароконных,
Чтоб отвезти домой гостей всех приглашённых».

В парадных комнатах, в молчанье погружённый,
Гервазий взглядывал на своды и колонны.
Он видел лет былых удачи и невзгоды.
Как будто говоря: «Прошли, промчались годы»,
То головой качал, а то махал рукою
И в мыслях горестных не находил покоя.
Всё дальше шли они, уже — в зеркальном зале,
Где рамы без зеркал у голых стен стояли,
А окна голые без стёкол; на ворота
Глядел крутой балкон. Гервазий с неохотой
Взглянул и голову склонил, тоскою полон,
Руками лоб закрыл, когда же их отвёл он,
То скорбный лик являл отчаянье такое,
Что Граф растрогался и дружеской рукою
Сжал руку старика, хотя причин печали
Совсем не понимал. Тут оба помолчали.
Вдруг шляхтич произнёс с подъятою десницей:
«Нет примирения Горешке и Соплице!
В тебе Горешков кровь, ты кровный родич пана
По матери своей, по внучке кастеляна!
А дед твой, кастелян, был человек известный
И дядя Стольника. Род именитый, честный.
Узнай историю сородичей почтенных,
Что разыгралась здесь, вот в этих самых стенах.

Покойный Стольник был в повете первым паном [12],

Гордился он своим сокровищем желанным:
Дочь у него была, прекрасная собою,
И не было у ней от женихов отбоя.
Незнатен Яцек был, но в памятные годы
Был славным удальцом и кличку Воеводы
Недаром он носил, ей было основанье:
Глава трёхсот Соплиц, имел на всех влиянье,
Распоряжался он в повете голосами,
Хоть беден был, владел огромными усами [13]
Да саблею. Надел — клочок земли ничтожный,
Но приглашал его мой пан ясновельможный
И угощал не раз пред сеймиками знатно, —
Сторонникам его он этим льстил, понятно.
Соплица обнаглел, обласканный приёмом,
И породниться он затеял с панским домом, —
Горешке зятем стать. К нам зачастил без зова
И обжился у нас. Казалось, всё готово,
Посватается он. Похлёбкой чечевичной
Однажды встречен был и не пришёл вторично! [14]
А панне, слух прошёл, был по сердцу Соплица,
Но не обмолвилась пред Стольником девица.

То были времена Костюшки; в эти годы [15]
Пан шляхту собирал, поборником свободы
Горячим был и сам стоял за Третье мая[16].
На нас напали вдруг. Стояла ночь глухая…
Едва лишь удалось нам запереть ворота,
Из пушки выпалить. Солдаты шли без счёта
А мы — пан Стольник, я, да удалые парни —
Четыре гайдука [17], да пьяные в поварне,
И пани с пробощем [18], — он был мужчиной дюжим, —
Все к окнам кинулись немедленно, с оружьем.
На приступ москали посыпали, как тати,
Из ружей десяти мы встретили их: «Нате!»
Темь, не видать ни зги, но гайдуки стреляли;
Из окон, я и пан с балкона подбавляли.
Всё как по маслу шло, хоть были мы в тревоге,

Немало ружей здесь лежало на пороге.

Пальнём из одного, враз подают другое:
Ксёндз пробощ заряжал, не ведая покоя,
И пани с панною, и девушки другие.
Хоть мало было нас, зато стрелки лихие!
Солдаты градом пуль нас осыпали дружно,
Стреляли редко мы, но целили, как нужно.
Три раза у дверей сшибались мы с врагами,
Но трое каждый раз летели вверх ногами!
Ушли они в амбар, а во дворе светлело,
Развеселился пан: пойдёт скорее дело!
Враг только голову из-за стены покажет,
Пан тотчас выстрелит конечно не промажет!
В траву покатится солдатская каскетка.
За ум взялись враги, высовывались редко!
Когда же недруга сомненье одолело,
На вылазку идти решился Стольник смело;
Распоряжения дал слугам, оглянулся
И, закричав «За мной!», внезапно пошатнулся.
Я выстрел услыхал, в груди дыханье спёрло,
Пан говорить хотел — кровь хлынула из горла.
Попала пуля в грудь. Взглянувши на ворота,
Успел он указать мне пальцем на кого-то.
Соплица! Замер я, от злобы холодея,
По росту, по усам я угадал злодея!
Он Стольника убил. Ружьё ещё дымилось,
Не опустил его ещё он, ваша милость.
Тут я прицелился, стоял он недвижимо,
Два раза выстрелил — и оба раза мимо:
На мушку взять его отчаянье мешало!
На пана глянул я — его уже не стало!»

Гервазий зарыдал, лишь вспомнил о потере,
И дальше продолжал: «Враги ломились в двери,
Сознание моё от горя помутилось,
И я не понимал, что вкруг меня творилось.

Но, к счастью, подоспел на помощь Парфянович,
Привёл Мицкевичей лихих из Горбатович [19],
Бойцы как на подбор! и как один все двести —
Противники Соплиц, мечтавшие о мести! [20]

Так славный пан погиб, благочестивый, бравый,
В роду которого и кресла, и булавы! [21]

Он хлопам был отец, брат шляхте. К сожаленью,
Он сына не имел отмстить за преступленье.
Я был его слугой и обмакнул я в рану
Кровавую свой меч. Известен «Ножик» пану [22].
Прошла молва о нём, он потрудился честно.
На сеймах, сеймиках, в округе — всем известно!
Соплицам отомстить поклялся я сторицей,
Пока на их костях мой меч не зазубрится!
Двоих убил в бою, двоих же в драке рьяной,
А третьего спалил в избушке деревянной.
Он спёкся, как пескарь, когда на Кореличи
Напали с Рымшей мы [23]. Соплицам без различий
Всем уши я кромсал. Один лишь в целом свете
Соплица уцелел, до сей поры в повете:
Брат Яцека родной, брат подлого злодея
Живёт и здравствует, спокойно богатея!
Вкруг замка Стольника шумит его пшеница,
И в должности судьи панует пан Соплица!
Уступишь замок ты, чтобы Соплица мерзкий
Кровь пана моего топтал ногою дерзкой!
Пока Гервазий жив и палец хоть единый
Он может положить на «Ножик перочинный»,
Висящий у него над стариковским ложем,
До той поры Судье мы уступить не можем!»
Граф руки распростёр и так воскликнул с жаром:
«Мне по сердцу пришлись развалины недаром,
Хоть я не знал тогда, что в этих самых стенах
Так много было драм и повестей бесценных!
На замок родовой свои права докажем,

Дворецким будешь ты — фамильной чести стражем.
Все струны чувств моих преданием задеты,
Жаль, не ночной порой поведал повесть мне ты!
Закутавшись плащом, я сел бы на руинах,
А ты бы речь повёл об ужасах старинных.
Как жаль, что ты лишён рассказчика призванья,
Читал я много раз подобные преданья!
Шотландские дворцы скрывают преступленья
И замки Англии, везде без исключенья!
Там каждый знатный род, покрытый древней славой,
Скрывает ужасы истории кровавой!
Идут из рода в род убийства роковые,
Но в Польше слышу я подобное впервые.

Я чувствую, во мне Горешков кровь струится,
От мщенья моего не скроется Соплица.
Немедленно порву с ним всякие сношенья.
Решает пистолет, и шпага жаждет мщенья!
Так честь велит!» Сказал и к выходу пошёл он.
Гервазий брёл за ним, печальной думой полон.
Из замка вышел Граф, взглянул он на ворота
И на коня вскочил, вздыхая без отчёта.
«Жаль, нету дочери у старого Соплицы,
В которую б я мог без памяти влюбиться.
Не признаваясь ей, таить в душе мученья,
Бороться и страдать, не победив влеченья!
Рассказ бы выиграл от затаённой страсти,
Тут ненависть и месть, а там — любовь и счастье!»

Так размечтавшись, Граф помчался рысью скорой:
Он ловчих увидал недалеко от бора.
А Граф был истинным любителем охоты.
Едва завидев их, забыл он все заботы,
Ворота миновал и парники с рассадой,
Но задержал коня пред низенькой оградой;
Был сад.
Построились там яблони рядами

И осеняли луг. Над пёстрыми грядами,
Склонивши лысины, взошли кочаны густо,
О судьбах овощей задумалась капуста.
Кудрявую морковь горох оплёл стручками,
Уставясь на неё зелёными зрачками.
Там золотой султан взносила кукуруза;
Тянулась далеко за дыней толстопузой
Распущенная плеть, и развалились дыни
На грядке бураков, как гостьи, посредине.

Где провела межа черту по ровным грядкам,
Шеренга конопли следила за порядком.
Похожа конопля на кипарис зелёный,
И запах и листва ей служат обороной;
Уже не выбраться из зелени дремучей
И одуреть червям в листве её пахучей.
Казалось, мотыльки на стебли мака сели,
Расправив крылышки, которые блестели,
Как будто вкраплены в них самоцветы были,

Как жар горевшие от изумрудной пыли —
А это мак пестрел, кивая с грядок полных.
И, как луна средь звёзд, в кругу цветов подсолнух,
Стоящий целый день на солнечном припёке,
За солнцем лик вращал, большой и круглощекий.

Вдали от всех кустов, у самого забора,
Темнели огурцы, разросшиеся споро,
Стелились по земле и закрывали грядки
Узорною листвой, растущей в беспорядке.
Мелькнула девушка, подобно белой тени.
В густой траве она тонула по колени.
Спускаясь с тёмных гряд, она не шла, а точно
Плыла в волнах травы, ныряя в ней нарочно.
Была в соломенной нарядной шляпке панна,
Две ленты розовых взвивались беспрестанно,
И выбивалась прядь волос нежнее шёлка.

Потупивши глаза, шла девушка с кошёлкой
И что-то ухватить пыталась ручкой гибкой.
Как девочка в волнах гоняется за рыбкой,
Играет ножкой с ней и ловит ручкой белой, —
Так к огурцам она склонялась то и дело,
То ножкой шарила, то белою рукою.

Залюбовался Граф картиною такою.
Он замер, услыхав жокеев приближенье,
Махнул рукою им, чтоб стали без движенья.
Сам, шею вытянув, застыл, как будто длинный
Журавль сторожевой пред стаей журавлиной,
Что на одной ноге стоит, раскрывши око,
Другою камень сжал, чтоб не заснуть глубоко.

Тут шорох за спиной прервал его мечтанья:
Был это бернардин, который в назиданье
Свой пояс показал с узлами-огурцами [24]:
«Пан хочет огурцов? Вот огурцы пред вами!
Подальше от греха! Воспользуйтесь советом!
Нет овощей про вас на огороде этом!»
Он пальцем погрозил, свой капюшон поправил,
Ушёл, а Графа он в раздумии оставил.

Граф недоволен был случайною помехой,
Но удержаться он никак не мог от смеха.
Вот снова глянул в сад и увидал с досадой,
Что платье белое исчезло за оградой.
Виднелись и следы, где девушка бежала,
Трава примятая чуть-чуть ещё дрожала,
Но успокоилась, точь-в-точь вода речная,
Которой ласточка коснулась, пролетая.
На месте девушки белела сиротливо
Кошёлка лёгкая, сплетённая из ивы,
Что опрокинулась, застряв в листве зелёной,
И на волне травы покачивалась сонно.

В саду без девушки всё стало тише, глуше,
И на дом Граф глядел, насторожившись уши.
Он всё раздумывал, а слуги всё молчали,
Уединённый дом был глух и нем вначале,
Но вот он загудел, раздался крик весёлый, —
Так улей зажужжит, когда вернутся пчёлы.
А это ловчие домой вернулись с луга,
И с завтраком уже забегала прислуга.

Приборы подают: тарелки и бутылки,
Повсюду в комнатах стучат ножи и вилки.
Мужчины с чарками, с тарелками гуляют,
Они в охотничьих костюмах щеголяют,
Пристроились к окну, им и столов не нужно,
О ружьях, о борзых ведут беседы дружно.
Уселись за столом Судья и Подкоморий,
А панны в уголок забились — просто горе!
Всё беспорядочно за раннею закуской,
Согласно с модою затейливой французской.
Недавно завелось то новшество большое,
И уступил Судья, хотя скорбел душою.

Вот для мужчин одни, для дам — другие блюда;
Подносы поданы с кофейною посудой,
Расписаны они кругом листвой зелёной,
На них кофейники дымятся благовонно.
И чашки тонкие саксонского фарфора,
И сливочник стоит у каждого прибора.
Такого кофе нет нигде на свете больше!
Обычай старины ещё хранится в Польше:
За кофеем следит особая кухарка,

По должности она зовётся кофеварка, —
Ей зёрна закупать поручено для дома [25],
С их варкою она доподлинно знакома.
Прозрачней янтаря, черней угля напиток,
Густой, как старый мёд, и мокко в нём избыток.

Нужны и сливки здесь — что сомневаться в этом!
Служанка для того встаёт уже с рассветом,
Идёт в молочную, расставивши посуду,
И сливки свежие сбирает отовсюду
В особый сливочник для каждой чашки малой,
Чтоб вздулась пеночка и кофий поднимала.

Старушки выпили свой кофий утром рано,
И новое питьё из пива со сметаной
И творогом они приготовляют живо.
Кипит и пенится дымящееся пиво.
Закусок для мужчин припасено немало,
Язык и ветчина, копчёный гусь и сало;
Домашним способом коптят их самым лучшим —
На можжевёловом дыму густом, пахучем.
Вот зразы подают последней переменой, —
Судья своих гостей так потчевал отменно.

В двух смежных комнатах расселись гости вскоре,
Забылись старики в серьёзном разговоре.
Речь о хозяйстве шла и об указах тоже.
Которые теперь царь издавал всё строже.
Войны, политики коснулся Подкоморий,
Он слухи обсуждал в застольном разговоре.
И, синие очки воздев на переносье,
Дочь Войского уже гадала старшей гостье.
Шли в смежной комнате о травле разговоры,
Спокойней, чем всегда, не возникали споры.
Ведь лучшие стрелки, ораторы повета,
Сидят, насупившись, честь каждого задета!
Юрист с Асессором травили зайца вместе,
Гоняли хорошо, но не добились чести!
Ведь каждый доверял своей борзой косого,
А заяц скрылся вдруг средь поля ярового.
Борзые русаком спешили поживиться,
Но доезжачих тут остановил Соплица.
Он не дал вытоптать крестьянского посева.

Пришлось послушаться (хотя и не без гнева).
Вернулись псы ни с чем. Теперь гадай, терзаясь,
Которой из борзых попался в лапы заяц?
Обеим, может быть? Суды и пересуды
Ведут противники под звяканье посуды.

А Войский между тем всё места не находит,
Глазами по стене нетерпеливо водит,
Как будто бы ему охота надоела,
Да и взбрело на ум совсем другое дело.
Вот он задумался — и мухобойкой глухо
Как хлопнет по стене — убита сразу муха!

А на пороге здесь Тадеуш с Телименой
Беседе предались негромкой и степенной.
Шептались, для того чтоб гости не слыхали,
Хотя подслушивать их стали бы едва ли.
Тут юноша узнал, что с состояньем тётка,
Что связи родственной меж ними нет короткой,
Что если говорить по правде, откровенно,
Сродни ль племянник ей — не знает Телимена.
Хотя сестрой её зовёт Судья, едва ли
Она сестра ему, её так с детства звали,
Но много старше он. Жила она в столице,
Услуги оказать могла она Соплице,
Приобрела за то его расположенье,
Судья зовёт её сестрой в знак уваженья.
И соглашается по дружбе Телимена.
Тадеуш просиял от речи откровенной:
Нашёл он всем своим загадкам объясненье —
И всё произошло в короткое мгновенье.

Дразня Асессора, Нотариус лукавил:
«Я говорил вчера, охота против правил!
Не будет толка в ней, для травли рановато,
Ведь рожь крестьянская ещё не всюду сжата,

И не придётся нам добычей поживиться,
Вот почему и Граф не пожелал явиться.
Граф истинный знаток охоты благородной,
Вот что он говорит, когда вам знать угодно.
(Граф рос в чужих краях, видал людей без счёту.)
И варварством зовёт литовскую охоту.

Охотятся у нас, как и во время оно,
Не выждав времени, без правил и закона.
Чужих владений мы совсем не уважаем
И по земле чужой свободно разъезжаем.
Запретов никаких охотники не знают,
Бесстыдно бьют лисиц, когда они линяют,
И не дают уйти они зайчихам котным,
Натравливают псов расправиться с животным!
Дичь переводится! У москалей найдёте
Цивилизацию — законы об охоте,
Там для охотников указы есть царёвы
И нарушителя ждёт приговор суровый».

Батистовым платком обмахивая плечи,
Сказала тётушка вдобавок к этой речи:
«Могу поклясться я, всё правда, что ни слово!
Россию знаю я, мне это всё не ново!
Хоть вы не верите, скажу вам без стесненья:
Достойна похвалы там бдительность правленья!
Да, в Петербурге я не раз, не два гостила…
Картины прошлого, всё так чудесно, мило!
А город! Кто-нибудь из вас бывал в столице?
План в столике моём до сей поры хранится.
Там лето — высший свет и все, кто побогаче —
Проводят во дворцах, за городом, на даче.
Жила на даче я, не близко, не далеко
От города, к тому ж на горке невысокой,
Насыпанной людьми. Внизу Нева струится.
А что был за дворец! План в столике хранится.
Но на беду мою, соседний домик вскоре

Чиновник мелкий снял, охотник, просто горе!
Держал он и борзых. Я натерпелась бедствий;
Жить рядом с псарнею, с чиновником в соседстве!
Бывало, с книжкою пойду бродить вдоль сада,
Любуясь месяцем, дыша ночной прохладой, —
Борзая — тут как тут! Бежит, хвостом виляет,
Ушами шевелит, как бешеная лает!
Пугалась я не раз, и сердце билось, точно
Предчувствуя беду. Всё вышло, как нарочно.
Я как-то вывела гулять свою болонку,
Борзая бросилась за пёсиком вдогонку,
Разорвала его у ног моих на части…

Дар князя Сукина — болонка белой масти! [26]
Собачка резвая, живая, словно птица…
Есть у меня портрет, он в столике хранится.
Я плакала навзрыд и от большой печали
Упала в обморок [27], тиски мне сердце сжали.
Мне хуже было бы; но, в лекарстве искусен,
Явился к нам Кирилл Гаврилыч Козодусин.
Он егермейстером придворным был в то время
И тотчас захотел с души моей снять бремя;
Велел он притащить за шиворот чинушу,
Со страха негодяй едва не отдал душу!
«Как ты осмелился под самым царским носом
Лань котную травить!» Таким его вопросом
Вельможа оглушил. Бедняк лепечет что-то,
Что, дескать, им ещё не начата охота,
Что должен он сказать, едва на то дерзая, —
Болонку, а не лань разорвала борзая.
«Да как на ум взбрело тебе, молокососу,
Со мною в спор вступать по данному вопросу?
Да знаешь ли, кто я? Я — царский егермейстер!
Пускай нас тотчас же рассудит полицмейстер!»
Когда ж явился тот, пан Козодусин смело
Свидетельствовал сам искусно и умело:
«Вот эту лань зовёт болонкою тетеря.

Суди по совести, какого видишь зверя?»
Долг службы знал судья, всё понял с полуслова
И дерзость чудака он осудил сурово,
Но посоветовал ему служака старый
Сознаться поскорей, во избежанье кары.
Мой гость доволен был, сказал, что он доложит
Царю и приговор смягчит ещё, быть может.
На псарне с той поры борзые псы сидели,
А мой сосед в тюрьме провёл две-три недели.
Смеялись досыта мы над проделкой этой,
Забавный анекдот состряпали для света
И над проказою, над шалостью прелестной
Смеялся государь, доподлинно известно!»

Судья и бернардин меж тем в марьяж играли [28],
Открыли козыри и взятки набирали.
Соплица даму взял, ксёндз Робак было спёкся,
Однако же Судья рассказом так увлёкся,
Что он не козырял, а только поднял руку
И, слушая рассказ, обрёк ксендза на муку;
Дослушав до конца, не козыряя дамой:
«Пусть не нахвалятся, — так он сказал упрямо, —
Порядком москалей и просвещеньем немцев,
Пускай поучатся теперь у иноземцев
Охоте на зверей немудрые поляки,
Пусть стражников зовут, заслышав лай собаки,
Пускай хватают пса, что в лес чужой ворвётся,
А на Литве у нас по старине ведётся!
Зверья достаточно для нас и для соседства [29],
Не станем следствия чинить в кругу шляхетства.
Богаты хлебом мы, не объедят борзые,
Хотя и забегут в чужие яровые.
Не тронь крестьянских нив! Вот наш запрет единый»

Тут эконом сказал!: «На это есть причины;
Пан платит дорого за каждую потраву,
Крестьянство оттого не жалуется, право,

Когда шляхетский пёс потопчет яровое.
За каждый колосок заплатит пан копною
И талер [30] даст ещё. От баловства такого
Крестьяне портятся, даю вам в этом слово».
Но дальше говорить не дали экономy.
Шумело общество, и каждый по-иному
Доказывал своё; немало разговоров
Вокруг двух мнений шло, и много было споров.

Тадеуша вдвоём с прекрасной Телименой,
На радость парочке, забыли несомненно.
В восторге юноша был от любезной пани,
И только ей одной он уделял вниманье.
Шёл нежный разговор всё тише, замирая…
Тадеуш, точно слов её не разбирая,
Склонился близко к ней, и вдруг, лишась покоя,
Тепло щеки её почувствовал щекою.
Дыханье затая, впивал её дыханье,
Вбирал глазами он очей очарованье.

Вдруг — муха меж их уст, а вслед за мухой бойкой
И Войский тотчас же ударил мухобойкой.

Обилье мух в Литве, особые меж ними
Шляхетскими слывут, по праву носят имя [31].
Шляхтянка чёрная — черны все мухи в мире, —
Но покрупней брюшко и грудь чуть-чуть пошире,
А на лету гудит, жужжит протяжно, глухо,
И паутину рвёт, — вот как сильна та муха!
Уже запутавшись, три дня с жужжаньем бьётся
И может с пауком успешно побороться!
Всё это Войский знал, и распускал он слухи,
Что от шляхетских мух пошли другие мухи,
Что муха та меж мух сродни пчелиной матке,
Что с гибелью её погибнет род их гадкий!
Однако ни плебан, ни экономка пана
Не верили ему. По мнению плебана,

Не от шляхетских мух шли мухи невелички,
Но Войский всё равно не оставлял привычки:
Бил мухобойкой он по всем шляхетским мухам, —
И загудела вдруг такая же над ухом!
Ударил Войский, хлоп! Нет, не попал немножко,
Захлопал вновь и вновь, чуть не разбил окошка.
Шляхтянка, одурев, из комнаты метнулась,
Но подле выхода на парочку наткнулась,
И меж их лицами с жужжаньем пролетела,
А Войский хлопнул вслед, — не забывал он дела;
И отшатнулись вдруг две головы пугливо,
Как будто надвое расколотая ива.
Застигнуты врасплох, как робкие воришки.
О притолку себе они набили шишки.

Никто их не видал, затем, что в разговоры
Ещё негромкие, хотя кипели споры,
Ворвался шум; стрелки так ждут лису в дубраве,
Стоят недвижные безмолвно на облаве,
Вдали трещат кусты да слышен лай собачий, —
Вдруг поднял кабана ретивый, доезжачий,
Дал знак; раздался крик, залаяли собаки.
Как будто лес дрожит в прохладном полумраке.
Так и с беседою: неторопливо льётся,
Покуда с «кабаном» теченье не столкнётся.
«Кабан» — был давний спор борзятников отменных
О качествах борзых столь необыкновенных.
Он краток был, но в миг нарушил весь порядок:
Так много колкостей, обидных слов, нападок
Обрушил, что смешал в одно три фазы спора.
Гнев, вызов, колкости, дойдёт до драки скоро!
Тут все из комнаты в другую устремились,
Через порог они волною прокатились,
И смыло парочку бушующею кликой.
Была та парочка, как Янус, бог двуликий [32].

Едва оправились Тадеуш с Телименой,

Как смолкли окрики, и шум затих мгновенно.
Вновь говор слышится, и смех звенит в покоях,
И воцарился мир. Ксёндз усмирил обоих!
Был человеком он хоть старым, но плечистым;
Едва Асессор в спор успел вступить с Юристом
И принялись грозить друг другу кулаками,
Ксёндз их обоих взял за шиворот руками
И лбами стукнул так, что искры полетели.
Яйцом бьют о яйцо так на святой неделе.

Ксёндз, руки разведя, швырнул обоих сразу,
Он стал навытяжку, напрягшись до отказу.
Так, стоя меж бойцов на расстояньи близком,
«Мир вам! — провозгласил, прибавив: — Pax vobiscum!»[33]
Тут засмеялись все, уже без всякой злобы, —
Ведь почитаются духовные особы!
Браниться не могли, а после этой пробы
Не смели ссориться, у всех пропало рвенье.
Ксёндз Робак между тем, достигнув примиренья,
Триумфа не искал, на спорщиков не цыкнул,
Не погрозился им и даже не окликнул;
Поправив капюшон, чуть съехавший на темя,

Из комнаты ушёл спокойно.
В это время
Уселись меж сторон Судья и Подкоморий,
От размышления очнулся Войский вскоре,
Он выступил на шаг и стал перед гостями.
Собранье обведя горящими глазами,
Махнул хлопушкою, как машет ксёндз кадилом,
На тех, чей разговор шёл с наибольшим пылом,
Потом, как жезл, вознёс хлопушку для вниманья
И начал речь свою средь полного молчанья.
«Уймитесь, господа, оставьте споры эти,
Стрелками лучшими вы числитесь в повете,
Подумали ли вы, что значит ваша ссора?
Вот наша молодёжь — надежда и опора,

Которая должна прославиться без спора.
Которую, увы, охотиться не тянет, —
Каким примером ей такая ссора станет?
Вы, лучшие стрелки, пример для молодёжи,
Чуть-чуть не подрались, — на что это похоже?
Немало пожил я, всё это мне не внове,
Я знал охотников не хуже вас, панове!
Я распри их судил и как судья был славен.
Кто был в лесах Литвы стрельбой Рейтану равен?
Напасть на верный след, устроить ли облаву,
Бялопетрович всё проделывал на славу.
Бил зайца на бегу не раз из пистолета
Жегота молодой, — кому по силам это?
А Тераевич пан? Охотник был великий! [34]
Ходил на кабана, бывало, только с пикой.
Будревич [35] мог один управиться с медведем.
Когда же из лесу с добычею приедем
И спор затеется, — судью мы избирали,
Мы бились о заклад и выигрыши брали!
Так из-за серого лес проиграл Огневский,
А из-за барсука — деревню Неселковский.
Должны вы поступать, как подобает людям,
Побейтесь о заклад, по чести вас рассудим.
Слова срываются, а ветер их уносит,
Устали спорить вы, язык покоя просит.
Пусть полюбовный суд обоих вас рассудит,
Решения никто оспаривать не будет.
Я упрошу Судью помочь вам в незадаче:
Пусть забирается в пшеницу доезжачий,
Судья уступит мне, не оттолкнёт молений».
Умолк и с просьбою он сжал Судье колени.

«Коня, — вскричал Юрист, — в заклад коня со сбруей!
И запиши ещё, что я Судье дарую
Фамильный перстенёк, пусть он пойдёт оплатой».
Асессор отвечал: «Ошейник дам богатый,
Он яшмой выложен, на кольцах позолота,

С ним шёлковый смычок в каменьях, а работа
Сама равняется ценой каменьям этим.
В наследство я хотел смычок оставить детям —
Ведь я женюсь ещё… — подарок Радзивилла [36],
Мы с ним охотились. Давно всё это было!
Он, Мейен, я да князь Сангушко [37]. Состязались
Их псы с моей борзой, — все позади остались!
На травле памятной — невиданная штука! —
Шесть зайцев я загнал с единственною сукой!
Охотились тогда мы на Куписком поле [38],
С коня слез Радзивилл, не мог сдержаться доле:
Собаку обнял он и, в голову целуя,
Он горячо хвалил искусную борзую.
Коснулся трижды он рукой собачьей морды,
«Купискою княжной» нарёк борзую гордо.
Так сам Наполеон в князья вождей возводит
По месту, где у них сраженье происходит».

Но Телимена тут, наскучив долгой сварой,
Задумала гулять, обзаведяся парой.
Корзинку захватив, гостям сказала пани:
«Иду я по грибы, и если есть желанье
Идти кому-нибудь, прошу!» — тут шалью алой
Она кокетливо головку повязала.
Дочь Подкомория взяла с собой, плутовка,
И юбку подняла над щиколоткой ловко.
Тадеуш вслед за ней последовал украдкой.

Судья доволен был счастливою догадкой:
Он видел способ в ней для прекращенья спора,
И крикнул: «По грибы! А кто придёт из бора
С прекраснейшим грибом, тот будет за обедом
Прекраснейшей из дам любезнейшим соседом.
Когда ж за панною останется победа,
То по сердцу себе возьмёт она соседа».

Книга третья. ВОЛОКИТСТВО

Посещение Графом сада • Таинственная нимфа пасёт гусей • Сходство собирания грибов с прогулкой елисейских теней[1] — Сорта грибов • Телимена во Храме грёз • Совещание, касающееся судьбы Тадеуша • Граф — пейзажист • Художественные замечания Тадеуша о деревьях и облаках • Мысли Графа об искусстве • Звон • Записка • Медведь, моспане!

Граф ехал медленно, не прибавляя ходу,
А сам прикован был глазами к огороду.
Почудилось ему, как будто бы блеснуло
В окошке платьице, ещё раз промелькнуло,
И что-то лёгкое, как белый пух, слетело,
По саду пронеслось, на прядке заблестело
В зелёных огурцах. Казалось, что из тучи
Прорвался, наконец, весенний луч летучий
И камень озарил, сереющий в тумане,
И засверкал в ручье на бархатной поляне.

Граф соскочил с коня и отпустил жокеев,
К забору поспешил, заботы все развеяв,
Лазейку отыскал, и вдруг, подобно волку,
Который крадётся в ягнятник втихомолку,
Он юркнул в огород, задевши куст рукою.
Смутилась девушка: откуда? Что такое?
Вот глянула туда, где ветка задрожала, —
Нет никого, и всё ж она перебежала
В другую сторону. А Граф меж лопухами
Пополз, и за щавель цеплялся он руками,
Как жаба прыгая, запрятался в малине,
И подивился вдруг невиданной картине.

Под вишнями росло немало спелых злаков,

Сорта различные и вид неодинаков:
За кукурузой шли овёс, горох усатый,
Пшеница и бобы перемешались с мятой, —
Домашней птицы сад, придуман экономкой,
Хозяйкой доброю, хотя без славы громкой,
Звалась Кокошницкой из дома Индюкови-
Чевых, внесла она в хозяйство много нови [2].
Её открытие известно всем в округе,
А прежде слышали о нём две-три подруги,
И кое-кто ещё проведал из шляхетства.
Потом в календаре прочли про это средство [3],
Как надо охранять домашних птиц от хищных
В подобных садиках, от всех других отличных.

В тенистый уголок когда б вы ни взглянули,
Всегда б увидели — стоит на карауле,
Задравши клюв, петух, поста не покидая,
Не шелохнётся он, за небом наблюдая.
Завидев ястреба, висящего высоко,
Закукарекает, и во мгновенье ока
Попрячутся в хлеба павлины, куры, утки
И даже голуби, — со страхом плохи шутки!

Однако в небе враг сегодня не мелькает,
Лишь солнце летнее всё жарче припекает,
И птицы прячутся в искусственном лесочке:
Те в зелени травы, те плещутся в песочке.
Среди головок птиц — ребячьи головёнки,
И волосы на них, как лён пушистый, тонкий;
Девичья голова виднеется меж ними,
Чуть-чуть повыше их, с кудрями золотыми,
Красуется павлин на расстояньи малом,
Раскинув пышный хвост нарядным опахалом.
На фоне голубом, как будто на пастели,
Льняные головы заманчиво блестели,
Как в обрамленьи звёзд, в венке глазков павлиньих,
Светились в васильках и в голубых и в синих,

Меж золотистою, тяжёлой кукурузой,
Слегка сгибавшейся от собственного груза,
И английской травой [4] с серебряной полоской,
Меж красной мальвою, зелёною берёзкой.
Не перечесть цветов, в глазах рябит от блеска,
И всё колышется, блестит, как занавеска.
Над гущею стеблей, колосьев, маков с тмином
Подёнки лёгкие повисли балдахином;
Прозрачны, как стекло, легки, как паутинки,
Сквозные крылышки, едва приметны спинки,
Как будто над землёй туман белеет тонкий, —
Звенят, но кажутся недвижными подёнки.

В руке у девушки цветное опахало,
Что перья страуса собой напоминало,
Отмахивала им от детских головёнок
Она звенящий дождь мелькающих подёнок.
Держала девушка своей другой рукою
Рог позолоченный, изогнутый дугою,
Кормила им детей, подобно доброй фее,
Казалось, рог её был рогом Амальтеи [5].

Поглядывала всё ж она в кусты нередко,
Туда, где хрустнула таинственная ветка,
Но не оттуда ей грозило нападенье!
Граф миновать успел докучные растенья;
Внезапно выскочив из лопухов зелёных,
Стал изгибаться он в почтительных поклонах.
Вот плечи подняла и во мгновенье ока,
Как сойка, собралась она лететь далеко,
Вспорхнула, понеслась, умчалась бы нежданно,
Но дети, в ужасе от появленья пана
И бегства девушки, вдруг в голос заревели;
Как быть? Не бросить же малюток в самом деле?
Раздумывая так, боялась оглянуться
И хоть помедлила, должна была вернуться
(Как призрак, вызванный таинственным заклятьем!),

Склонилась к малышам, ну слёзы утирать им,
Вот на руки взяла меньшого мальчугана,
Утешила других заботливая панна.
Под крылышко её уткнулись, как цыплята,
Белоголовые, затихшие ребята.
«Ну, что кричали вы? — сказала, — хорошо ли?
Пан испугается, уйдёт он поневоле.
Пан не старик с мешком, пришёл он не за вами,
Красивый, ласковый, вы поглядите сами!»

Взглянула и она. Граф улыбался мило,
Речь девичья ему, как видно, очень льстила.
Тут от смущения красавица зарделась,
Пеняя на себя за собственную смелость.
А Граф и правда был хорош: молодцеватый,
Лицо приятное, овал продолговатый;
Он был голубоглаз, с кудрявой головою.
Листва запуталась в кудрях его с травою,
Пока по грядкам полз, по мураве зелёной,
Казалось, что венок на нём был расплетённый.

«Как величать тебя, волшебное виденье?! [6]
Ты нимфа или дух, небесное творенье?
Сошла на землю к нам ты по своей ли воле?
Прикована ли ты судьбой к земной юдоли?
Догадываюсь я: отвергнутый влюблённый,
А может опекун суровый, непреклонный
Здесь стережёт тебя, — страдаешь ты невинно,
Достойная! Во мне найдёшь ты паладина!
Не героиня ли ты повести печальной?
Прекрасная! Открой печаль судьбины тайной!
Лишь увидал тебя — лишился я покоя!
Как сердцем властвуешь, так властвуй и рукою!»
Он руку протянул.

Смущённо речи эти,
Но радостно она впивала, точно дети,

Которые, пленясь деньгами золотыми,
Их звоном тешатся, порой играют с ними,
Не зная им цены: так слух её ласкали
Слова, которые понять могла едва ли.
Спросила, наконец, запутавшись в догадках:
«Откуда взялся пан? Что ищет он на грядках?»
Граф сразу отрезвел, казался он смущённым,
Учтиво отвечал уже обычным тоном:
«Паненка, должен я у вас просить прощенья.
Невольно помешал забаве, без сомненья;

На завтрак я спешил, однако по дороге
Пришлось бы мне кружить. Не будьте же так строги:
Путь через грядки здесь, мне кажется, прямее».
«Пан, вот она, тропа! Идите прямо ею, —
Сказала девушка, — но грядок не топчите!»
«Налево ли идти? Направо ли? Скажите!»
Казалось, что она не поняла, в чём дело,
И с любопытством вдруг на Графа поглядела:
Дом был близёхонько, почти под самым носом, —
Так для чего же Граф ей докучал вопросом?
А Графу между тем предлог придумать надо:
«Что, панна здесь живёт? Недалеко от сада?
Как вышло, что ещё не встретился я с панной?
А, может быть, она приехала нежданно?»
Тряхнула головой она, не дав ответа.
«Паненкино окно, скажите мне, вот это?»

Он говорил себе: «Она — дитя простое,
Не героиня, но пленяет красотою…
Мысль сокровенная, порыв души великой
Невидимо цветут, как роза в чаще дикой,
Но если вынести её на свет из чащи,
То ослепит она окраскою блестящей.

Меж тем Садовница тихонько встала снова,
Ребёнка подняла, взяв за руку другого,

Всех остальных она, перед собой, как стадо
Гогочущих гусят, прочь погнала из сада.

Вот к Графу обратясь, сказала: «Пан, быть может,
Птиц разбежавшихся загнать в хлеба поможет?»
«Мне птицу загонять?» — Граф крикнул в изумленьи.
Тем временем она исчезла в отдаленьи;
На миг глаза её в густой листве блеснули,
Но скоро в зелени деревьев утонули.

Граф долго простоял один на огороде.
Душа, точь-в-точь земля при солнечном заходе,
Похолодела вдруг, темнея постепенно.
В мечтах забылся он, очнулся вновь мгновенно,
От грядок, от кустов свои глаза отвёл он.
Нет, мало он нашёл, а был надеждой полон!

Когда по грядкам полз, он ожидал так много,
Горела голова, сжимала грудь тревога,
Он столько ждал чудес, пленившись красотою,
Во столько прелестей убрал её мечтою!
Всё вышло иначе — убого, неприглядно.
Прекрасное лицо, зато сама нескладна!
Округлость нежных щёк, румянец ярко алый
Здоровье выдают и простоту, пожалуй, —
Да и слова её с крестьянской речью схожи.
Видать, что мысли спят, что сердце дремлет тоже.
Вот, наконец, сказал, в сердцах кляня простушку:
«За нимфу принял я гусятницу, пастушку!»
А с нимфою ушло и всё очарованье,
Прозрачность воздуха и красок сочетанье,
За золото, увы, он принимал солому!

Теперь, однако, Граф всё видел по-другому.
Глядел на пук травы глазами недоверья, —
Он принимал его за страусовы перья!
Рог позолоченный, сиявший красотою,

В действительности был морковкою простою!
Мальчишка грыз её с завидным аппетитом,
Разочарованным казался Граф, сердитым.
Так одуванчиком порой дитя прельстится,
И мягкостью его захочет насладиться,
Приблизит к ротику, дохнет — от дуновенья
Вдруг разлетится пух в единое мгновенье.
На голый стебелёк, совсем не аппетитный,
Глядит с отчаяньем ботаник любопытный.

Надвинувши картуз. Граф наступал на грядки,
Заторопился он — путь выбрал самый краткий,
Топтал он овощи с цветами без разбора,
Пока не миновал знакомого забора.
С презреньем вспоминал он собственные речи;
Не рассказала ли пастушка всем о встрече?
Пойдут встречать его, и не найдут… О боже!
Подумают — бежал! И впрямь на то похоже!
Уж не вернуться ли? Он колесил по саду,
На бедных овощах срывал свою досаду,
Но, наконец, смирил душевную тревогу,
Увидя прямо в дом ведущую дорогу.

Пошёл он вдоль плетня, не глядя в сад; так ловкий
Вор, заметая след, уходит от кладовки,
В которой побывал. Граф шёл, не сбавив хода,
Хоть не следил за ним никто из огорода;
Шагал с повёрнутой направо головою.

Поляна там была с зелёной муравою,
По ней, как по ковру, с узорными цветами,
Под бархатистыми, нависшими ветвями,
Фигуры странные таинственно сновали,
Как будто под луной виденья танцевали.
Кружились призраки в одеждах узких, чёрных,
В плащах белеющих, коротких и просторных,
Кто в шляпе был, а кто с открытой головою,

А у кого в кудрях, как облако сквозное,
Под ветром полосы цветного шарфа вьются,
И, как хвосты комет, за духами несутся.
Иные призраки как будто бы присели
И приросли к земле, очами водят еле,
То, как лунатики, уставясь прямо, бродят
По линии одной, с неё уже не сходят.
То смотрят в стороны, их взоры полусонны,
То наклоняются, как будто бьют поклоны.
Вот сходятся они, не обменявшись словом,
Опять расходятся в молчании суровом.
Граф объяснить себе не мог таких движений,
Не елисейские ль расхаживают тени,
Не знающие здесь ни боли, ни страданья,
Но обречённые на вечное молчанье?

Кто угадать бы мог в тех духах невесомых,
В безмолвных призраках — приятелей, знакомых,
Гостивших у Судьи? Подзакусивши плотно,
В лес по грибы они отправились охотно.
Как люди умные, толк понимая в деле,
Они заранее всё рассчитать сумели,
Чтоб к обстоятельствам успешней примениться,
Поэтому они не стали торопиться,
А прежде занялись серьёзно туалетом
И шарфы да плащи накинули при этом,
Прикрыли белою холстиною кунтуши,
И шляпы круглые надвинули на уши,

Блуждали призраки, как праведные души;
Преобразились так все, кроме Телимены,
И кой-кого ещё.
Однако этой сцены
Граф объяснить не мог, обычаев не зная,
Навстречу поспешил он, мураву сминая.

Не счесть грибов! Юнцы хотят найти лисичек,

Воспетых песнями лисичек-невеличек, —
Эмблема чистоты! Их червь точить не станет,
И насекомое к их шапкам не пристанет.
А панны боровик разыскивают с жаром,
Грибным полковником зовётся он недаром! [7]
Все жаждут рыжиков, хоть их не воспевают,
Зато вкусней грибов на свете не бывает!
В рассоле хороши зимою или в осень;
Гречеха мухомор искал под тенью сосен.

А сколько есть грибов невкусных, ядовитых,
Никто не зарится на аппетитный вид их.
Однако их едят и волки и зайчата,
Лесную глушь они украсили богато.
На скатерти полян, как винная посуда,
Грибов серебряных, червонных, жёлтых — груда.
Не сыроежки ли, как чарочки лесные
С искрящимся вином, — цветные, расписные?
На кубки кверху дном моховики походят.
Волнушку, как бокал, порой в траве находят.
Белянки круглые рассыпались в овражке,
Как будто молоком наполненные чашки.
Меж ними дождевик, набитый чёрной пылью.
Он с перечницей схож. Поганок изобилье,
Не названных людьми, но всё же, ходят толки,
Что дали имена им зайцы или волки.
К иным грибам никто не хочет прикоснуться,
А если, ошибясь, кто вздумает нагнуться,
Растопчет тотчас же с досадою поганку,
Обезобразив тем зелёную полянку.

Что было до грибов полезных или волчьих
Сестре хозяина? Она вдали от прочих
Шла, голову задрав. Юрист сказал в насмешку,
Что верно приняла ольху за сыроежку!
Асессор же сравнил её остротой едкой
С искавшей гнёздышко заботливой наседкой.

Уединения искала Телимена,
И, отдаляясь так от прочих постепенно,
На холмик взобралась пологий и зелёный,
Уютный уголок, ветвями затенённый.
В средине камень был. Ручей оттуда прядал,
Он сыпал брызгами, с журчаньем громким падал
В душистую траву, искал приют от зноя,
И русло пролагал, запенясь, вырезное.
На ложе из листвы, травою перевитой,
Проказник тотчас же смирял свой нрав сердитый.
Невидимый для глаз, журчал он еле-еле,
Мурлыкал, как малыш в уютной колыбели,
Когда задёрнет мать над колыбелью полог,
Подложит алый мак, чтоб детский сон был долог[8].
Тенистый уголок, уютный, сокровенный,
Был назван Храмом грёз недаром Телименой.

Здесь, у ручья, она, чтоб грезить не мешали,
Постлала на траве узоры яркой шали.
И, как купальщице над водною прохладой,
Перед нырянием набраться духу надо,
Так медлит и она, но вот склонилась боком,
И точно схвачена коралловым потоком,
Тут во весь рост она простёрлась утомлённо,
На локти оперлась в густой траве зелёной,
И на руки она склонилась головою.
Обложка жёлтая раскрылась над травою.
Над белизной страниц, шуршавших еле-еле,
Чернели локоны и ленты розовели.

В смарагде буйных трав она легла на шали,
И всю её кругом кораллы украшали.
Там, с одного конца, на ярком одеяньи
Виднелись волосы, с другого — туфли пани.
Цветная, пёстрая, на красной шали лёжа,
Красавица была на бабочку похожа,

Что села на листок… Но на беду прекрасной
Все прелести её раскинулись напрасно;
Ценитель красоты прошёл бы тут едва ли…
Да только все грибы прилежно собирали!

Тадеуш между тем стрелял недаром оком,
Не смея подойти, он пробирался боком:
С охотником на дроф он мог теперь сравниться.
Который на возу с ветвями едет к птице, —
Не то на стрепетов идёт неторопливо,
Конь впереди бежит, ружьё укрыто гривой.
Прикинется стрелок, что смотрит на дорогу,
И приближается он к птице понемногу, —
Так крался юноша.
Но помешал затее
Судья, который шёл Тадеуша быстрее.
Вихрь развевал его раздувшиеся полы.
Заигрывал с платком на поясе, весёлый,
И шляпа летняя от бурного порыва
Качалась, как лопух, на голове игриво;
То приподымется, то вновь начнёт валиться:
С большою палкой так шествовал Соплица.
На круглый камень сел Судья пред Телименой
И руки сполоснул в ручье, белевшем пеной;
Облокотился он на трость рукою влажной
И приготовился к беседе очень важной.
«С тех пор как здесь гостит Тадеуш, я не скрою,
Задумываться мне приходится порою.
Бездетен я и стар; сказать по правде надо,
Племянник для меня — единая отрада,
К тому ж наследник мой. Ведь я, по воле неба,
Оставлю юноше кусок шляхетский хлеба!
Решить судьбу его теперь настало время:
Но понимаешь ли, несу какое бремя?
Отец Тадеуша, сказать по правде, — странный,
И непонятны мне дела его и планы:
Сказался умершим, скрывается сам где-то,

Но не желает он, чтоб сын узнал про это.
Меня тревожит брат: то в легион вначале
Он сына направлял, я был в большой печали [9].
Потом согласье дал, чтоб пожил он в поместьи.
Женился бы скорей. А я уж о невесте

Подумал для него; скажу пред всем народом,
Что с Подкоморием никто не равен родом;
Как раз на выданьи его дочурка Анна,
Богата и знатна, собой пригожа панна.
Хочу сосватать их». — Тут пани побледнела
И книжку бросила, вскочила, снова села:
«Помилуй, братец мой, да веришь ли ты в бога?
К чему женить его? Подумай хоть немного!
Как в голову взбрела подобная идея?
Красавца превратить ты хочешь в гречкосея!
Тебя он проклянёт впоследствии за это!
Зарыть такой талант навек в глуши повета!
Поверь словам моим: есть разум у дитяти,
Пусть наберётся он и лоска и понятий,
Для воспитания нужна ему Варшава…
Ах, милый братец мой, придумала я, право!..
Пошли-ка в Петербург! И я туда зимою
Отправлюсь по делам; мы порешим с тобою,
Как лучше поступить, а там приму я меры,
Влияньем пользуюсь полезным для карьеры.
С моею помощью он всюду принят будет,
А через важные знакомства он добудет
Чины и ордена; а там его уж дело, —
Домой вернётся он, коль служба надоела,
Уже со связями, добившись положенья.
Ну, что ответишь ты?» — «И я того же мненья.
Неплохо побродить Тадеушу по свету
И повидать людей, хвалю затею эту;
Я в юности моей пространствовал немало,
Я в Дубно побывал с делами трибунала,
И в Петрокове был, свет повидал на славу,

Однажды посетил я даже и Варшаву [10]
С большою пользою! Тадеуша б я смело
Отправил в дальний путь, поездить так, без дела,
Попутешествовать и свет увидеть, пани,
Поездкой завершить своё образованье.
Не ради орденов, чинов! Прошу прощенья,
Российские чины, — какое в них значенье?
И кто из шляхтичей, — как прежде, так и ныне, —
Будь даже небогат, заботится о чине,
О пустяке таком? Почтение народа
Имеет панство здесь за имя, древность рода,
И ценятся посты лишь выборные нами,
А не добытые чинами, орденами».

«Когда согласен ты, — прервала Телимена, —
Пошли Тадеуша в столицу непременно!»

Затылок почесал Судья не без смущенья:
«Послать бы я послал, да есть тут затрудненья!
Я брата своего ослушаться не смею,
Монаха он теперь мне навязал на шею, —
Ксёндз Робак к нам сюда приехал из-за Вислы;
Мой брат открыл ему намеренья и мысли:
Женить Тадеуша на Зосе дал приказ он,
И нужно нам с тобой уладить дело разом.
К тому ж, скажу тебе, при браке столь желанном,
Их Яцек наделит значительным приданым,
По милости его владею капиталом,
Он одарил меня имуществом немалым!
И вправе он решать, — подумай-ка об этом, —
И помоги, сестра, мне делом и советом!
Мы познакомим их. Сознаюсь я, не споря,
Что Зосе мало лет, но в том не вижу горя [11];
К тому ж пришла пора ей выйти из затвора,
Не девочка она и взрослой будет скоро».

Всё это слушала с волненьем Телимена,

Вскочила второпях и села вновь мгновенно,
Как будто своему не доверяла слуху,
Гнала слова его, как прогоняют муху,
Отталкивала их в уста ему обратно
И разразилась вдруг: «Мне это непонятно!
Как быть с Тадеушем, вы разберётесь сами,
Об этом, добрый брат, не буду спорить с вами!
Вы с Яцеком вдвоём решайте, как хотите, —
Хоть и в корчму его за стойку посадите,
Пусть будет лесником, вольны вы в том вопросе,
Но права нет у вас распоряжаться Зосей!
Что вам до Зосеньки? Её рощу я с детства!
Пускай твой старший брат на то давал мне средства
И пенсию платил он Зосе ежегодно,

Но не купил её, и девушка свободна.
Пусть ей приданое назначил — деньги эти.
Как это знаешь ты и помнят все на свете,
Не без причины ей даёт он, что дивиться?
Обязан кое-чем Горешкам пан Соплица!»
(Судья внимал речам со скорбным выраженьем,
И с неохотою, и с тайным раздраженьем,
Махнул рукою он и голову повесил.
Ни слова не сказав, нахмурился, невесел.)

А пани кончила: «Я Зосю воспитала,
Я родственница ей, и мне решать пристало.
Я в зосиной судьбе одна приму участье!»
«А если в браке том нашла бы Зося счастье? —
Прервал её Судья. — А если Тадеушек
Понравится?» — «Ну, то — искать на вербе грушек!
Понравится ли, нет — судить нам рановато,
И Зосенька моя, хотя и небогата, —
Не деревенщина и не простой породы:
Ясновельможная и дочка воеводы;
Жених отыщется, за ним не станет дело,
А Зосенька, что мной воспитана умело,

Здесь одичала бы!» Казалось, что отказом
Судья не огорчён; он не повёл и глазом,
А молвил весело: «Чего же тут сердиться?
Бог видит, я хотел согласия добиться
Не принуждением, а если не согласна,
То право за тобой и гневаться напрасно.
Так брат приказывал и выполнил я волю,
Ты отказала мне — я не ропщу на долю
И брату отпишу, что не в моей то власти:
Устроить юноши и панны Зоей счастье.
А сам договорюсь я с паном Подкоморьим,
С ним слажу сватовство, — наверно, не поспорим!»
На милость гнев она переменила сразу:
«В моих суждениях, — сказала, — нет отказу!
Да Зося молода, ты сам заметил это, —
Посудим, поглядим, не дам ещё ответа,
А между тем, пока их познакомить можно,
Нельзя судьбу других решать неосторожно!
Прошу, не принуждай племянника ты силой,
Чтоб Зосеньку избрал и в брак вступил постылый.

Ведь сердце не слуга, не склонно к подчиненью,
Не может полюбить оно по принужденью!»

Судья, задумавшись, пошёл своей дорогой.
Тадеуш между тем приблизился немного,
Всё представлялся он, что увлечён грибами.
Туда же крался Граф неслышными шагами.

Он видел спор Судьи с прекрасной Телименой
И живописною залюбовался сценой.
Достал он карандаш с бумагой из кармана, —
Их при себе носил художник постоянно, —
К рисунку приступил, захваченный минутой,
И говорил себе: «Нарочно всё как будто:
Тут он, а здесь она, — контрастные фигуры!
И позы смелые! Сейчас пиши с натуры!»

Граф протирал лорнет средь сумрака лесного,
Глаза зажмуривал и вглядывался снова,
Он тихо повторял: «Чудесней нет картины,
Когда ж приближусь к ней — исчезнет в миг единый,
И станет бархат трав обычною полянкой,
А нимфа дивная — вульгарною служанкой!»
Граф раньше был знаком с прекрасною соседкой,
Он в доме у Судьи видал её нередко,
Но не дарил её он прежде восхищеньем:
Теперь модель свою узнал в ней с изумленьем.
Неузнаваема была она для взгляда,
Всё было ей к лицу: и красота наряда,
И не затихшее ещё волненье спора.
Лицо ей освежал прохладный ветер бора,
А юношей приход и пылкий гнев жестокий
Разгорячили ей пылающие щёки.

Граф обратился к ней: «Простите, пани, смелость,
Дань благодарности вам принести хотелось.
Прощения прошу, ведь я следил за пани,
И счастлив я, что стал свидетелем мечтаний!
Насколько я теперь виновен перед вами,
Прервав раздумий нить, — не выразить словами!
За вдохновенье я обязан вам навеки!
Прости художника, забудь о человеке!
Рисунок удостой вниманьем благосклонным,

Суди!» — Он подал ей набросок свой с поклоном.
Набросок юноши судила Телимена,
Как судят знатоки: с умом, проникновенно,
Скупа на похвалы, щедра на поощренья:
«У пана есть талант, достойный восхищенья.
Пусть продолжает он, но в поисках натуры
Не льстится на леса, на небосвод наш хмурый!
Италия! О рай! О чудеса природы!
Тибура дивного классические воды.
Ты, Позилиппский грот, покрытый древней славой

Земля художников! У нас же, боже правый!
Нет ярких красок здесь, всё проще и суровей,
Питомец муз навек увял бы в Соплицове!
Эскиз ваш помещу среди страниц альбома:
Есть в столике моём рисунков много дома».

Беседа началась о дуновеньях нежных,
О скалах каменных, о шуме волн прибрежных,
И, восхищённые далёким небосводом.
Они над родиной смеялись мимоходом.

А между тем кругом, налево и направо,
Литовские леса темнели величаво! —
Кудрявый хмель обвил черёмуху багрянцем,
Рябина расцвела пастушеским румянцем.
С жезлами тёмными орешины-менады
Орехов жемчуга вплели в свои наряды [13],
А подле детвора: шиповник и калина,
Устами тянется к ним спелая малина.
Деревья за руки взялись с кустами, словно
Юнцы с паненками, все шепчутся любовно.
И возвышается среди лесной громады
Красивая чета, приковывая взгляды,
Виднее прочих всех осанкой и нарядом:
Берёза белая и граб влюблённый рядом.
Стоят безмолвные ряды высоких буков,
Как старики, они любуются на внуков.
Седые тополи, дуб старый, бородатый
Под тяжестью веков поник уже, горбатый,
На предков оперся, сухих, окаменелых,
Как на кресты могил, от времени замшелых.

Тадеуш был смущён беседой их сначала,
В которую вступить не мог, как надлежало.
Когда ж они пошли леса чужие славить,
Стараясь меж собой получше их представить:
Миндаль и апельсин, и кипарис зелёный,

Алоэ, кактусы, оливы и лимоны,
Орехи грецкие, смоковницы густые, —
Хвалили форму их, плоды их золотые, —

Тадеуш хмурился, скрывая возмущенье,
И, наконец, вскочил в безудержном волненьи.
Он горячо любил литовскую природу
И чувству своему дал, наконец, свободу:
«Когда я в Вильне жил, видал в оранжерее
Деревья, что родных деревьев вам милее;
Пускай их красотой Италия гордится,
Но с нашими из них которое сравнится?
Алоэ с длинными ветвями налитыми,
Лимоны-карлики с шарами золотыми,
Одутловатые: они по виду схожи
С богачкой толстою, а вовсе не пригожи!
Тщедушный кипарис за что вы прославляли?
Он воплощение скучищи, не печали!
Пусть, говорят, хорош, тоскою омрачённый,
По мне же, он — лакей, в ливрею облачённый,
Стоит навытяжку, не склонится нимало,
Чтоб строгий этикет ничто не нарушало!

Не краше ль во сто крат почтенные берёзы, —
Они, как матери над сыном, точат слёзы,
Как вдовы горькие, заламывают руки
И косы до земли склоняют в горькой муке.
Как выразительны их скорбные фигуры —
Так отчего же вы не пишете с натуры?
Нарисовали б их с поникшими ветвями!
Смеяться будут здесь все шляхтичи над вами,
Что вы в Литве родной хотя живёте ныне,
Изображаете всё скалы да пустыни!»
«Приятель, — Граф оказал, — прекрасная природа
Канва искусства, феи; душа — другого рода,
Она парит всегда на крыльях вдохновенья,
Всё совершенствуясь от вкуса и уменья.

Природы мало нам и вдохновенья мало,

Творец стремится сам в обитель идеала.
Не всё прекрасное пригодно для искусства,
Из книг узнает пан, что развивает чувство.
Для вдохновения искали пейзажисты
Ансамбль, и колорит, и свод небесный чистый,
Цвета Италии. Вот почему, конечно,
Землёй художников ей называться вечно.
Двух-трёх художников сочтём и мы: Брейгеля,
Конечно, старшего, отнюдь не Ван дер Хелля.
Пожалуй, Рюисдаль составит исключенье [14], —
Других на севере не сыщешь, без сомненья.
Небес нам надобно!» — «Художник наш Орловский, —
Прервала пани тут, — был гений соплицовский [15].
(Есть слабость у Соплиц; недаром в целом свете
Ничто не мило им так, как дубравы эти!)
Орловский славен был, гордилась им столица, —
Эскиз есть у меня, он в столике хранится.
Живал он при дворе, однако в райской жизни
Всё позабыть не мог о брошенной отчизне,
Мечтами улетал в свои былые годы
И вечно рисовал леса родные, воды».

«Конечно, прав он был, — вскричал Тадеуш страстно, —
Вы небо южное хвалили так напрасно:
С прозрачным синим льдом сравню его природу,
Но больше во сто крат ценю я непогоду!
Поднимешь голову — и сцены замелькают;
Из облачной игры картины возникают;
Все тучи разные: осенние — ленивы,
Набухшие дождём, они неторопливы
И по земле метут распущенной косою
Струящихся дождей сплошною полосою;
А градовая — вдаль летит, как шар, по сини,
Она кругла, темна, желта посередине,
Несётся гул за ней. И облака не схожи:

Взгляните пристально, они различны тоже!
То облака летят станицей лебединой,
Их, точно сокол, вихрь сгоняет воедино;
То вдруг сжимаются изменчиво красивы!
То шеи вытянут, то вдруг распустят гривы.
Взмахнут копытами — и вот вдоль небосклона
Несутся табуны, как по степи зелёной;

Белеют серебром, сливаются и снова
Не гривы — паруса, один белей другого;
Табун стал кораблём в передвижной картине,
И медленно плывёт по голубой равнине…»

Граф с Телименою разглядывали тучи.
Старался описать Тадеуш их получше,
А сам рукою жал он ручку Телимены.
Так несколько минут промчалось тихой сцены:
Граф вынул карандаш с бумагой из кармана,
На шляпе разложил, но резкий звон нежданно
Раздался вдалеке, и тотчас же из бора
Донёсся разговор, смех, отголоски спора.

Граф, головой кивнув, промолвил важным тоном:
«Так всё кончается здесь погребальным звоном —
Полёт фантазии, утехи бранной славы,
И дружба тихая, и детские забавы.
Чувствительных сердец смолкают излиянья,
Тускнеет красота и меркнут упованья
При медном звоне том!» — Тут Граф спросил у пани:
«Что ж остаётся нам, живым?» — «Воспоминанье!»
И графскую печаль смягчить желая шуткой,
Она дарит его любезно незабудкой.
Целует граф цветок, в петлицу продевает.
Тадеуш между тем кустарник раздвигает
И видит: в зелени скользит к нему, белея,
Рука прелестная, как нежная лилея.
Схватил и удержал он ручку без усилий,

Тонули в ней уста, как пчёлки в чашах лилий.
Вдруг холод на губах: то ключик и записка.
Засунул их в карман Тадеуш к сердцу близко;
Хотя не понимал он ключика значенье,
Но думал, что в письме найдётся объясненье.

Под колокольный звон летели, словно эхо,
Из чащи голоса, и крик, и взрывы смеха.
Тот колокольный звон был громок, беспокоен, —
Всех сборщиков грибов звал из лесу домой он.
Но не печален был звенящий голос меди.
Напротив, говорил о доме и обеде.
Шёл из-под крыши звон, — так в полдень постоянно

Он на обед сзывал гостей в усадьбе пана.
Обычай этот шёл от времени былого
И соблюдался он доныне в Соплицово.
Вернулись сборщики весёлою гурьбою,
Кошёлки, кузовки несли они с собою.
Как веер сложенный, в руке у каждый панны
Виднелся боровик и, как цветы с поляны.
Пестрели в их руках лисички, сыроежки,
Которые набрать им удалось без спешки.
Пан Войский мухомор принёс, но шли с пустыми
Руками юноши и Телимена с ними.

Столпилось общество в столовой в полном сборе.
Вот к месту главному идёт пан Подкоморий,
Он самый старший здесь и возрастом и чином,
Шагает, кланяясь и дамам и мужчинам;
Судья с ксендзом за ним. Как водится доныне,
Вначале ксёндз прочёл молитву по-латыни.
Мужчины выпили. Все по порядку сели,
Литовский холодец в молчаньи дружном ели.

Царила тишина за праздничным обедом.
И за столом сосед не говорил с соседом,

Сторонники борзых задумались в молчаньи,
Тревожили умы заклад и состязанье;
Ведёт к молчанию забота неизменно.
С Тадеушем, смеясь, болтала Телимена
И с Графом погодя беседу затевала,
И об Асессоре она не забывала:
Переняла она повадку птицелова,
Что заманил щегла и метит на другого.
Соперники вдвоём, счастливые, сидели,
Неразговорчивы, не пили и не ели:
Граф трогал с нежностью подарок-незабудку,
Тадеуш между тем боялся не на шутку,
Чтоб ключик не пропал, он нагибался низко —
Всё проверял: цела ль заветная записка?
Судья венгерское цедил неторопливо,
И Подкоморию колено жал учтиво,
Но к разговорам сам он не имел охоты,
Смущали ум его хозяйские заботы.
Не клеилась у них и за жарким беседа…

Прервал унылое течение обеда
Лесничий; ворвался он в комнату нежданно, —
Знать, было из чего ему тревожить пана!
Взлохмачен, весел был, лицо его пылало,
Что новость важная, всё это подтверждало!
Застыли все на миг, он перевёл дыханье
И громко закричал: «Медведь, медведь, мосьпане!»
Расспрашивать его охотники не стали,
Что зверь из крепи был, и сами угадали,
Одна и та же мысль — не тратить время даром —
Пришла им в головы, заговорили с жаром.
По кратким возгласам, по жестам торопливым.
Видать, что все одним, охвачены порывом.
Повскакивали с мест, приказы полетели…
Хоть разные, — они вели к единой цели.

Соплица закричал: «В село лететь галопом,

Чтоб на облаву шли, пусть сотский скажет хлопам
Кто отзовётся, тем, когда придут с охоты,
Скощу я барщины — четыре дня работы!»

Пан Подкоморий вслед: «Скачите-ка на сивой,
Пиявок из дому мне привезите живо!
Собаки славные, не тронь — откусят руку!
Пса Справником зовут, Стряпчиною звать суку [16],
Надев намордники, в мешки их завяжите!
Гоните сивую! Скорей собак тащите!»
Асессор закричал по-русски: «Живо, Ванька,
Тесак — дар княжеский — из сундука достань-ка!
(Асессор хвастался перед слугою даже.)
Проверить не забудь и пули в патронташе!»
Нотариус взывал: «Свинца! Свинца! Панове!
Должны оружие держать мы наготове!»
Судья командовал: «Оповестить плебана [17],
Чтоб мессу отслужил он завтра утром рано.
Святого Губерта нужна на завтра месса [18],
Должны собраться мы в часовне, возле леса».

Вот крики замерли, замолкли приказанья.
Все призадумались средь общего молчанья, —
И каждый, поводя внимательно глазами.
Искал начальника облавы меж гостями

Взглянув на Войского, уж не искали боле,
Он дружно избран был для этой важной роли.
Гречеха не сробел пред почестью такою,
Спокойно по столу он постучал рукою,
Цепочку он достал с толстенными часами
И общество обвёл пытливыми глазами,
Промолвив: «На заре должны прийти вы к лесу —
В часовне выслушать перед облавой мессу».
Он встал, лесничий с ним, им надо без помехи
Наметить общий план для завтрашней потехи.
Как доблестным вождям перед великим боем,

Распорядиться всем им надобно обоим.
Уснули в лагере, не спят вожди, однако
Всё совещаются у сонного бивака.

Все гости разбрелись: те лошадей ковали,
Те ружья чистили, те просто толковали.
За ужином ловцов собралось очень мало,
О споре общество уже не вспоминало.
Юрист с Асессором покончили с враждою,
Пошли искать свинец согласною четою;
Другие, утомясь, уже легли в постели,
Перед облавою все выспаться хотели.

Книга четвёртая. ДИПЛОМАТИЯ И ОХОТА[1]

Видение в папильотках будит Тадеуша • Ошибка, замеченная слишком поздно • Корчма • Эмиссар [2] • Умелое пользование табакеркой даёт надлежащее направление спору • Крепь[3] • Медведь • Тадеуш и Граф в опасности • Три выстрела • Спор Сагаласовки с Сагушовкой, решённый в пользу горешковской одностволки • Бигос • Рассказ Войского о поединке Довейки с Домейкой, прерванный травлей зайца • Окончание рассказа о Довейке и Домейке.

Князей литовских ты ровесница, дубрава,
Понар, и Свитези, и Кушелева слава! [4]
Когда-то отдыхать любили в чаще дикой
Витенис и Миндовг, и Гедимин великий [5].
Однажды Гедимин охотился в Понарах,
На шкуру он прилёг в тени деревьев старых
И песней тешился искусного Лиздейки[6],
И убаюкан был журчанием Вилейки;
Железный волк ему явился в сновиденьи [7],
И понял Гедимин ночное откровенье:
Он Вильно основал в непроходимых чащах,
Тот город волком стал среди зверей рычащих [8].
Он грудью выкормил, как римская волчица,
Ольгердов древний род, чья доблесть не затмится [9].
Могучие князья снискали славу в битвах.
Равно счастливые в сраженьях и ловитвах.
Так было вещим сном грядущее открыто:
Железо и леса — с тех пор Литвы защита.

Леса литовские! В глуши дубов и клёнов
Охотился не раз наследник Ягеллонов;
Последний Ягеллон, он предков был достоин,

Последний на Литве король-охотник, воин [10],
Деревья милые! Увижу ли вас снова,
Друзей-приятелей далёкого былого?
Какими встречу вас? Под вашими ветвями
Ребёнком ползал я и любовался вами…
А как Баублис дуб? [11] В стволе его зияло
Огромное дупло; сходилось в нём бывало
Двенадцать рыцарей на пиршестве весёлом.
Шумит ли рощица Миндовга над костёлом? [12]
И липа та жива ль, размеров исполинских,
Над Росью светлою, у дома Головинских? [13]
Плясало вкруг неё, в тени ветвей зелёных
Сто молодых людей, сто девушек влюблённых.

Деревья старые! Вас меньше год от году,
И вырубают вас стяжательству в угоду!
Не петь лесным певцам в густой листве весенней,
Поэтам не мечтать под шелковистой сенью.
Ян отклик находил у липы в Чернолесьи [14],
Дуб, старый говорун, с короной в поднебесьи,
Нашёптывал певцу сказания лесные! [15]

А скольким, скольким я обязан вам, родные!
Бывало, упустив добычу, уязвлённый
Насмешками друзей, я уходил под клёны!
И сколько образов нашёл я у болота,
Присев в тени на холм. Что мне была охота?
Повсюду мох лежал серебряный и дикий,
Залитый синевой раздавленной черники.
Цветущим вереском отсвечивали дали,
И ягоды в листве, как бусины, сверкали;
А ветви наверху темнели, словно тучи,
И застилали высь завесою дремучей.
Порою вихрь шумел над неподвижным сводом,
Стонал и грохотал, подобно бурным водам.
Какой пьянящий шум! Казалось мне, бывало,
Что небо надо мной, как море, бушевало.

Руины городов внизу легли, как будто,
Дуб, вырванный грозой, к земле склонялся круто,
И словно сруб торчал; колонна за колонной
Валились на него стволы с листвой зелёной,

Трава сплела вкруг них подобие забора.
А в чащу не гляди: там властелины бора —
Медведи, кабаны; у входа в чащу — кости
Забредших к хищникам неосторожно в гости.
Меж зелени густой мелькают в отдалении
Фонтаны светлые, — но то рога оленьи;
И зверь, блеснув в кустах полоской золотою,
Исчезнет, словно луч за порослью густою.

И снова тишина. Лишь дятел еле-еле
Стучит и прячется, летя от дуба к ели;
Стучит и вновь летит всё дальше, без оглядки,
Как будто бы шалун зовёт играть с ним в прятки,
Да белочка грызёт орешки торопливо,
Над головою хвост раскинув горделиво,
Как пышное перо на шишаке военном;
Насторожится вдруг движением мгновенным
И, гостя увидав, лесная танцовщица,
Быстра, как молния, по гибким веткам мчится
И прячется в дупле, невидимом для взгляда,
Как прячется в лесу пугливая дриада.
И снова тишина.
Но ветви колыхнулись,
И гроздья свежие рябины покачнулись,
И щёки вспыхнули, как гроздь рябины в пуще,
У юной девушки, по ягоды идущей;
Свой кузовок она протянет вам невинно
Со свежей, как уста, румяною малиной;
А рядом парень гнёт орешины густые, —
Рвёт на лету она орехи молодые.

Вдруг слышат — звук рогов, залаяли собаки —
Охота близится в прохладном полумраке;
И, ветви выпустив в смятении и в тревоге,
Они исчезнут вдруг, как тёмной пущи боги.

А в Соплицове шум. Ни суета, ни ржанье,
Ни громогласный лай, ни бричек дребезжанье.
Ни трубы звонкие, глашатаи охоты,
Нарушить не могли Тадеуша дремоты;
Он как сурок в норе, одетый спал в постели.
Разыскивать его по дому не хотели:
Все на своих местах уже с зарёю были,
И о Тадеуше, конечно, позабыли.

Он спал. А солнышко проникло через ставни,
Сквозь прорезь ворвалось, прогнало сумрак давний
И огненным столбом в лицо ему глядело;
Не просыпаясь, он вертелся то и дело,
Как вдруг раздался стук, и он в одно мгновенье
Проснулся; весело и сладко пробужденье!

Тадеуш счастлив был, — беспечный, словно птица.
Всё улыбался он, не мог не веселиться,
И приключение припоминал сначала,
Краснел он и вздыхал, а сердце так стучало!

На ставни поглядел, на прорезь: что за чудо!
Пытливые глаза в упор глядят оттуда, —
Раскрыты широко — всегда бывает это,
Когда в ночную тьму хотят взглянуть со света.
И нежная ладонь — от солнышка защита —
Над белоснежным лбом щитком была раскрыта;
А пальцы тонкие, пронизанные светом,
Рубины яркие напоминали цветом.
Увидел юноша коралловые губы,
Как жемчуга, меж них поблёскивали зубы.
Хотя красавица лицо и прикрывала,

Но щёки юные пылали яркоало.

Кровать Тадеуша была укрыта тенью;
Дивился юноша волшебному виденью —
Оно над головой склонялось у постели,
И юноша не знал, — то наяву, во сне ли?
Такие лица мы видали в детстве раннем,
С тех пор в душе они живут воспоминаньем.
Склонилось личико, — и он узнал в смятеньи
И в радости, увы, волшебное виденье!
Узнал он завитки её волос коротких,
Они накручены на белых папильотках,
И в солнечных лучах, подобные короне,
Сияют над лицом, как будто на иконе.

Едва сорвался он, красавица умчалась, —
Как видно, шум спугнул. Она не возвращалась!

Но юноша слыхал, как о двери стукнул кто-то
И донеслись слова: «Вставать пора! Охота!»

Тадеуш тотчас же опять вскочил с постели,
Так распахнул окно, что петли загремели,
А ставни хлопнули, о стены громыхая;
Он выглянул в окно и впился в даль, вздыхая, —
Хоть было пусто всё, не спрятались от взгляда
Примятые цветы на изгороди сада,
Качался дикий хмель и пёстрые левкои
Дрожали, — может быть, задетые рукою?

Тадеуш не сводил с дрожащих листьев взора,
Но в сад идти не смел, — лишь стоя у забора.
Он палец свой к губам прижал с немым упрёком,
Боясь обмолвиться хотя бы ненароком;
Ударил по лбу он потом себя в молчаньи,
Как будто пробудить хотел воспоминанье,
И, пальцы закусив с мгновенною досадой,

Он громко закричал: «Ну что ж, мне так и надо!»

И вот на том дворе, где было столько шума,
Как на погосте, всё безмолвно и угрюмо.
Стрелков в помине нет. Тадеуш поднял руки,
Как трубки приложил к ушам, ловил он звуки,
Какие ветер нёс из чащи отдалённой, —
Глухой собачий лай, и гул далёкий гона.
Давно осёдланный конь дожидался в стойле,
Тадеуш взял ружьё, галопом через поле
Помчался к двум корчмам, что у часовни были,
Перед облавой все сходиться здесь любили.

Враждуют две корчмы вблизи дороги сонной,
И окнами грозят друг другу озлобленно.
За замком числится одна из них; позднее
Соплица новую поставил рядом с нею.
В одной, как в вотчине своей, царит Гервазий,
В другой господствует слуга Соплиц — Протазий.

Хоть новая корчма ничем не выделялась,
Но старая зато постройкой отличалась:
Тот стиль измышлен был строителями Тира [16].
Евреи развезли его по странам мира.
И перешла в Литву к нам их архитектура,
Родному зодчеству чужда её натура.

Фасад корчмы — корабль, а тыл подобен храму.
Ковчег, а не корчма! и столько же в ней гаму.
Корабль похож на хлев, и в нём зверья немало:
Коровы, лошади и овцы, кто попало!
И насекомые, и птицы; всякой твари,
И даже ужаков отыщется по паре.
Напоминает храм святыню Соломона,
Которая была ещё во время оно
В Сионе образцом прекраснейшего храма,
А возвели её искусники Хирама [17];

Так строят хедеры евреи и поныне,
Стиль одинаковый везде, — в корчме, в овине.
На крыше задранной и доски, и рогожа, —
С еврейским колпаком та крыша очень схожа!
Стропила над крыльцом, и, может быть, штук сорок
Колонн из дерева — искуснейших подпорок.
Колонны прочные пришлись по вкусу зодчим,
Нескладно срублены, кривые, между прочим,
С Пизанской башнею [18] могли б они сравниться,
Но стиля эллинов искать в них не годится.
А над колоннами изогнутые своды —
Наследье готики, что пощадили годы.
Здесь подивишься ты искусному узору,
Что вырубил топор, — резцу такие впору.
Точь-в-точь еврейские светильники кривые,
И шарики на них, как пуговки, какие
Молящийся еврей на лоб свой надевает
И цицесами ик обычно называет.
Как набожный еврей, корчма полукривая,
Как будто молится, качаясь и кивая,
А стены грязные на лапсердак похожи,
И с бородой стреха имеет сходство тоже.
Как цицес над крыльцом торчит узор старинный.
Разделена корчма перегородкой длинной.
Направо множество каморок непригожих.
Они для путников проезжих и прохожих.
Налево зал большой, там гомон постоянный.
Под каждою стеной стол узкий деревянный,

У каждого стола теснятся, словно детки,
Похожие на стол простые табуретки.
Расселись за столом крестьяне с шляхтой вместе.
И только эконом был на особом месте.

Все собрались сюда, ведь было воскресенье,
И выпивка в корчме сулила развлечение.
Пред каждым из гостей уже стояла чарка,

С бутылью бегала вокруг стола шинкарка,
А Янкель с важностью поглядывал в окошки,
На нём кафтан до пят, из серебра застёжки.
Он бороду свою поглаживал рукою
И пояс шёлковый перебирал другою.
Приветствовал гостей, вступая в разговоры,
А сам следил за всем, кругом бросая взоры.
Мирил он спорящих, знал тонкость обращенья,
Но не прислуживал, — давал распоряженья.
Почтеннейший еврей в округе был известен,
С крестьянами в корчме был неизменно честен,
И жалоб на него не поступало к пану.
Чтоб жаловаться тут? Не прибегал к обману,
Напитки добрые всегда держал за стойкой
И пить не запрещал, гнушался лишь попойкой.
Крестины, свадьбы все справлялись у еврея;
Звал музыкантов он, расходов не жалея,
И по воскресным дням здесь музыка играла,
Волынка и дуда гуляющих встречала.

К тому же обладал еврей талантом истым —
Был музыкантом он, отменным цимбалистом.
Ходил он по дворам минувшею порою
И восхищал людей искусною игрою,
И песни польские пел Янкель вдохновенно.
Он чисто говорил. В повет обыкновенно
Из Гданьска, Галича и даже из Варшавы
Он песни привозил [19], не трус был Янкель бравый!
Шёл разговор о нём, отнюдь не небылицы,
Что первым он привёз в Литву из-за границы
И первым распевал в своём родном повете
Ту песню, славную теперь в широком свете,
Которую тогда впервые у авзонов
Играли трубачи народных легионов [20].

Дар песенный в Литве несёт с собой по праву
Богатство и даёт ещё впридачу славу.

Так Янкель приобрёл почёт и капиталы,
Повесил на стену звенящие цимбалы,
А сам осел в корчме, торговлей занимаясь,
Главой общины стал и жил, с нуждой не знаясь.
Желанным гостем он бывал под всякой кровлей,
Советы всем давал и с хлебною торговлей
На барках был знаком; ценились те заслуги,
Поляком добрым он прослыл в родной округе.

В корчмах не позволял он разгораться злобе
И спорщиков мирил, их арендуя обе.
Горешков партия и партия Соплицы
В корчме у Янкеля любили веселиться.
Еврея уважал и богатырь Гервазий,
И спорщик, кляузник — слуга Соплиц, Протазий.
Смолкал пред Янкелем длинноязыкий Возный
И воли не давал рукам Гервазий грозный.

Рубаки не было. Отправился в дубраву,
Боялся отпустить он Графа на облаву
Без верного слуги; надеялся при этом
В беде помочь ему и делом и советом.

В почётном уголке [21], где, точно воевода,
Гервазий восседал, подальше от прохода, —
Сегодня квестарь был: ведь Янкель чтил монаха
И ублажал его отнюдь не ради страха.
Он убыль замечал в его глубокой чарке
И тотчас подбегал, приказывал шинкарке
Душистый мёд подать скорей для бернардина;
Свела их с квестарем, как говорят, чужбина.
Здесь к Янкелю в корчму он хаживал ночами,
Обменивался с ним заветными речами.
Не контрабанда ли сближала их так тесно?
Но нет! То был поклёп, — в округе всем известно.

Ксёндз Робак рассуждал вполголоса о деле.

Развесив уши, все в молчании сидели
И к табаку ксендза тянулись взять понюшки;
Чихали шляхтичи, как будто бы из пушки.

«*Reverendissime!* [22]— сказал, чихнув, Сколуба, —
Воистину табак! Такой проймёт до чуба!
Мой нос (погладил он свой нос рукой привычно)
Такого не встречал! (Тут он чихнул вторично.)
Монашеский табак! Небось, из Ковно родом,
Который славится и табаком и мёдом?
Давненько не был там…» Ксёндз молвил: «На здоровье
Всем вашим милостям, почтенные панове!
А что до табака, он родом не из Ковно,
Подальше вырос он, и это безусловно!
Из Ясногорского монастыря святого,
Я вам его привёз, друзья, из Ченстохова [23],
Где чудотворная икона чистой девы,
Владычицы небес и польской королевы.
Княжной литовскою народ её считает,
Короной польскою она повелевает,
Но схизма на Литве царит у нас, панове!»
Тут Вильбик заявил: «И я был в Ченстохове —
За отпущением ходил туда к святыне.
А правда ль, там француз хозяйничает ныне
И храмы грабит он без уваженья к вере? [24]
Читал уже о том в *Литовском* я *курьере* [25].
Ответил бернардин: «Неправда это, враки!
Католик кесарь наш, такой же, как поляки!
Помазан папою, с ним дружбу сохраняет,
И в духе истины французов наставляет.
А что до серебра, пожертвовано много
В народную казну, но это воля бога!
Для Польши, родины, то взнос богоугодный!
Как божьим алтарям не быть казной народной?
В Варшавском княжестве есть польских войск немало,
Сто тысяч насчитал, довольно для начала![26]
Должны их содержать литвины, верьте слову;

Даёте деньги вы, небось, в казну царёву!»
«Да, чёрта с два даём! У нас берут их силой!»
Так Вильвик завопил. Встал мужичок унылый,
Затылок почесав, сказал, ни с кем не споря:
«Ну, что до шляхтичей, так вам ещё полгоря,
Но лыко с нас дерут!» — «Хам! — закричал Сколуба, —
Пусть лыко с вас дерут, как с молодого дуба,
Привычка есть у вас. Вам, хлопам, так и надо[27],
Но к воле золотой привыкли мы измлада!

Ведь шляхтич у себя, скажу при всём народе…»
«Да! — подхватили все, — он равен воеводе!»
«Меж тем приходится изыскивать нам средства
И документами доказывать шляхетство!» [28]
«Да вам-то что?— спросил Юрага ядовитый, —
Подумаешь, какой вы шляхтич родовитый!
Но от князей ведут свой древний род Юраги,
И мне-то каково разыскивать бумаги?
Пускай москаль пойдёт и спросит у дубравы,
Кто ей давал патент перерасти все травы?»
«Князь! — Жагель протянул. — Хоть ври, да знай же меру!
Немало митр у нас найдётся здесь [29]. К примеру:
У пана крест в гербе, вернее нет улики,
Что выкрест был в роду!» [30] — Его прервали крики:
«Врёшь! Крест — над кораблём, и я сродни татарам!» —
Юрага завопил; Мицкевич крикнул с жаром:
«Мой Порай с митрою средь поля золотого [31].
Герб княжеский, о том в геральдике есть слово!»

Желая спор унять, вернуться к прежней теме,
Ксёндз табакерку вновь поставил перед всеми
И начал потчевать он спорщиков учтиво.
Тут расчихались все, спор прекратился живо,
Ксёндз продолжал: «Табак и вправду наилучший,
Расхваливал его недавно вождь могучий.
Как вспомню я теперь, Домбровский одолжался…
Он три понюшки взял, чихнул, не удержался!»

«Домбровский! Правда ли?!» — «Да, он! При генерале
Я в лагере стоял, когда мы Гданьск с ним брали [32].
Домбровский занят был. Рукою утомлённой
Он по плечу меня похлопал благосклонно:
«Ксёндз, года не пройдёт, — так мне сказал Домбровский, —
Как встретимся с тобой мы на земле литовской!
Литвинам накажи: табак из Ченстохова
Пускай мне поднесут, я не терплю другого!»
Застыли шляхтичи на миг в оцепененьи,
В такой восторг пришли, в такое восхищенье!
Они вполголоса все повторяли снова:
«С таким же табаком! Он впрямь из Ченстохова?
Домбровский явится! Ксёндз видел генерала!»

Тут речи их слились и кровь в них заиграла!
Вот разом грянули, как будто по сигналу:
«Домбровского! Ура!» Рёв переполнил залу.
Все тотчас обнялись, хлоп с князем, с Митрой — Порай,
С татарским графом Крест, всем было не до спора!
Забыли Робака и, надрывая глотки,
Запели весело: «Вина побольше! Водки!»

Казалось, бернардин доволен был весельем,
Он табакерку взял и насладился зельем,
Спугнул чиханием мелодию живую,
Опомниться не дав, завёл он речь иную:
«Вы хвалите табак, а что там в табакерке?
Вам надо поглядеть, хотя бы для проверки!»
Он вытер донышко, стряхнув с него пылинки.
Там, как мушиный рой, виднелись на картинке
Войска — и, словно жук, был всадник перед ними,
Который скакуна жёг шпорами своими
И, в небеса летя, узду сжимал рукою,
А к носу табачок он подносил другою.
«Ну, что же, — ксёндз сказал, — ещё вы не узнали
Великого вождя?» В молчаньи все стояли.
«Да, император он! И не москаль к тому же,

Их царь не нюхает, пускай, ему же хуже!»
«Великий человек, да что ж одет он просто?
Сюртук без золота, и небольшого роста!» —
Так Цыдзик закричал. «Москаль, скажу я панам,
Весь блещет золотом, как щука под шафраном!»
«Ба! — Рымша речь прервал, — москаль другого рода.
Костюшку видел я, вождя всего народа!
Великий человек ходил в простом кафтане,
В чамарке краковской!» — «В какой чамарке, пане? —
Заспорил Вильбик с ним, — ходил он в тарататке!» [33]
«Нет, со шнуровкой та, а полы этой гладки!» —
Мицкевич возразил. Спор загорелся жаркий,
Все обсуждали крой кафтана и чамарки.
Ксёндз Робак между тем, не говоря ни слова,
Вкруг табакерки всех объединяет снова,
Любезно потчуя. Понюшку взяв, панове
Чихали, говоря друг другу: «На здоровье!»
«Когда Наполеон за табачок берётся, —
Промолвил ксёндз, — врагам сдаваться остаётся!

Под Аустерлицем так: орудья зарядили [34]
Французы. Москали толпой на них валили.
Глядел Наполеон. Пальнули мы навстречу —
Упали москали, сражённые картечью.
Полк падал за полком, подбитый нашей пушкой,
А кесарь брал табак, понюшку за понюшкой.
Тут Александр бежал в сопровождении братца,
Ну, по плечу ли им с богатырём тягаться?!
Его величество доволен был сраженьем
И пальцы отряхнул уверенным движеньем.
Когда в его войска поступите вы, — эту
Тогда, друзья мои, припомните примету!»

«Ах, квестарь дорогой!» — заговорил Сколуба, —
Когда ж то сбудется? Вот было бы нам любо!
Сулят французов нам: раз десять на неделе,
А мы всё ждём да ждём, глаза уж проглядели!

Москаль как нас душил, так душит, что есть мочи,
Пока заря взойдёт, роса нам выест очи!»

«Пусть ропщут женщины, — так ксёндз сказал, — на муки!
Пускай евреи ждут, сложив спокойно руки,
Чтоб дорогих гостей потом встречать с поклоном.
Не трудно москалей побить с Наполеоном!
Разбил он англичан, спустил он швабам шкуру,
Пруссаков растоптал, три раза лезших сдуру!
И москалям теперь придётся, верно, худо.
Но знаете ли вы, что следует отсюда?
Коль шляхта сабли взять тогда не побоится,
Когда уж не с кем ей, пожалуй, будет биться,
Вам скажет Бонапарт: «Где были вы, вояки?
Ведь кулаками-то не машут после драки!
А значит, мало ждать, и суть не в приглашеньи, —
А надо челядь звать, готовить угощенье!
Сор надо вымести! Почище подметите,
Когда в своём дому гостей встречать хотите!»
Настала тишина и говор несогласный:
«Сор надо вымести… Слова ксендза неясны.
На всё готовы мы, пускай нам ксёндз укажет,
Что делать мы должны, пускай яснее скажет!»

Но ксёндз в окно смотрел, о чём-то беспокоясь.
Вот высунулся он в него почти по пояс.
«Нет времени, — сказал, — зато когда приеду.
Продолжу с вами я серьёзную беседу!
В уездном городе я буду гостем скорым
И к вашим милостям пожалую за сбором».
«Пусть для ночлега ксёндз заедет в Негримово, —
Промолвил эконом, — к приёму всё готово!
Напомню вам одну пословицу, панове:
«Так счастлив человек, как квестарь в Негримове!» [35]
Зубковский попросил: «В Зубково ехать надо,
Корову стельную отдать хозяйка рада,
С полштуки полотна, и слышать вам не внове:

«Счастливей никого нет квестаря в Зубкове!»
«К Сколубе просим вас!» — «К нам, — молвил Тераевич, —
Голодным бернардин не покидал Пуцевич!»
Так наделить его сулили все дарами,
Глядели вслед ему, но был он за дверями.

Ксёндз увидал в окно Тадеуша, который
Спешил по большаку, коню давая шпоры,
Склонивши голову, без шапки, бледный мчался,
Коня настегивал, расстроенным казался.
Смятеньем юноши был Робак озабочен,
Пошёл он вслед за ним и торопился очень
Туда, где горизонт, насколько видит око,
Затмила сень дерев, раскинутых широко.

Кто пущи исходил от края и до края [36],
До самой глубины их дебрей проникая?
Рыбак о дне морском у побережья судит;
Стрелок в лесной глуши охотиться не будет,
Кружит опушкой он, знаком с ближайшим бором,
Но в тайники его не проникает взором;
Гласят предания в моём краю родимом,
Что если лесом кто пойдёт непроходимым —
Наткнётся на барьер стволов, колод с ветвями,
Размытых в глубине бегущими ручьями;
Там муравейники, ползучие растенья,
Гадюки, пауки, слепни — столпотворенье!
Но если б удалось проникнуть в глубь завала,
Опасность новая ему бы угрожала:
Оврага тёмные раскинули б тенёта
И заманили бы зелёные болота;

В них не достанешь дна — а в глубине, поверьте.
Средь воякой нечисти гнездятся даже черти!
Пятнает ржавчина отравленную воду,
Тлетворный дым столбом восходит к небосводу,
Он губит чахлые кустарники лесные;

Деревья — карлики, плешивые, больные,
Мох сбился колтуном, скрывая жалкий остов,
А на стволах у них не счесть грибных наростов!
Здесь, над водой, они подобны ведьмам старым,
Что варят мертвеца и греются над паром.

Не перебраться нам сквозь топкие озёра
И на берег другой вовек не бросить взора;
Повита облаком глухая чаща бора,
Которое всегда восходит над трясиной.
За мглою, говорят, за дивною лощиной,
Что в заповеднике от глаз людских таится, —
Деревьев и зверей заветная столица… [37]
Хранятся в ней ростки и семена растений,
Которые в лесу восходят в день весенний;
Как будто в Ноевом ковчеге для приплода,
По паре всех зверей здесь собрала природа.
Медведь, и зубр, и тур [38] — они владыки чащи:
У каждого свой двор богатый и блестящий!
Министры знатные — и рысь, и россомаха —
Гнездятся подле них, совсем не зная страха;
Как благородные вассалы, в тёмной сени
Пасутся кабаны, и волки, и олени;
Над ними соколы, они с орлами дружат,
Живут подачками, доносчиками служат.
Вот пары главные в той чаще благодатной,
Что возвеличены над прочими стократно;
Детёнышей они рассеяли по бору,
А сами здесь живут, им отдыхать лишь впору.
С ножами и ружьём зверьё тут незнакомо,
Живёт до старости и умирает дома.
Есть кладбище у них, туда несут пред смертью
И крылья с перьями и шкуры вместе с шерстью.
Туда идёт медведь, от старости беззубый,
Зайчишка-старичок с облезшей, ветхой шубой,
Дряхлеющий олень, безногий и ленивый,
И сокол слепенький, и старый ворон сивый,

Орёл, едва лишь клюв его так искривится,
Что пищу более клевать не может птица [39],
И всякое зверьё, когда изменят силы,
Спешит на кладбище — найти себе могилы.
Вот почему в лесах, во всех местах доступных,
Не отыскать костей ни маленьких, ни крупных [40].
В столице чтит зверьё своё лесное право,
Хранит обычаи и благородство нрава:
Цивилизации нет в заповедной шири [41],
И собственности нет, поссорившей всех в мире,
Нет поединков здесь, нет воинской науки,
Как жили прадеды, так поживают внуки,
Ручные с хищными встречаются согласно,
И не грызут они друг друга ежечасно.
Когда бы человек забрёл сюда случайно,
То встретило б его зверьё необычайно;
Глядело б на него, застыв от изумленья,
Как в тот субботний день, в последний день творенья,
Их праотцы в раю глядели на Адама
До ссоры роковой — доверчиво и прямо.
Но человек сюда и не заглянет даже, —
Тревога, Труд и Смерть стоят в лесу на страже.

Со следа гончие порой в глуши сбивались,
В болото и в овраг нечаянно врывались,
И, поражённые величием картины,
С безумным воем прочь бежали от трясины,
И на своём дворе они ещё визжали,
И у хозяйских ног испуганно дрожали.
Ту чащу дикую, во всём великолепьи,
Зовут охотники в своих беседах — Крепью.

О дуралей медведь! Когда б сидел на месте,
Гречеха о тебе не получил бы вести;
Прельстило ль пасеки тебя благоуханье?
Овёс ли золотой привлёк твоё вниманье?

Но ты покинул глушь, а здесь деревья реже,
И распознал лесник твои следы медвежьи.
Он ловчих разослал, чтоб выследить берлогу,
И где ты кормишься, когда выходишь к логу;
А Войский в лес привёл охотничью ораву —
Отрезан путь назад, и начали облаву
Тадеуш знал уже, что опоздал он к сбору,
И гончие давно рассыпались по бору.

Напрасно замерли стрелки насторожённо.
Напрасно слушают молчанье в чаще сонной,
Стоят с двустволками и выжидают срока, —
Лесная музыка несётся издалёка,
Ныряют в чаще псы, как будто в волнах утки,
Стрелки на Войского глядят, им не до шутки,
А он припал к земле и ухом ловит шумы;
Как на лице врача родня читает думы,
Чтоб угадать судьбу любимого больного,
Так ждут охотники решительного слова,
Глядят на Войского с надеждой и в сомненьи.
«Есть! Есть!» — воскликнул он, поднявшись в нетерпеньи.
Он слышал, — а они услышали позднее:
Собака залилась, другая вслед за нею,
И разом буйный лай понёсся, нарастая, —
То заливается, напав на след, вся стая;
Собаки мчатся вглубь, и лай их не сравнится
Со сдержанным, когда покажется лисица;
Сейчас их злобный лай отрывистей и чаще, —
Как видно, гончие настигли зверя в чаще;
Внезапно лай затих; медведь поднялся хмурый,
На гончих бросился — рвёт морды им и шкуры.
А лай звучит теперь как будто бы иначе,
И слышен вой глухой, предсмертный визг собачий.

Как луки, выгнулись мужчины в нетерпеньи,
Готовятся к стрельбе и напрягают зренье:
Ждать дольше невтерпёж! Не выдержали нервы,

Все бросили посты и всяк стремится первый
Медведя повстречать, хотя поклялся Войский
С тем, кто покинет пост, разделаться по-свойски!
Пусть шляхтич, или хлоп, юнец, иль бородатый —
Всех вытянет смычком, коль будут виноваты!
Ничто не помогло! Стрелки бегут без толка,
И раза три уже ударила двустволка.
И началась пальба! Но, звуки заглушая,
Вдруг заревел медведь — глушь дрогнула лесная.
Ужасный рёв! В нём боль, отчаянье, тревога;
За ним несётся лай и гул победный рога.
Стрелки взвели курки, переведя дыханье,

Другие в лес бегут — повсюду ликованье;
Но Войский закричал, что зверя упустили:
Охотники в лесу за ним не доследили,
Наперерез ему они спешили к пуще,
А зверь напуганный людьми и псами пуще,
Поворотил назад, на дальнюю поляну,
Где удержать никак не удалось охрану.
Из всех охотников остались подле лога
Тадеуш, Войский, Граф и гонщиков немного.

Из глубины лесной донёсся рёв могучий,
И прянул вдруг медведь, как гром из синей тучи;
На лапы задние встал в бешенстве великом
И устрашал врагов своим свирепым рыком:
Он камни вырывал, погоней разъярённый,
Ломал деревья он и точно вихрь зелёный
На недругов летел; потом сломал осину!
И вот занёс её, как будто бы дубину,
Пошёл на юношей, грозя убить с размаху,
Но граф с Тадеушем стоят, не зная страху.
Двустволки подняты, курки на оба взвода, —
Так против тучи два стоят громоотвода.
Вот разом два курка они спустили дружно
(Неопытность! Двоим зараз стрелять не нужно!)

И — промах! Прыгнул зверь — рогатина готова,
Схватились за неё, не говоря ни слова,
И друг у друга рвут; тут оглянулись, к счастью,
И видят — рядом зверь с разинутою пастью,
И лапа поднята! От ярости медвежьей
Пустились наутёк туда, где чаща реже.
За ними зверь бежит — над графской головою
Он когти выпустил и лапой роковою
Полчерепа с него чуть не содрал, как шляпу, —
Так яростно простёр над головою лапу.
Но тут Нотариус, Асессор подоспели,
Рубака был уже недалеко от цели,
И бернардин бежал, хотя и безоружный, —
Раздался залп в лесу тотчас же громкий, дружный
Медведь подпрыгнул вверх, как заяц пред борзыми
И рухнул. Но махал он лапами своими,
Как машет мельница крылами; грузной тушей
Он Графа придавил, а сам рычал всё глуше.
Хотел ещё привстать, но прокусили шею
Стряпчина первая, а Справник вслед за нею.

Тут Войский рог схватил кручёный, буйволиный,
Висевший на ремне, как змей блестящий, длинный:
Прижал его к губам обеими руками,
Потом закрыл глаза с кровавыми белками,
Вобрал в себя живот, раздул, как тыквы, щёки
И рогу передал весь выдох свой глубокий,
И заиграл: а рог, как будто вихрь летящий,
Нёс музыку лесам и отдавался в чаще.
Тут замерли стрелки в немом оцепененьи,
Дивясь и чистоте и мощной силе пенья.
Старик искусство всё, каким был славен в пуще,
Еше раз передал гармонией поющей;
И лес наполнился, и ожила дубрава,
Как будто псы бегут и началась облава.
В тех звуках целая охота зазвучала:
Вначале резкий клич далёкого сигнала,

Потом задорный лай, — несутся псы гурьбою.
И твёрдый тон звучит, — то лес гудит пальбою.
Вдруг Войский оборвал, охотникам казалось,
Что он трубит ещё, — то эхо отзывалось.

И снова затрубил; казалось, рог менялся
В устах у Войского, — то рос, то уменьшался,
Вытягивался вдруг он длинной шеей волка,
И выл пронзительно и долго, безумолка,
То вырывался рёв, как из медвежьей пасти,
А то — мычание вихрь разрывал на части.

Тут Войский оборвал, охотникам казалось,
Что он трубит ещё, — то эхо отзывалось.
Летели по лесу ликующие звуки,
Дубы им вторили, подхватывали буки.

Вновь Войский затрубил: рогов казалось много,
Смешались вместе лай, и ярость, и тревога
Стрелков, зверей и псов; движением могучим
Рог поднял музыкант, и гимн вознёсся к тучам.
И снова оборвал, охотникам казалось,
Что он трубит ещё, — то эхо отзывалось.

Деревья музыке откликнулись по бору,
И песню понесли они от хора к хору;
А звуки ширились, смолкая в отдаленьи,
Чем дальше слышались, тем были совершенней, —
Пока не замерли у горнего порога!
Гречеха руки вдруг, склонясь, отвёл от рога,
Разъединяя их; и рог повис кручёный,
А Войский поднялся, набрякший, просветлённый,
И долго ввысь глядел в каком-то вдохновеньи,
А слухом всё ловил слабеющее пенье.
Меж тем на все лады виваты загремели,
От тысячи хлопков качались буки, ели.

Затихли… и в лесу как будто стало глуше,
Тут обернулись все к большой медвежьей туше.
Прошита пулями, вся в брызгах крови алой.
Как в землю вбитая, она пластом лежала.
Раскинул лапы зверь, как будто крест широкий,
Струились из ноздрей кровавые потоки,
Медведь ещё дышал, ещё водил глазами,
Но неподвижен был. Повисли за ушами
На левой стороне Стряпчина, а на правой,
Вцепившись, Справник пил из горла ток кровавый.
С трудом лишь удалось отнять от туши гончих,
Просунув меж зубов прута железный кончик.
Стрелки прикладами медведя повернули,
Виваты грянули и в небе утонули.

Асессор ликовал, поглаживая дуло:
«Ружьишко каково? Надуло! Всех надуло!
Ружьишко каково? Что? Невеличка-птичка [42],
Как отличилось! А? Вот вам и невеличка!
Не любит зря стрелять! Что, хороша игрушка?
Мне подарил его за меткость князь Сангушко!
Всё восхищался он — искусная работа!
И находил в ружье достоинства без счёта».
«Бегу за зверем вслед, — Юрист сказал, стирая
Со лба горячий пот. — Кричит пан Войский с края:
«Стой!» А чего стоять? Косматый жарит в поле,
Как заяц, во всю прыть. Уйти ему дать, что ли?
Бегу, спирает дух, догнать надежды нету.
Гляжу, а зверь бежит прямёхонько к просвету!

На мушку взял его. «Ну, мишка, друг бедовый!» —
Подумал я, и всё! Вот он лежит готовый!
Нельзя не похвалить моей Сагаласовки,
Сагалас лондонский, хоть из Балабановки!
Тот оружейник был поляк, по всем приметам,
Но ружья украшал по-английски при этом».

Асессор закричал: «Ну, нет! Уж это дудки!
Так это пан убил? Пан, верно, шутит шутки!»
Но отвечал Юрист: «Не суд у нас — облава,
Здесь все свидетели — принадлежит мне слава!»

Тут зашумели все, заспорили речисто,
Те за Асессора, а эти — за Юриста.
О Ключнике они совсем не вспоминали,
Бежали сбоку всё, что дальше там — не знали.
Гречеха слово взял: «Теперь по крайней мере
Достойный спор у вас — вопрос о крупном звере!
Не заяц, а медведь! И объясняться в этом
Придётся саблею, а может, пистолетом!
Решенья не найти в подобном спорном деле,
И разрешить его пристало на дуэли!

Когда-то шляхтичи здесь жили по соседству [43],
Принадлежавшие к древнейшему шляхетству.
Меж их усадьбами вилась река Вилейка,
А звали шляхтичей Домейко и Довейко [44].
В медведицу они пальнули как-то вместе,
Не знали, кто убил — и вот, во имя чести,
Сквозь шкуру поклялись стреляться, дуло в дуло!
Дуэль шляхетская! А сколько шума, гула
Вкруг поединка шло! А сколько песен пели
О той неслыханной по дерзости дуэли!
Я секундантом был; как всё происходило
Сначала расскажу: давненько это было…»

Пока он говорил, уладил Ключник дело,
Он тушу обошёл и оглядел умело.
Медвежью голову ножом рассёк он разом,
Затылок разрубил и, не моргнувши глазом,
Он пулю вытащил, отёр её ливреей,
И к дулу приложив, примерил поскорее.
«Вот пуля, — он сказал, все на неё взглянули, —
Панове, — продолжал, — у вас другие пули!

Ружьё Горешково! — Тут он приподнял ловко
Старинное ружьё, скреплённое бечёвкой. —
Но выстрелил не я, хотя и был под боком,
Боялся в юношей попасть я ненароком:
Бежали юноши. Глазам своим не веря,
Над графской головой я видел лапу зверя!
Горешков родич он, хотя бы и по прялке…[45]
Я к Господу воззвал и был услышан, жалкий!
Послали ангелы на помощь бернардина.
Он всех нас устыдил. Ну, молодец ксенжина!
Покуда я дрожал, чего-то дожидался,
Он выхватил ружьё, и выстрел вмиг раздался!
Стрелял за сто шагов и между головами
В пасть зверю угодил! Откроюсь перед вами:
Немало прожил я, но я стрелка такого
Лишь одного знавал и не встречал другого!
Он, славный некогда на стольких поединках,
Он, пулей каблуки срезавший на ботинках,
Он, низкий человек, но храбрости отменной,
Усач по прозвищу, фамилии презренной!
Однако ни к чему теперь его отвага,
По самые усы горит в аду бродяга.

Хвала ксендзу! Двоих сегодня спас от смерти,
А может и троих, Гервазию поверьте!
Горешково дитя, последнее на свете,
Когда бы зверь задрал, и я бы не жил, дети!
Полез бы на рожон к медведю прямо в глотку!
За Графа выпьем, ксёндз, я приготовил водку!»
Но не было уже ксендза в лесу зелёном,
Медведя застрелив, он подбежал к спасённым,
Хотел скорей унять душевную тревогу,
Узнав, что целы все, вознёсся мыслью к Богу,
Молитву прочитал и, широко шагая,
Пустился в поле он, как будто убегая.

Гречеха между тем распоряжался снова.

Охапки вереска и хвороста сухого
Подбросили в костёр, разросся дым сосною,
Набросив балдахин над зеленью лесною,
А над огнём стрелки рогатины скрестили,
Пузатые котлы на зубья нацепили.

С возов несли уже капусту и жаркое,
И хлеб, а погребец всегда был под рукою.
Хранились в погребце бутыли всех калибров —
И вот, хрустальную бутыль из прочих выбрав,
(Гостинец Робака по вкусу всем полякам,
То водка Гданьская — кто до неё не лаком!)
Провозгласил Судья, разлив вино по чашам:
«Здоровье Гданьска пью, он был и будет нашим!»
И чаши винные он наполнял до края,
Покуда золото не капнуло сверкая [46].

А бигос греется. Сказать словами трудно
О том, как вкусен он, о том, как пахнет чудно!
Слова, порядок рифм, всё передашь другому,
Но сути не понять желудку городскому!
Охотник, здоровяк и деревенский житель,
Литовских кушаний единственный ценитель.

Но и без тех приправ литовский бигос вкусен,
В нём много овощей и выбор их искусен;
Капусты квашеной насыпаны там горки,
Что тает на устах, по польской поговорке.
Капуста тушится в котлах не меньше часа,
С ней тушатся куски отборнейшего мяса,
Покуда не проймёт живые соки жаром,
Покуда через край они не прыснут паром
И воздух сладостным наполнят ароматом.

Готово кушанье, и с громовым виватом
Все с вилками бегут, в капусту их вонзают.
Звон меди. Дым валит, и бигос исчезает,

Подобно камфаре; на самом дне казанов
Клокочет пар, как дым из кратеров вулканов.

Стрелки, довольные, напились и наелись
И, тушу привязав, на лошадей уселись,
Друг с другом весело вступают в разговоры.
Юрист с Асессором не позабыли ссоры.
Все спорили они о славной Сангушовке
И балабановской лихой Сагаласовке.
А граф с Тадеушем печально путь держали.
Стыдились промаха, стыдились, что бежали.
Кто зверя упустил, нарушив ход облавы,

Тот нелегко уже добьётся доброй славы!
«Я взял рогатину! — промолвил Граф со злобой,
И не вмешайся пан, мы не бежали б оба!»
Тадеуш отвечал, что он его сильнее,
Со зверем лучше бы управился он ею,
И захотел помочь. Так говоря угрюмо,
Не слушали они ни болтовни, ни шума.
Гречеха посреди охотничьего круга
Был весел, говорлив, как в добрый час досуга.
О рьяных спорщиках немного беспокоясь,
Задумал досказать он начатую повесть.
«Асессор и Юрист, вас призывал к дуэли,
Не потому, что я свиреп на самом деле,
Не кровожаден я; хотел вас позабавить
И шутку повторить, комедию представить,
Чтоб вас уговорить не тратить время в ссорах.
Я шутку выдумал тому назад лет сорок.
Вы молоды ещё, до вас не долетела
Та шутка славная, что некогда гремела.

Довейко, верно, бы с Домейко мирно жили,
Но помешало им созвучие фамилий!
На сеймиках себе сторонников, бывало,
Довейко партия средь шляхты вербовала;

Прошепчет шляхтичу: «Свой голос дай Довейке» —
Тот, недослышавши, отдаст его Домейке.
На пиршестве, когда провозгласил Рупейко:
«Виват Довейко наш!» Кто подхватил «Домейко!»
А кто понять не мог, кого же называют?
В конце обеда речь нечёткою бывает!

А в Вильно было так: какой-то шляхтич пьяный
С Домейкой фехтовал и получил две раны.
Из Вильно уходя и торопясь к парому,
С Довейкой встретился он по дороге к дому.
И вот, когда вдвоём поплыли по Вилейке,
Кто он таков, спросил пьянчужка у Довейки.
«Довейко!» Услыхав, полез в свою кирейку [47],
Клинком подрезал ус Довейке за Домейку.

А на облаве раз похуже получилось,
И надо было же, чтоб с ними так случилось!
Стояли рядышком и выстрелили вместе
В одну медведицу, упавшую на месте
От этих выстрелов; хотя ходили слухи.
Что до десятка пуль она носила в брюхе,
Однокалиберных немало ружей было, —
Которое из них медведицу убило?
«Довольно! — крикнули друзья мои с досадой, —
Бог или чёрт связал, но развязаться надо!
Как в небе солнцам двум — двоим нам в мире тесно.
За сабли! Чья возьмёт, решим дуэлью честной!»
Мирить их шляхтичи старались, но напрасно!
Они, рассвирепев, в запальчивости страстной
Клинки отбросили, взялись за пистолеты…
Тут закричали мы, что слишком близки меты,
Но поклялись они стреляться через шкуру, —
Опасность велика, убьют друг друга сдуру!
«Гречеха секундант!» Я не моргнул и глазом.
«Пускай могилу вам могильщик роет разом,
Не кончится добром ваш вызов молодецкий,

Но вы не мясники, деритесь по-шляхетски!
И не сближайтесь так, ведь удальство не в этом.
Хотите пропороть вы брюхо пистолетом?
Дистанцию свою назначили вы сами,
Я выверю её шагами и глазами,
Сам шкуру растяну и сам её расправлю,
И вас, друзья мои, по совести расставлю:
На морде одного, а на хвосте другого.
Стреляйтесь досыта — позиция готова!»
«Когда и где, скажи?» — «Да в Уше [48], на рассвете!»
Ушли они, а я Виргилия [49] взял, дети!»

Вдруг раздалось «Ату!» вслед быстрому зайчонку —
И Куцый с Соколом летят за ним вдогонку.
Борзые были здесь. Нередко после лова
Случалось лошадям в пути поднять косого.
Без сворок псы брели и, повстречавшись с серым,
Не ждали окрика, а понеслись карьером.
Юрист с Асессором за ними было гнаться,
Но Войский закричал: «Стой! С места не сниматься!
Ни шага никому я сделать не позволю,
Отсюда всё видать, русак несётся к полю!»
Зачуя псов, русак туда понёсся, верно!

Наставил уши он, как будто рожки серна,
И, вытянувшись весь, серел он в поле, будто
Не лапки быстрые под ним — четыре прута!
Казалось, на бегу едва земли касаясь,
Как ласточка летел тот злополучный заяц.
За ним клубилась пыль, за пылью псы; похоже,
Что заяц, пыль и псы слились в одно и то же —
Одна змея ползла, змеиной головою,
Конечно, был русак, и шеей пыль, а двое
Псов, точно два хвоста, мелькали над травою.

Юрист с Асессором раскрыли рты в волненьи,
Вдруг побледнел Юрист, как плат, как привиденье.

Асессор побледнел, поникши головою…
Змея длинней, длинней — тут что-то роковое!
Разорвалась змея, исчезла шея пыли,
У леса голова, хвосты далеко были!
Пропала голова, как будто шутки ради
Мелькнула вдалеке, а псы остались сзади.

Обманутые псы бегут у перелеска,
Не то советуясь, не то ругаясь резко.
Подходят медленно и опускают уши,
И поджимают хвост. Позор им лёг на души!
Не смеют глаз поднять, свершили преступленье!
И к панам не идут, а стали в отдаленьи.

Тут голову на грудь Нотариус повесил,
Асессор не сдавал, но тоже был невесел!
Вдвоём они нашли немало отговорок;
Мол, не привыкли псы охотиться без сворок!
Мол, заяц выскочил нежданно, нынче в поле
Хоть обувай собак; булыжники там, что ли,
И камни острые, и рытвины, и кочки.

Так объясняли всё борзятники, до точки.
Могла быть эта речь охотникам полезной,
Но те не слушали, смеялись нелюбезно,
Перебирали вновь минувшую облаву,
А свист их оглашал зелёную дубраву!
Гречеха только раз на зайца обернулся,
Узнав, что убежал, спокойно отвернулся

И продолжал рассказ: «На чём бишь я, панове?
Ах, да на том, что я держу друзей на слове!
Послужит шкура им дистанцией дуэли.
Жалеют шляхтичи: «Погибнут в самом деле»,
Я отвечаю им с улыбкою невинной,
Что шкура может быть порою очень длинной!
Панове, знаете, как, по словам Марона,

К ливийцам приплыла прекрасная Дидона
И там клочок земли добыла при условьи,
Что он уместится под шкурою воловьей [50].
И вот на том клочке встал Карфаген могучий,
Я ночью изучал недаром этот случай!

Едва взошла заря на берегах Вилейки,
Домейко на коне, Довейко на линейке.
А через реку мост косматый, крепко вбитый, —
Ремни из шкуры там нарезаны и сшиты.
Домейко стал на хвост, на морду стал Довейко,
Меж ними катится шумливая Вилейка!
«Стреляйтесь, — я сказал, — на славу подеритесь,
А лучше, удальцы, друг с другом помиритесь!»
Смеются шляхтичи, а дуэлянты злятся,
Ксендзу и мне пришлось немало постараться:
Читать Евангелье и приводить законы [51].
Смирились гордецы, хоть были непреклонны!

Довейко в жёны взял себе сестру Домейки,
До гробовой доски дружили их семейки!
Друзей примернее не знали мы в округе.
Домейко шурина сестру избрал в супруги.
Поставили они корчму на месте боя,
Её «Медведицей» [52] прозвали меж собою.

Книга пятая. ССОРА

Охотничьи планы Телимены • Огородница готовится к вступлению в свет и выслушивает советы наставницы • Охотники возвращаются • Изумление Тадеуша • Вторичная встреча в Храме грёз и примирение, достигнутое при посредничестве муравьёв • За столом завязывается беседа об охоте • Прерванный рассказ Войского о Рейтане и князе Денасове • Переговоры между сторонами, тоже прерванные • Явленье с ключом • Ссора • Военный совет Графа с Гервазием.

С охоты Войский вновь вернулся в Соплицово,
А Телимена здесь охотиться готова.
Хоть в комнате она сидит уединённо,
И руки на груди сложила утомлённо.
Но ловит двух зверей в раздумьи Телимена
И хочет затравить обоих непременно.
Кого ж ей предпочесть? Граф — юноша красивый,
Он рода знатного, любезный, неспесивый;
Уже влюблён, хотя… всё может измениться!
Верна ль его любовь? Захочет ли жениться?
Чуть-чуть постарше я и состоянья нету! [1]
Как поглядит родня и свет на свадьбу эту?

Раздумывая так, привстала Телимена,
Как будто выросла от мыслей тех мгновенно;
Открыла ниже грудь и повернулась боком,
Внимательным себя окидывая оком.
У зеркала она просить совета стала,
Потупилась, вздохнув, и села вновь устало.

Граф — пан! Изменчивы богатые мужчины!
К тому же, он блондин! А пылки ли блондины!
Тадеуш — простачок! Ещё он мальчик, право,

А первая любовь для сердца не забава!
Когда следить за ним, то будет крепко связан,
И Телимене ведь он кое-чем обязан.
Изменчив юноша лишь в мыслях, и недаром,
Он совестлив душой, с ним легче чем со старым:
О первых радостях Тадеуш не забудет,
И наслаждение приветствовать он будет,
А распростится с ним он попросту, с весельем,
Как будто с пиршеством, какое с другом делим.
Не то, что пьяница, гуляка и кутила,
Которому давно на свете всё постыло.
А пани толк в любви прекрасно понимала,
Она умна была и опытна немало!

Что станут говорить? Но можно затаиться,
Уехать далеко, от всех знакомых скрыться,
Столицу посетить, когда придёт желанье,
Мысль эта радостна честолюбивой пани:
Там познакомила бы юношу со светом,
И помогла б ему, наставила советом!
Нашла бы в нём себе — супруга, друга, брата,
Покуда молодость не скрылась без возврата!

Мечтая так, она прошлась беспечно, смело,
Потом нахмурилась и на диван присела.

О Графе думала попутно Телимена:
На Зосеньке женить, вот было бы отменно!
Из рода знатного, она подстать супругу,
Происхождением они равны друг другу.
Когда б их удалось сосватать Телимене,
Нашлось бы место ей в супружеском именьи
Как зосиной родне и свахе Графа тоже [2].
Была бы молодым их матерью пригожей!

И поразмыслив так, довольная затеей,
Племянницу спешит окликнуть поскорее.

А Зося с головой, от солнца не закрытой,
Стоит, держа в руках приподнятое сито;
Ей в ноги катятся лохматыми клубками
Рябые курочки вослед за петушками,
Трясут чубатые головками задорно,
На шишаках у них коралловые зёрна.
И на бегу они широко ставят ноги;
За ними следует индюк надутый, строгий,
Не слушая речей дражайшей половины;
Невдалеке плывут хвостатые павлины, —
Хвост помогает их движениям нескорым;
И голубь падает комочком сребропёрым.
На бархатном лугу приветливой лужайки
В звонкоголосый круг теснятся птичьи стайки;
Как белой лентою, обвитый голубями,
Круг пёстрый, в крапинках, сверкает словно пламя.
Янтарь на клювиках, кораллы на уборе,
Из гущи пёрышек, как рыбки светят в море.
Вся стайка пёстрая у стройных ножек панны
Едва колышется, как над водой тюльпаны:
Глядит на девушку с волненьем круг стоокий,

А Зося кажется меж птицами высокой,
Одета в белое, лицом бела, румяна
И движется легко, как бьёт струя фонтана;
Из сита черпает она для птиц проворно
Рукой жемчужною жемчужин крупных зёрна, —
Ячменную крупу, служившую заправой
Литовских кушаний. Но Зосенька лукаво
Похитила крупу у экономки старой
Для милых птиц своих, пренебрегая карой.

Услышала — зовут. «О, тётя, нет сомненья!» —
И, высыпав скорей остатки угощенья,
И сито покрутив, как бубен танцовщица,
Выстукивая такт, сама взвилась, как птица,

Помчалась радостно, домашних птиц пугая:
Взметнулась тотчас же испуганная стая.
Ногами девушка едва земли касалась
И птицей между птиц летящею казалась;
За нею голуби летели пышной свитой,
Как за прекрасною богиней Афродитой.

Вскочила девушка в окошко к Телимене,
Любимой тётушке уселась на колени;
А тётушка своей рукою белоснежной
Погладила её по круглой щёчке нежной
И глянула в глаза её проникновенно
(Любила девушку сердечно Телимена).
Однако поднялась, потом прошлась немного
И, пальцем погрозив, заговорила строго:

«Ты, Зося, не дитя, пора остепениться,
Тебе четырнадцать, ты взрослая девица!
И внучке Стольника, конечно, не пристало
Возиться с птицами, якшаться с кем попало!
С крестьянскими детьми ты нянчилась довольно.
Поверь, что на тебя глядеть мне даже больно!
Вся загорела ты, как будто бы цыганка,
И неуклюжа ты, и ходишь, как крестьянка.
Забавы детские пора тебе оставить,
Сегодня свету я хочу тебя представить,
К нам гости съехались, и встретишься ты с ними,
Не осрами ж меня манерами дурными!»

Тут Зося прыгнула и в радостном волненьи
На шею бросилась нежданно Телимене,
В ладоши хлопнула, смеяться, плакать стала:
«Ах, тётя, как давно гостей я не видала!
Всё с курами вожусь, всё слышу птичьи крики,
Был у меня в гостях один лишь голубь дикий;
Как мне наскучило сидеть одной в алькове,
Со скукой, говорят, приходит нездоровье!»

«Мне докучал Судья, — прервала Телимена, —
В свет вывозить тебя хотел он непременно.
Не знает, что плетёт. Жил старикан в повете
И в свете не бывал, — что знает он на свете?
Известно хорошо мне, как особе светской,
Что надо в общество явиться не из детской.
Коль на глазах растёшь, тогда, попомни слово,
Эффекта всё равно не будет никакого,
Будь раскрасавицей. Зато, когда нежданно
Пред светом явится блистательная панна,
Наперебой за ней ухаживать все рады.
Все кинутся ловить её улыбки, взгляды,
Заискивать пред ней, ей поступать в угоду.
А если девушка войдёт однажды в моду,

То хвалят все её и создают ей славу,
Хотя не каждому красавица по нраву.
Не беспокоюсь я: ты выросла в столице,
Я воспитанием твоим могу гордиться,
Ты помнишь Петербург, хотя живёшь в повете.
Заботься, Зосенька, скорей о туалете!
Здесь в столике моём всё для тебя готово.
Охотники вот-вот должны вернуться с лова».

Тут камеристка вмиг с прислужницей живою
Ей таз серебряный наполнили водою.
Как воробей в песке, в воде плескалась панна,
И камеристка ей прислуживала рьяно.
Свой петербургский склад открыла Телимена,
Помаду и духи взяла она мгновенно,
Духами тонкими обрызгала девицу
(Благоухание наполнило светлицу).
Надела Зосенька чулочки-паутинки;
Обулась в белые варшавские ботинки.
Шнуровку кончила в то время камеристка,
Тут пеньюар подав, она склонилась низко

И, папильотки сняв бумажные, крутые,
В два локона свила ей кудри золотые,
Разгладив волосы на лбу и над висками.
Потом сплела венок из руты с васильками,
Который тётушка взяла рукой умелой
И ловко девушке на голову надела. —
А в золоте волос, как в спелой ржи, мелькая,
Синели васильки, головками кивая.

Вот платье белое на Зосеньку надето,
И, чтобы подчеркнуть сиянье туалета,
Взяла она платок, блиставший белизною,
Бела, как лилия над гладью водяною.

Одобрив туалет последнего фасона,
Велит ей тётушка пройтись непринуждённо.
Особой светскою была недаром тётка,
И не понравилась ей зосина походка.
Едва взглянув, она в отчаянье приходит:
«Ах, я несчастная! Так вот к чему приводит
Возня с гусятами! Что это за походка?
Зачем по сторонам глазеешь, как разводка?
Как неуклюже ты передо мной присела!»

И отвечала ей племянница несмело:
«Жила я взаперти, ни с кем не танцевала,
Возилась с детворой и с птицами, бывало.
Прошу у тётушки немного снисхожденья,
С гостями поведусь, и наберусь уменья».

«Возиться с птицами — всё лучше для начала,
Чем с тою шушерой, что дядю посещала! —
Сказала тётушка. — Плебан, игравший в шашки,
С молитвой на устах, другие замарашки —
Чинуши с трубками, лихие кавалеры!
Переняла бы ты завидные примеры!
Но вдоволь можешь ты теперь повеселиться

В хорошем обществе. Созвал гостей Соплица,
Меж ними есть и Граф, жил за границей годы,
Воспитан хорошо и родич воеводы,
С ним полюбезней будь!»

Тут долетело ржанье.
Знать, гости съехались — и поспешила пани
Вдвоём с питомицей приезжих встретить в зале.
Спустились об руку, гостей там не застали.
Они к себе прошли, хотят принарядиться, —
Охотничий костюм для залы не годится.

Вот Граф с Тадеушем переоделись живо,
И были встречены хозяйкою учтиво:
Приветствовала их любезно Телимена,
Свою племянницу представила степенно.
Сперва Тадеушу: он родственник ей близкий.
Присела девушка, поклон отвесив низкий,
Беседу завязать Тадеуш попытался,
Но, заглянув в глаза, с открытым ртом остался.
Он вспыхнул, побледнел, и сердце застучало,
Он сам не понимал, что это означало.
Несчастный! Угадал он Зосю несомненно!
По росту, голосу узнал её мгновенно;
Да, эту девушку он видел на заборе,
И на заре она его будила, — горе!

Помог Тадеушу Гречеха в затрудненьи;
Увидев дрожь его и бледность и волненье,
Советовал ему пойти вздремнуть немного.
Тадеуш в угол стал, подальше от порога.
Не говоря ни с кем, глядел безумным взглядом
И видел тётушку с племянницею рядом.
Меж тем за юношей следила Телимена,
Смущение его заметила мгновенно,
Стараясь разгадать, что с ним такое стало,
Она по-прежнему с гостями щебетала.

Но, улучив момент, Тадеуша спросила:
Здоров ли? Отчего один стоит уныло?
О Зосе, наконец, ему сказала что-то,
Но юноша молчал и слушал с неохотой,
И губы покривил. Тут пани стало жутко,
И поняла она, что это всё не шутка!
Участие на гнев сменила Телимена,
Вдруг поднялась она и глянула надменно,
Презреньем обдала, а юноша был молод,
Не выдержав, вскочил, как будто был уколот,
Прочь кресло отпихнул стремительным движеньем
И, бросившись бежать, он плюнул с раздраженьем,
Дверь хлопнула за ним. Но этой бурной сцены
Никто не увидал, на счастье Телимены.

В смятении юноша бежал прямой дорогой,
Похож на щуку был с вонзившейся острогой,
Которая нырнёт, скрываясь под водою,
И тянет в глубину верёвку за собою, —
Так бедный юноша с собой унёс досаду;
Он прыгнул через ров, перескочил ограду
И прямо побежал куда глаза глядели,
Дороги не ища, не намечая цели.
Попал он, наконец, — привёл, быть может, случай,
Туда, где счастлив был он всей душой кипучей,
Где получил вчера записку — дар прелестный…
Зовётся Храмом грёз то место, как известно.

Она! Узнал её он во мгновенье ока.
Да, Телимена здесь сидела одиноко.
Была она грустна, укрыта шалью белой,
На камень опершись, сама окаменела,
Печальное лицо в ладонях укрывала,
И слёзы горькие беззвучно проливала.

Тут сердце юноши напрасно защищалось,
Он сам растрогался, почувствовав к ней жалость.

Таясь в листве глухой, вздыхал он ненароком
И, наконец, в сердцах сказал себе с упрёком:
«Неправ я, но её винить мне нет причины!»
Тут высунулся он почти до половины.
Вдруг пани прыгнула и точно ошалела,
Метаться начала, ручей перелетела.
Бледна, растрёпана, стремглав бежала пани
И наземь бросилась, не выдержав страданий.
Пытается привстать, однако всё напрасно,
И видно, что она терзается ужасно.
Хватается за грудь, за шею, за колена…
Тадеуш выскочил — да что же с Телименой?
Припадок, может быть? Но нет, не в этом дело!
Другое бедствие!
Вблизи берёзы белой,
Где муравейник был, народец муравьиный
Хозяйственно сновал вдоль по дорожке длинной.
Зачем же муравьи в траве обосновались?
Что их влекло сюда? Причины не дознались!
Но с самого утра, сквозь березняк зелёный
Тропинку протоптав, ползли их легионы.
А пани у ручья сидела на песочке.
Польстились муравьи на белые чулочки
И поползли по ним, кусаются, щекочут…
Тут пани поднялась, стряхнуть мурашек хочет,
Но падает в траву, ей не сдержать стенаний.

Тадеуш должен был прийти на помощь пани!
Он платье отряхнул и белые чулочки,
Нечаянно уста приблизил к нежной щёчке.
Так в позе дружеской была забыта ссора,
Беседа обошлась без сцен и без укора —
И затянулось бы свиданье их, но снова
Раздался медный звон, он шёл из Соплицова

И к ужину сзывал. Поторопиться надо!
Вдруг хрустнул бурелом, их ищут, — вот досада!

Вернуться им вдвоём, конечно, невозможно,
И Телимена в сад спустилась осторожно,
А юноша пошёл налево по дороге.
Не обошлось у них обоих без тревоги:
Ей померещилась сутана с капюшоном, —
Не Робак ли за ней шёл шагом приглушённым.
Тадеуш был смущён какой-то длинной тенью,
Мелькавшей перед ним. Он чувствовал в смятеньи,
Хотя и не видал, что это Граф шёл полем,
В английском сюртуке, просторном, долгополом.

А ужин в замке был; не примирясь с запретом,
Протазий на свой страх сам настоял на этом:
Он замок штурмом взял, когда ушёл Соплица,
Ввёл во владенье слуг — как это говорится.
Вот общество в сенях столпилось в полном сборе,
И к месту главному идёт пан Подкоморий,
Он самый старший здесь и возрастом и чином,
Шагает, кланяясь и дамам и мужчинам.
Садится рядом с ним примерная супруга,
А ксёндз не ужинал, он не имел досуга.
Вот, разместив гостей, Судья стал посредине,
«Благословение» прочёл он по-латыни.
Мужчины выпили, на скамьи гости сели,
Литовский холодец в молчаньи дружном ели.

Шли раки вслед за ним, цыплята с винегретом
В компании живой венгерского с кларетом.
Молчали за столом. Подобного скандала,
С тех пор как замок был воздвигнут, не бывало!
А шляхту принимать — не привыкать палатам,
Где стены вторили ликующим виватам,
Теперь же слушают постукиванье вилок,
Да пробок хлопанье, да бульканье бутылок.
Звучавшие в тиши отрывисто и глухо,
Замолкли языки по воле злого духа.

Не без причины все сидели молчаливо;
Вернулись из лесу ватагою шумливой,
Но вскоре пыл остыл. Припомнив ход облавы,
Установили все, что не стяжали славы.
Ведь надо было же! Какая-то сутана,
Бог весь откуда к ним попавшая нежданно[3],
Вдруг превзошла в стрельбе охотников столь рьяных.
Что станут говорить и в Лидзе и в Ошмянах,
Которые взялись тягаться с их поветом [4]
В стрельбе и в ловкости? Все думали об этом.

Юрист с Асессором являли исключенье.
Позор любимых псов им причинял мученье.
И каждый видел вновь, досадою терзаясь,
Как хвостиком в лесу помахивает заяц
И точно дразнит их! Сидели мрачно оба,
К тарелкам наклонясь, в сердцах кипела злоба.
Асессора печаль ещё другая гложет:
От Телимены глаз он отвести не может.
С Тадеушем она ни слова не сказала,
Но взгляды на него смущённые бросала.
На Графа мрачного с улыбкою глядела,
Душевный разговор с ним завести хотела.
Придя с прогулки, Граф исполнен был досады…
Тадеуш знал, что Граф вернулся из засады!
Закинув голову, поднявши гордо плечи,
С презреньем слушал Граф приветливые речи.
Потом он к Зосеньке подсел как можно ближе,
Менял тарелки ей и наклонялся ниже,
Закатывал глаза, беседуя любезно,
И тяжело вздыхал, — всё было бесполезно!
Видать, несчастный Граф ухаживал для виду,
И Телимене тем отплачивал обиду.
Оглядывался он, как будто ненароком,
И на коварную сверкал ревнивым оком.

Но непонятна ей осталась эта сцена.

«Чудак!» подумала о Графе Телимена.
Успехом девушки наставница гордилась,
И вот к Тадеушу с улыбкой обратилась.

Тадеуш мрачен был, он слушал разговоры,
Но не пил и не ел, вперив в тарелку взоры,
В её любезностях назойливость он видел,
Зевал в ответ на них и тем её обидел,
Не нравилось ему (какая перемена!),
Что так щедра была на ласки Телимена.
Разгневался ещё на декольте большое,
Нескромное; и вдруг он обомлел душою,

Он зорок был теперь, — влияние измены, —
Едва лишь бросил взгляд на щёки Телимены,
Как тайну разгадал великого обмана:
Она румянится!
Виновны ли румяна?
Случайно стёрлись ли? Но волшебство нежданно
Распалось. Видел он все недостатки кожи.
Румяна в Храме грёз могли стереться, всё же
Беседа их велась на близком расстоянии,
Как с бабочки пыльцу их свеяло дыханье!
А пани, запоздав, хоть путь был недалёкий,
Забыла второпях вновь подрумянить щёки.
Глаза Тадеуша, как хитрые шпионы,
Открыв один обман, искать другие склонны.
Куда ни поглядят — везде следы обмана:
Веснушек несколько, не скрыли их румяна.
Нет двух зубов во рту, на лбу лежат белила
И множество морщин лицо избороздило.

Увы! Тадеуш знал — занятие пустое
И недостойное следить за красотою.
Шпионить за своей любовницей ужасно, —
Но сердце, разлюбив, в любви уже не властно.
Когда не станет чувств, то в совести нет прока,

И холода души не согревает око!
Не грея, светится полночное светило,
Свет поверху скользит — душа уже застыла.
Сидел насупясь он в молчании угрюмом
И губы искусал, предавшись чёрным думам.
Он Зосю ревновал к ретивому соседу,
Злой дух толкал его подслушать их беседу.
А Зося, тронута манерою учтивой,
Сперва потупилась и вспыхнула стыдливо,
Соседу своему в ответ на красноречье
Сама напомнила о некой странной встрече,
О неких лопухах, об огородных грядках…
Терзался юноша в сомненьях и в догадках.
Глотал слова её — из вымыслов несладких
Был ужин юноши. И как гадюка, жалом
Яд высосав из трав на огороде малом,
Свернувшися клубком, разляжется на грядке
И гибелью грозит неосторожной пятке [5], —

Так и Тадеуш был, хотя спокоен с виду,
Но в сердце затаил ревнивую обиду.
Когда в кругу друзей один угрюм бывает,
Своей угрюмостью других он заражает.
Сидели хмурые одни стрелки вначале.
На юношу взглянув, другие замолчали.

Обижен был на всех за дочек Подкоморий
И не хотел принять участья в разговоре.
Он знал, что дочери красавицы, с приданым,
Невесты первые— чего же больше паннам?
Меж тем вниманьем их не балуют мужчины.
Судья тревожился от этой же причины.
Гречеха, увидав, что все сидели молча,
«Ну, трапеза, — сказал, — не польская, а волчья!»

Молчанья не терпел речистый пан Гречеха,
Застольный разговор был для него утехой.

Не диво! Жизнь провёл со шляхтой на охотах,
На съездах, сеймиках, в хозяйственных заботах.
Привык он, чтоб ему бубнили что-то в ухо,
Всегда — когда смолкал, когда садилась муха,
Когда стерёг её, когда смыкались очи.
Беседы днём искал, не пропускал и ночи:
Молитвы слушал он и сказки вперемежку,
А трубки не терпел. Говаривал в насмешку,
Что немцы завели занятие пустое
И онемечить нас желают немотою!
Болтал он целый век, под говор спал бывало,
А просыпался он, едва лишь затихало.
Так мельник сладко спит под грохот и гуденье,
А станет колесо — умчится сновиденье.

Вот Подкоморию кивнул Гречеха живо,
Коснулся уст рукой, дав знак Судье учтиво,
Что хочет говорить, а те в ответ с приветом
Склонили головы: мол, просим вас об этом!

«Прошу я молодёжь, — так речь повёл Гречеха, —
Не избегать речей и не бояться смеха.
Жевать в молчании лишь капуцины рады [6],
Молчащий, — как стрелок, что бережёт заряды,
И ржавеют они в ружье его без толка.
А в старину велась беседа без умолка,
Сходились за столом стрелки, покончив с ловом,
Не только есть и пить, но обменяться словом!
Хвалили гонщиков, о гончих толковали,
Удачных выстрелов вовек не забывали.
Бывало, гомонит весёлая орава,
Мила беседа им, как новая облава!
Я знаю, почему сидите сокрушённо:
Беда нахлынула на вас из капюшона!
Вам стыдно промахов! Стыдиться их негоже,
Отличнейший стрелок промазывает тоже!
Бить метко, пуделять — такая наша участь,

Охочусь с детства я, а промах дав, не мучусь!
Тулощик пуделял, и утверждать я стану,
Случилось пуделять и самому Рейтану!
За то, что юноши нарушили порядки
И, зверя упустив, бежали без оглядки,
Забыв рогатину, за это молодёжи
Хотя не похвалю, не осужу я тоже.
От зверя убегать с двустволкою в дубраву,
Из трусов трусом быть — стяжать дурную славу!
А наобум палить, не подпуская зверя,
Как делает иной, прицела не проверя,
Ещё позорнее! Совсем другое дело,
На мушку зверя взяв, стрелять в добычу смело.
Когда промажешь ты, нет срама в отступленьи!
Идти с рогатиной велит не долг — влеченье!
Рогатина дана стрелкам для обороны,
Такие издавна охотничьи законы.
Как ни обидна вам обоим ретирада,
Но всё-таки, друзья, печалиться не надо!
Прошу я об одном, ревнуя к вашей славе,
Когда вы вспомните о нынешней облаве,
Припомните наказ, завещанный Гречехой:
„Друг другу на пути не будьте вы помехой!
И не стреляйте вы вдвоём в одну дичину“».

Гречеха только лишь успел сказать «дичину»,
Асессор тотчас же пробормотал: «девчину!»
Кругом раздался смех и крики: «Браво, браво!»
Завет оратора пришёлся всем по нраву.
Из одного конца несётся крик: «Дичина»,
С другого тотчас же ответствуют: «Девчина».
«Соседка», — прошептал Нотариус, «Кокетка», —
Асессор подхватил, взглянув на пани едко.
Гречеха между тем далёк был от упрёков
И оценить не мог улыбок и намёков,
Он рад был возбудить веселье молодёжи,
Хотел развеселить и остальных всех тоже,

И начал говорить, налив бенедиктина:

«Напрасно я ищу глазами бернардина,
Хотел бы рассказать ему за пиром славным
О метком выстреле, сегодняшнему равном.
Хоть Ключник говорит, что он стрелка такого
Знал только одного и нет ещё второго,
Но я другого знал. Был на облаве случай,
Двоих охотник спас от смерти неминучей!
Один Денасов был, другой Рейтан Тадеуш [7],
На них напал кабан, бежать бы им, да где уж!
Хвалили шляхтича вельможные панове
И пили за столом спасителя здоровье,
Они наперебой стрелка благодарили,
Кабаньей шкурою, деньгами одарили.
Я видел это сам, был с ловчими в дубраве;
Такой же выстрел был на нынешней облаве,
Как тот, который я хвалить не перестану, —
Он спас обоим жизнь: и князю, и Рейтану».

«А я, — сказал Судья, дав знак наполнить чаши, —
Пью здравие ксендза и пью здоровье ваше!
Хоть предложить ксендзу подарки я не смею,
Но порох оплатить, конечно же, сумею.
Для бернардина я не пожалею туши,
Пусть кормит года два монашеские души.
Но шкуры не отдам! Прибегну к силе даже,
Когда откажет ксёндз мне в дружеской продаже.
Десяток соболей за шкуру дам и боле,
Распорядиться ей хочу своею волей.
Честь первая — ксендзу, охотникам на горе,
А кто за ним идёт, рассудит Подкоморий.
Он шкурой наградит достойного, панове!»
Сам Подкоморий тут в раздумьи сдвинул брови;

Но зашумели все, и каждый слово вставил:
Тот зверя выследил, а тот собак направил,

Тот лучше всех держал себя во время гона.
Юрист с Асессором сцепились разъярённо:
Превозносил один за меткость Сангушовку,
Другой расхваливал свою Сагаласовку.

«Ты прав, сосед Судья, — так начал Подкоморий, —
Честь первая — ксендзу, охотникам на горе;
Кого ж назвать за ним, я сам теперь в сомненьи,
Ведь каждый проявил и ловкость и уменье.
Все мужеством равны. Но всё ж из молодёжи
Сегодня на двоих нам указал перст божий,
Двоих чуть не задрал косматый на облаве,
Граф и Тадеуш, вы владеть той шкурой вправе!
Тадеуш юн ещё и по своей же воле,
Как родственник Судьи, откажется от доли.
Трофей получит Граф и, как велит обычай,
Украсит кабинет охотничьей добычей.
Та шкура — памятка сегодняшней забавы,
Девиз охотника, залог грядущей славы!»
Оратор замолчал, он думал сделать лучше,
Но Граф был сам не свой, глядел он туча-тучей.
При слове «кабинет» взглянул он в изумленьи,
Увидел над собой все головы оленьи,
Ветвистые рога — лавровый лес, отцами
Взращённый для сынов, чтоб их венчать венками;
Портреты предков здесь под сводами висели,
Старинный Козерог, блестевший еле-еле.
Былого голоса, они всего дороже!
От грёз очнулся Граф. В гостях он, у кого же?
Наследник Стольника, он — гость в своих хоромах,
С врагами за столом! Какой ужасный промах!
И ревность пылкая к счастливцу молодому
Будила ненависть к соплицевскому дому.
С усмешкой Граф сказал: «Мой домик мал и тесен,
Нет места годного и слишком дар чудесен!
Пусть лучше подождёт медведь среди сохатых,
Пока не поселюсь я в родовых палатах!»

Смекнув, к чему он вёл такую речь в задоре,
По табакерке тут постукал Подкоморий:

«Достойна похвалы заботливость соседа,
Ему дела его куда важней обеда,
Не так, как молодёжь, блюдёт он интересы,
И на уме его не шашни, а процессы.
Хочу согласьем я закончить суд, но дело
В усадебной земле. Решим его умело,
За землю заплатив окрестными полями…» [8]
Тут начал излагать обширно пред панами,
Как поступал всегда, намеренья и планы.
Но изложение нарушил шум нежданный,
Движенье началось; одни, заметив что-то,
Во все глаза глядят, другим взглянуть охота,
Склоняют головы за ними торопливо, —
Так клонится порой под буйным ветром нива,
И в угол все глядят;
а там портрет старинный
Последнего в роду Горешков. Из гостиной,
Из двери маленькой явилось привиденье
И двинулось вперёд, подобно длинной тени.
Гервазий! Кто ещё такой же длинноногий,
И у кого ещё на куртке козероги?
Он шёл, прямой как столб, качая головою,
Суровый и немой с усмешкою кривою.
В руках держал он ключ — подобие кинжала.
Вот шкафик растворил, пружина завизжала.

Здесь в двух углах сеней, где высилась колонна,
Куранты старые в шкафах дремали сонно.
С природой не в ладу старинные чудила,
Показывали день, когда за полночь било.
Исправить механизм Гервазий был не в силах,
Однако всякий раз исправно заводил их,
Крутил их каждый день, уже в теченье года,

И вот как раз теперь пришла пора завода.
Покуда излагал пан Подкоморий планы,
Он гирю потянул, и встрепенулись паны,
Услышав ржавый скрип и скрежет да гуденье,
Пан Подкоморий сам прервал тут рассужденье:
«Работу спешную ты б отложил, любезный!»
Хотел он продолжать, но было бесполезно,
Другую гирю тут старик рванул с разгона.
Снегирь, что на часах сидел непринуждённо
,Вдруг крылья распустил, да как приступит к пенью!
Искусно сделанный, испорчен, к сожаленью!
Сбивался и пищал, совсем заврался вскоре.
Под общий смех прервал доклад свой Подкоморий.
«Эй, Ключник, — закричал, — уймись ты, старый филин.
И клюв побереги, пока он не отпилен!»

Гервазий, услыхав в его словах угрозу,
Лишь подбоченился, приняв лихую позу,
И гирю придержал своей рукою правой:
«Изволите шутить, смелы те шутки, право!
Хоть мал воробушек, но в гнёздышке крылатый
Смелее филина, что залетел в палаты.
Знай, пан, что филин тот, кто под стрехой чужою
Пирует по ночам. Пугну его ужо я!»

«За двери Ключника! Довольно безобразий!»
«Мопанку, видите! —
В слезах вскричал Гервазий, —
Да разве вы ещё не запятнали чести
Тем, что с Соплицами за стол уселись вместе?
Рубаку, Ключника, Гервазия пред вами
Поносят дерзкими, обидными словами!
И не ответит пан обидчикам достойно?»
Вдруг трижды закричал Протазий им: «Спокойно!
Протазий — Балтазар, я по отцу Брехальский [9],
Ношу два имени, был возный трибунальский!
Как возный ныне я обследовал именье,

По форме осмотрел и вывел заключенье.
В свидетели беру всех вас, мой список полон.
Прошу Асессора, чтоб следствие повёл он
По делу славного Судьи, сиречь Соплицы,
О нарушении противником границы,
Вторженье в замок тот, владеет он которым,
Понеже в нём он есть, и здесь конец всем спорам!»

«Попридержи язык, ты брешешь, как собака!» —
Гервазий заревел. Схватив ключи, Рубака,
Как камень из пращи, пустил их в Балтазара,
Однако увильнул Брехальский от удара,
И голову склонил он вовремя, на счастье,
Не то бы лоб его расколот был на части!

В смятеньи шляхтичи молчали миг короткий.
Соплица закричал: «Разбойника в колодки!
Гей, хлопцы!» Челядь тут ватагой озорною
Заполнила проход меж дверью и стеною.
Граф креслом посреди загородил дорогу,
На крепость шаткую поставив твёрдо ногу.
«Стоп! — крикнул он Судье, — на что это похоже,
Гнать моего слугу из дома моего же!
Мой замок, мой слуга, сам разберусь я в споре!»

Нахмурясь, поглядел на графа Подкоморий:
«Без вашей помощи накажем грубияна,
А ваша милость, Граф, присваивает рано
Сей замок, суд ещё не объявил решенья,
Не вы хозяин здесь, не ваше угощенье!
Молчал бы лучше пан! Когда седины эти
Не чтишь, уважил бы хоть первый чин в повете!»

Но огрызнулся Граф: «Довольно! Уши вянут!
Постановления другие слушать станут!
Довольно с вами здесь я предавался пьянству,
Которое ведёт к насилью и к буянству!

Ответ дадите мне за оскорбленье чести,
Как протрезвитесь вы. Уйдём, Гервазий, вместе!»

Подобной выходки не ждал пан Подкоморий,
Он наливал вино, чтоб подкрепиться в споре.
Внезапной дерзостью, как громом поражённый,
О чашу оперся бутылкою склонённой.
И, шею вытянув, ладонь приставил к уху:
Ещё не доверял он собственному слуху!
Молчал, но чашу он в руке так мощно стиснул.
Что лопнула она, напиток в очи прыснул —
И, видимо, зажёг в душе пожар жестокий —
Так очи вспыхнули, так запылали щёки.
Лишился языка от брызнувшего хмеля.
Сквозь зубы, наконец, промолвил: «Пустомеля!
Графишка! Я тебя! Подай мне, Томаш, саблю!
Я пана вышколю, я спеси поубавлю!
Боится натрудить изнеженные уши?
Я уши надеру! Не станет бить баклуши!
За сабли! Томаш, гей! С крыльца задиру сбросьте!»

Но Подкомория тут окружили гости,
И за руку его схватил Судья Соплица:
«Я первый был задет, мне надлежит с ним биться!
Протазий, дай палаш! Ну, забияка жалкий,
Попляшешь у меня ты, как медведь под палкой!» [10]
Тадеуш вымолвил: «Вам, дядя, не пригоже
Сражаться с фертиком, есть люди помоложе!
Вы предоставьте мне сразиться с забиякой.
Ты вызвал стариков, — отважный пан однако.
Мы завтра поглядим, как бьёшься на дуэли
И что за рыцарь ты, а нынче — прочь отселе!
Пускайся наутёк!»
Совет не спас беднягу,
Граф с Ключником попал в плохую передрягу.
Налево за столом кричали и свистели,
А с правого конца бутылки полетели,

Что в Графа метили. Испуганные панны
Слезами залились. Раздался вопль нежданный
И, закатив глаза, склонилась Телимена
На графское плечо. Белевшая, как пена,
Лебяжья грудь её к груди его прижалась,
Тут Граф разгневанный почувствовал к ней жалость,
Он поддержал её.

Зато Гервазий старый
Грудь беззащитную подставил под удары.
Уже изнемогал под натиском дворовых
И выдержать не мог он испытаний новых,
Но Зося Ключника сердечно пожалела,
И, заслонив его, простёрла руки смело.
Отхлынула толпа, и след простыл буяна.
Искали под столом, но не нашли. Нежданно
Он как из-под земли поднялся пред гостями
И, приподняв скамью могучими плечами,
Крутясь, как мельница, всех смёл перед собою
И Графа заслонил дубовою скамьёю;
Повлёк его к дверям, однако у порога
Гервазий постоял, поглядывая строго.
Не безоружен он, — так отступать к чему же?
Быть может, в бой вступить, коли достал оружье?
Избрал последнее и с головой склонённой
Тараном добытым, взмахнул он разъярённо —
И каждого с пути убрал бы, как помеху.

Но глянул вовремя на старого Гречеху—
Полузакрыв глаза в раздумии глубоком,
Гречеха вспоминал о времени далёком…
Граф с Подкоморием едва лишь побранился
И погрозил Судье, как Войский оживился.
Понюхал табачку, отёр глаза и щёки.
Соплица Войскому был родственник далёкий,
Но у него в гостях жил Войский постоянно
И озабочен был благополучьем пана.

Он стал внимательно прислушиваться к ссоре
И руку вытянул с ножом блестящим вскоре.
Нож на ладони был, глядел клинок на локоть,
А рукоять его чуть задевала ноготь.
Старик покачивал рукой вооружённой.
На Графа между тем смотрел насторожённо.

Метание ножей опасно в каждой драке,
Оставили его литвины и поляки.
Одни лишь старики, Гервазий между ними
И Войский славились ударами своими.
Видать, что нож теперь метнёт он, не помешкав,
Что целит в Графа он, наследника Горешков!
(По женской линии он им родня, по прялке.)
Движенье Войского укрылось в перепалке.
Гервазий побледнел, смекнув, в чём было дело,
И Графа прочь повлёк. «Держи!» Толпа ревела.

Как волк, над падалью застигнутый, с разгона
Бросается на псов и рвёт их разъярённо,
Но щёлкнет вдруг курок отрывисто и сухо,
Знакомый звук! И волк, насторожив ухо
И оком поведя, охотника находит,
Который, наклонясь, тихонько дулом водит
И кажется — вот-вот он к спуску прикоснётся, —
Волк поджимает хвост и с воем прочь несётся;
Бросается за ним с победным лаем стая,
За шерсть кудлатую бегущего хватая,
Тут огрызнётся волк, ощерится клыками,
Отскакивают псы трусливыми прыжками, —
Так Ключник отступал; однако, пятясь задом,
Он сдерживал напор скамьёй и грозным взглядом,
Покуда не достиг он с графом коридора,
«Держи!» — летело вслед. Но крики смолкли скоро.

Гервазий вынырнул из сумрака нежданно,
Уже на хорах был, у старого органа,

И трубы вырывал. Гостям пришлось бы худо,
Когда бы стал крушить Гервазий их оттуда.
Но гости из сеней посыпали гурьбою,
И слуги в ужасе бежали с поля боя, —
Приборы захватить нужна была сноровка,
В добычу Ключнику досталась сервировка.

Однако, кто ушёл последним из сраженья?
Протазий-Балтазар. Стоял он без движенья,
За креслом у Судьи, спокойный и серьёзный,
И акт провозглашал, как возглашает возный.

Провозгласив, ушёл, торжественный и чинный,
Оставив раненых и трупы да руины.
Хоть из людей никто не пострадал нимало,
Но стол изранен был, скамейка захромала.
Стол на тарелки пал, разбитый, обнажённый,
Как падает на щит солдат, в бою сражённый,
Среди поверженных индеек, винных чарок
И с вилками в груди валявшихся пулярок.

Настала тишина. На замок отдалённый,
Где был кровавый пир, покой нисходит сонный.
И вспоминаются старинные обряды:
Ночное пиршество, когда справляют *дзяды* [11].
Усопшие идут, заклятью покоряясь,
И трижды ухают сычи, как бы стараясь
Подобно гуслярам восславить месяц белый.
Блик падает в окно, дрожащий и несмелый,
Как дух чистилища, а крысы лезут в щели,
Подобно нечисти, и празднуют веселье:
Грызут и пьют они, и точно выстрел глухо
Бутылка хлопает — заздравный тост за духа!

В покоях наверху, в большом зеркальном зале,
Где рамы без зеркал пустынные стояли.
Граф вышел на балкон, к воротам обращённый,

И прохлаждается, ещё разгорячённый.
Он на плечо сюртук надел ночной порою,
И, драпируя грудь, сложил рукав с полою.

Гервазий медленно расхаживал по зале,
Задумчиво они друг с другом толковали:
«Палаш, — промолвил Граф, — иль пистолет, конечно!»
«Земля и замок нам достанутся навечно!»
«Судью, племянника, к барьеру всё их племя!»
«Усадьбу, замок наш забрать настало время!»
Так с Графом говоря, добавил Ключник смело:
«Мопанку, всё бери, покуда суд да дело!
Зачем тебе процесс? Не жаль платить издержки?
Четыре сотни лет владели всем Горешки!
Земля отторгнута была при Тарговице,
И отошла потом, как знает пан, к Соплице.
Не только эту часть, возьмём и остальное —
Как штраф за грабежи, нечестно нажитое!

Я пану говорил, судиться надоело,
Я пану говорил, наезд — вот это дело! [12]
Удача — смелому, так исстари ведётся,
Кто в поле выиграл, тот своего добьётся!
Вражды с Соплицами процесс не уничтожит,
А «Перочинный нож» уладить дело может!
И если Матек нам поможет хоть немножко [13],
То из Соплиц у нас получится окрошка!»
«Отлично! — Граф сказал, — твой план сарматско-готский [14]

Мне больше по сердцу, чем суд их идиотский!
Пусть разнесётся слух по всей Литве широко:
Наездов не было от давнишнего срока!
Два года здесь сижу и всё не вижу боя,
Лишь хлопы за межу дерутся меж собою.
Наш доблестный поход сулит пролитье крови,
А для меня дела подобные не внове:

Когда в Сицилии я жил у князя в вилле,
Там зятя княжьего бандиты изловили
И выкуп от родни заполучить хотели,
Мы, взяв с собою слуг, вдогонку полетели:
Я двух разбойников убил своей рукою,
И пленника я сам освободил. Какое
Необычайное по блеску возвращенье —
Наш рыцарский триумф, будивший восхищенье!
Все шли навстречу нам восторженно, с цветами.
Дочь князя плакала счастливыми слезами,
И вести обо мне далеко полетели,
В Палермо [15] женщины лишь на меня глядели!
Всё приключение описано в романе,
Там даже назван я. Роскошное изданье,
Заглавье в памяти до сей поры хранится:
«Бирбантско-Рокский Граф!» А есть ли здесь темница?»
«Есть, — Ключник отвечал, — и как ей не водиться,
Да только погреб пуст, всё вылакал Соплица!»
«Пойдём с вассалами, вооружим жокеев!» —
Сказал сурово Граф. «Не надо нам лакеев! —
Гервазий закричал. — Годны лишь для разбоя,
Но с паном мы теперь задумали другое.
В наездах пан ещё не может разобраться.
Пойдём с усатыми! Те, верно, пригодятся!
Не в деревнях искать их надо, а в застянках,
В Добжине, а потом в Центычах и в Ромбанках [16].
Все шляхта добрая, кровь рыцарей течёт в ней,
Горешкам преданы, дружины нет почётней!
Заклятые враги они Соплиц проклятых,
Оттуда наберу я сотни три усатых!
Всё на себя возьму, моя о том забота,
Нам завтра предстоит великая работа!
Пан любит почивать, а петухи пропели,
Пока на страже я, пан выспится в постели.
Я с утренней зарёй в Добжин отправлюсь конный».

Граф согласился с ним и, уходя с балкона,

Взглянул в широкое отверстие бойницы,
Блестели огоньки в усадьбе у Соплицы.
«Иллюминируйте, — он закричал, — панове,
Но завтра в этот час мрак будет в Соплицове!»
Гервазий наземь сел, взглянув насторожённо,
И голову склонил, в заботы погружённый,
Свет месяца играл на лысине блестящей,
Гервазий пальцами чертил по ней всё чаще, —
Видать, сражение спросонок намечает…
Но веки сомкнуты, и сон их отягчает.

Вот клюнул носом он, рисуя планы битвы,
И принялся читать вечерние молитвы.
Меж «богородицей» и «верую» в затменьи
Увидел пред собой скользящий рой видений —
Горешков доблестных. Прошёл мороз по коже!
В руках их палаши и буздыганы [17] тоже.
Покручивая ус, сурово смотрят паны,
Вот сабли скрещены, взлетели буздыганы!
Гервазий задрожал при виде новой тени,
Кровавое пятно он различил в смятеньи —
И Стольника узнал! Всё стал крестить кругом он,
Чтоб только страх унять, утишить крови гомон.
За душ чистилищных пробормотал литанью,
Глаза сомкнулись вновь. Опять мечей блистанье!
Вот мчится конница в погоне за добычей,
И Рымша во главе, наезд на Кореличи!
Увидел и себя: верхом, преображённый,
Несётся на врага он с саблей обнажённой,
И развевается широкая крылатка,
И валится со лба назад конфедератка [18].
Всех давит он конём и всех с пути сметает,
Соплицу, наконец, в амбаре поджигает.
Тут рассыпаются, пылая, головешки,
И крепко спит слуга последнего Горешки.

Книга шестая. ЗАСТЯНОК[1]

Первые военные движения, подготовляющие наезд • Поход Протазия • Робак и пан Судья совещаются о делах общественных • Дальнейшие действия Протазия кончаются неудачей • Заметка о конопле • Шляхетский застянок Добжин • Описание домашнего быта и личности Матвея Добжинского.

Тихонько крадётся, туманной мглы бледнее,
Бесцветная заря; незрячий день за нею.
Ещё не брезжит свет, хоть ожила долина.
Мгла в воздухе висит, как над избой литвина
Подгнившая стреха, и только там, с востока,
По белому пятну, что светится высоко,
Заметно — солнышко идёт вдоль небосклона,
Невесело оно и двигается сонно.

Вслед небу и земля сегодня запоздала:
Поздней на пастбище брела скотина вяло,
И зайцам не дала наесться птичьей мятой;
Привыкли прятаться уже с зарёй зайчата,
А нынче, всё ещё укрытые туманом,
Хрустят мокричкою и скачут по полянам.
Хоть зайцам весело играть в траве, но стадо
На выгон прибрело, и разбегаться надо.

И в чаще тишина. Разбуженная пташка
Зажмурила глаза, нахохлилась, бедняжка,
Боится щебетать и к дереву прильнула —
Ждёт солнца. Вдалеке, где лужица блеснула,
Вдруг аист затрещал. Вороны-непоседы,
Горланя, завели зловещие беседы.

Предвестье слякоти крестьянам надоело.

Они в поля ушли и принялись за дело.

Простая песня жниц разносится над нивой,
Печальная, как день бессолнечный, тоскливый,
Не вторит эхо ей в рассветной мглистой рани.
Похрустывает рожь, несётся кос жужжанье,
Запели косари тем звукам в подражанье,
Закончив полосы, оттачивают косы,
В такт оселки звучат, как хор многоголосый,
И не видать людей, лишь звон серпов, да пенье,
Как голос музыки невидимой, осенней.

Уселся эконом на жёлтый сноп лениво,
Откинув голову, не смотрит он на жниво.
На перекрёсток он глядит в недоуменьи:
Необычайное на всех путях движенье!

Летят по большаку от самого рассвета
Крестьянские возы, карета за каретой,
И брички лёгкие, одна вслед за другою,
Несутся во всю прыть нестройной чередою.
Направо проскакал гонец, забыв усталость,
Налево лошадей десятка два промчалось,
И все торопятся просёлочной дорогой.
Откуда и зачем? Встал эконом с тревогой.
Хотел порасспросить, что означает это?
Но на вопросы он не получил ответа.
Как духи, всадники в седую мглу летели,
И только стук копыт донёсся еле-еле,
Бряцанье палашей, — ещё бы не знакомо! —
Всё это и страшит и тешит эконома!

В те времена в Литве хотя спокойно было,
Однако о войне молва уже ходила.
Слух о Домбровском был и о Наполеоне.
К чему готовились? К походу? К обороне?
Пустился эконом к Соплице торопливо,

Хотел он у него поразузнать про диво.

Печально поутру в усадьбе после ссоры:
Гостям не по себе, умолкли разговоры.
Хоть панна Войская гаданье разложила, —
И поиграть в марьяж мужчинам предложила,
Но гости врозь сидят, молчат, не балагурят:
Шьют что-то женщины, мужчины трубки курят;
И даже мухи спят.

Гречеха утомлённо,
Хлопушку отложив, побрёл на кухню сонно.
Молчанью предпочёл он вопли экономки,
И поварёнка крик обиженный и громкий,
Пока не предался блаженному покою,
Любуясь на огонь, румянящий жаркое.

Судья строчил с утра, взыскательный и строгий,
А Возный ждал с утра, усевшись на пороге;
Позвал его Судья и прочитал на месте
На Графа жалобу за оскорбленье чести,
Гервазия винил он в брани и в побоях
И наказать просил за дерзость их обоих,
Ещё он требовал издержек возмещенье
И в актовый реестр просил внести прошенье[2].
Вручить ответчикам сегодня позыв[3] надо —
И сердце Возного подобной спешке радо.
Бумагу выхватить из рук ему хотелось,
Он в пляс пустился бы, имей на это смелость!
Процесс предвидел он, в нём чувства встрепенулись,
Воспоминания в его душе проснулись —
О крепких тумаках, о щедрых подношеньях.
Так старый ветеран, проведший жизнь в сраженьях
И с инвалидами живущий на покое,
Заслышав зов трубы, готов мгновенно к бою:
«Бей москаля!» — кричит, бросается с постели,
Бежит на костылях, да так, что еле-еле

И молодой за ним угнаться исхитрится.

Протазий в путь спешил скорее снарядиться.
Жупана с кунтушем Брехальскому не надо, —
Не для судебного готовился парада;
Куда удобнее рейтузы [4] — путь тяжёлый! —
И куртка длинная, на пуговицах полы:
Когда их отстегнёшь, так будут по колено;
Ушанку надевал Протазий неизменно,
В ненастье опускал наушники Протазий.
Он палку захватил и в путь пошёл по грязи.
Как прячется шпион среди врагов умело,
Так Возный прячется, покуда суд да дело!

Протазий второпях пустился в путь из дому,
И кстати: всё пошло совсем здесь по-иному.
К судье пришёл монах, стоял он на пороге.
Был это бернардин; взволнованный, в тревоге,
Он закричал Судье: «Беда нам с пани тёткой,
С той Телименою, кокеткой и трещоткой!
Осталась Зосенька сироткой в детстве раннем
Без денег, Яцек сам следил за воспитаньем.

Договорился он с любезной Телименой, —
По слухам опытной и доброты отменной!
Но вижу, что она мутит в усадьбе воду,
От выдумок её большой соблазн народу!
То льнёт к Тадеушу, то к Графу, а, пожалуй,
Хотелось бы двоих прельстить кокетке шалой.
Как удалить её? Возникнут сплетни скоро,
У молодых людей вот-вот начнётся ссора!
Тогда придёт конец твоим переговорам».
«Переговоров — нет! Я кончил с этим вздором!»
«Как! — закричал монах. — В своём ли пан рассудке?
Быть может, ваша честь со мною шутит шутки?»
«То не моя вина, — сказал в сердцах Соплица, —
Граф дерзок и спесив, с ним трудно помириться!

Гервазий — негодяй! Суд разберётся в деле!
Когда мы в замке все за ужином сидели,
Не знаешь ты, как Граф тогда набезобразил!»
«Зачем же, ваша честь, ты в этот замок лазил?
Я замка не терплю, ты знаешь, ваша милость!
Опять поссорились! Да что же приключилось?
Быть может, я ещё смогу уладить дело?
На ваши глупости глядеть мне надоело!
Есть поважней дела, чем слушать дрязги эти,
Ещё раз помирю…» — «Нет, ни за что на свете!
Проваливай, монах, и скатертью дорога! —
Судья в ответ ему. — Вот ксёндз, каких немного!
Над добротой моей ты хочешь посмеяться!
Привыкли своего Соплицы добиваться!
Судились долго мы, чтоб всем на удивленье,
Поставить на своём в четвёртом поколеньи!

И так уж я сглупил, послушавшись совета,
Созвав третейский суд на смех всего повета!
Не надо мира мне, нет мира между нами! —
Выкрикивая так, затопал он ногами, —
Пусть за вчерашнее попросит он прощенья,
А нет— за палаши! Попомнит угощенье!»
«А если Яцек бы узнал о том, Соплица?
Он с горя умер бы! Так делать не годится!
Не стану вспоминать ужасного событья,
О зле содеянном не стану говорить я!
Не Тарговица ли вам отдала когда-то
Горешковы поля — имущество магната? [5]
Твой брат, раскаявшись в тягчайшем прегрешеньи,
Поклялся возвратить наследникам именье.
На Зосеньку давал он деньги, не жалея,
Просил растить её, одну мечту лелея:
Тадеуша теперь сосватать с сиротою,
Таким путём хотел разделаться с враждою,
Вернуть наследнице — наследство без позора!»
«Да мне-то что? На мне ведь не лежит укора! —

Ответствовал Судья. — Я не встречался с Яцком,
Хоть о житье его наслышан гайдамацком.
У езуитов я учился в эти годы,
А после службу нёс у пана воеводы.
Мне земли дали — взял, и Зосю ради брата
Лелеял, пестовал, растил, как дочь магната!
Причём же Граф? Скажи! Всё это бабье дело
Мне, признаюсь тебе, давно осточертело!
Какой он родственник Горешкам? Фертик жалкий!
Десятая вода на киселе! [6] По прялке!
Смеётся надо мной. Так для чего ж мириться?»
Ксёндз тихо произнёс: «Есть для чего, Соплица!
Ведь Яцек в легион хотел отправить сына.
Потом оставил здесь. Была на то причина!
Тадеуш здесь в краю, скажу тебе по чести,
Полезней родине! Ты, верно, слышал вести,
Которые теперь разносятся повсюду.
Пришла пора узнать их и простому люду!
Война над головой! Об этом знает всякий,
Война за Польшу, брат, а мы с тобой — поляки!
Когда я к вам спешил, глаза мои видали:
Форпосты польские на Немане стояли!

Ведёт Наполеон к нам армию такую,
Какой не видел свет, и я душой ликую:
Ведь польские полки идут в войсках французов.
С орлами белыми Домбровский, славный Юзеф,
По мановению руки Наполеона
За Неман выступят к отчизне воскрешённой!»

Судья сложил очки, не говоря ни слова,
И, глядя на ксендза, всё теребил их снова.
Вот, наконец, вздохнул и, заморгав глазами,
К монаху бросился на шею со слезами:
«Мой Робак! — он сказал. — Да неужели правда,
Мой Робак! — восклицал. — Да неужели правда?
Нам столько раз уже французов обещали,

Вот, говорят, идут… Мы верили и ждали!
Вот, говорили нам, французы в Ковно, ждите!
Мы ждали — Бонапарт мир заключил в Тильзите! [7]
Да правда ли? Скажи! Не обещай напрасно!»
«Всё правда! Как бог свят!» — ответил Робак страстно.
«Да будет на тебе небес благословенье! —
Тут руки ввысь воздел Соплица в умиленьи, —
Нет, не раскаешься ты в миссии священной,
И не раскается твой монастырь смиренный!
Овец две сотни дам монастырю святому!
Присматривался ты, монах, вчера к гнедому
И сивого хвалил; бери обоих смело,
Что хочешь, то проси; процесс — другое дело!
Мириться не могу; отмщу за оскорбленье
И Графа притяну к суду без промедленья!
Могу ли допустить!»

Монах всплеснул руками,
Уставясь на Судью, сказал, пожав плечами:
«Когда весь мир дрожит, тебя процесс тревожит!
От мелких дрязг тебя ничто отвлечь не может!
С Наполеоном к нам идёт в Литву свобода,
Но дела нет тебе до твоего народа?
А как ты нужен нам!..» — «Зачем?» — спросил Соплица,
«Не понял ты ещё, что на сердце таится?
Не прочитал в глазах? Я широко раскрыл их!
Но если кровь Соплиц в твоих струится жилах,
То ты поймёшь меня! Пора нам сбросить узы.

Ударим с тыла мы, а спереди — французы!
Погоня лишь заржёт, Медведь взревёт на Жмуди [8],
Подымутся на зов повсюду наши люди.
Под дружным натиском не устоять солдатам,
Восстанье всё сметёт своим огнём крылатым.
Захватим у царя и пушки, и знамёна,
С победою пойдём встречать Наполеона!
Он спросит нас: «Кто вы?» — завидя наши пики.

«Повстанцы! — загремят победно наши крики, —
Мы с вашей армией пришли соединиться».
«А кто командует?» — «Командует Соплица!»
Забудется тогда лихая Тарговица!
Покуда высятся Понары, Неман льётся,
Соплицы имя, брат, вовеки не сотрётся!
На внуков, правнуков с почтением укажут:
«Соплица! Он из тех Соплиц великих, — скажут, —
Которым удалось поднять в Литве восстанье».

Соплица отвечал: «Я не ищу вниманья,
И славы не ищу, но поклянусь я свято,
Хоть не причастен я к грехам родного брата,
Хотя я отроду с политикой не знался,
Хозяйству предан был, судейством занимался,
Но шляхтич я — пятно хотелось бы стереть мне,
Поляк — за родину не жалко умереть мне!
Пусть не рубака я и человек я старый,
Но раздавать умел когда-то я удары:
В последний сеймик я двух братьев на дуэли
Изрядно потрепал, едва лишь уцелели.
Но, дело прошлое… Чего же медлить доле?
Пусть скажет ваша честь, не выйти ли на поле?
Стрелков собрать легко, что тратить время в спорах?
В приходе пушка есть, найдётся также порох!
И острия для пик у Янкеля хранятся,
Он дать их обещал, они нам пригодятся!
Он из Крулевца их доставил под секретом,
Мы древки смастерим, толк понимаем в этом!
И сабли есть у нас, мы полетим на поле —
Тадеуш, рядом я, а там всё в божьей воле!»

«Кровь польская! — вскричал монах, раскрыв объятья,
И обнялись они. — Тебя могу назвать я
Соплицей истинным, ты послан в утешенье
Скитальцу Яцеку, чтоб он снискал прощенье!
Искупишь грех его, содеянный когда-то!

Я уважал тебя, теперь люблю, как брата!
Пора готовиться, поговори со всеми.
Я место укажу и сам назначу время:
О мире царь послал просить Наполеона [9],
Ещё не подняты победные знамёна,
Но Юзеф наш слыхал от самого Биньона [10],
Который при дворе, что то лишь промедленье,
И скоро перейдут французы в наступленье.
Должны быть начеку вы каждое мгновенье,
Я вам привёз приказ, чтоб вы готовы были
Французам доказать, что Польшу не забыли,
Всем сердцем жаждете слияния с Короной [11],
С единокровною сестрой своей исконной.
А с Графом должен пан пойти на мировую;
Граф молод, фантазёр, но в нём я доблесть чую,
Он истинный поляк, хоть и чудак, без спора,
Но в революции нельзя без фантазёра!

Годятся и глупцы, из опыта известно,
Лишь только б слушались и воевали честно!
Граф — роду знатного, имеет он влиянье [12],
Поднимет он повет, когда начнём восстанье,
Все скажут, что магнат не станет зря сражаться,
Знать, дело верное! Чего же нам бояться?
Я поспешу к нему!» — «Спеши! — сказал Соплица. —
Пускай же предо мной он первый извинится,
Ведь я старик уже, и спорить он не будет;
Ну, а процесс пускай третейский суд рассудит!»
Ксёндз двери закрывал. Судья промолвил: «С богом!
Счастливого пути!»
Монах был за порогом,
В тележку быстро сел, и лошадь затрусила,
Пыль поднялась столбом, из глаз тележку скрыла.
Хоть не видна была уже во мгле сутана,
Как ястреб, капюшон взносился из тумана.

Усадьбу графскую приметил из долины

Протазий, — так лиса на запах солонины
Идёт, хоть ведомы охотничьи повадки,
Присядет, поглядит: как? Всё ли здесь в порядке?
Принюхается вновь и спросит у дубравы,
У ветра свежего — уж нету ли отравы?..
Протазий лугом шёл, любуясь сенокосом,
Вот палку поднял он и повертел под носом,
Как будто увидал скотину, где не надо,
И, так лавируя, он выбрался из сада.
Тут он изобразил охотничью ищейку
И юркнул в коноплю, найдя в плетне лазейку.

В цветущей конопле, в пахучей гуще тёмной,
И человек, и зверь найдут приют укромный.
Так заяц, поднятый на огородной грядке,
Несётся в коноплю от гончих без оглядки.
И псам не взять его на грядке конопляной, —
Собьются со следа они во мгле духмяной.
От розог в конопле скрывается дворовый,
Пока не отойдёт от гнева пан суровый.
И от рекрутчины она спасает даже:
Мужик в ней прячется, покуда ищут стражи.
Во время всяких смут, в пылу борьбы горячей
Считают шляхтичи решительной удачей
Занять позицию среди зелёной гущи,
До глубины двора разливом волн бегущей:
Ведь с тыла конопля за порослью хмельною
Дорогу преградит высокою стеною.

Хоть смел Протазий был, но запах конопляный
В душе его будил какой-то трепет странный:
Припомнились ему былые злоключенья, —
Спасала конопля от всех без исключенья!
Как был припёрт к стене он паном Дзиндолетом:
Пан угрожал ему зловещим пистолетом,
Велел залезть под стол, пролаять позыв рьяно,
Но Возный в коноплю запрятался от пана.

Как Володкович [13] пан, что был предерзких правил,
Он сеймы разгонял и в грош суды не ставил,
Повестку изорвал и после, в страшном раже,
Поставил гайдуков с дубинами на страже
И с гневом требовал, чтоб Возный съел повестку,
Не то грозил пронзить рапирою в отместку.
Протазий сделал вид, что ест, взглянул в окошко.
Приметил коноплю и выпрыгнул, как кошка.

Хоть не было уже в Литве обыкновенья
На позыв отвечать нагайкой без стесненья,
И только брань одна была порой ответом,
Но Возный был старик, не знал ещё об этом:
Он позывов давно не возглашал в округе,
Хоть предлагал не раз Судье свои услуги,
Но старика щадя, Судья не соглашался,
На доводы его и просьбы не склонялся
До нынешней поры.
Всё тихо. Смолкли звуки.
Протазий в коноплю просовывает руки,
Прокладывает путь, и как пловец, волною
Захлеснутый, плывёт под рябью водяною,
Вот поднял голову, к окну подкрался смело —
Из окон пустота на Возного глядела.
Он подошёл к крыльцу, хотя и был взволнован, —
Пустынный замок нем, как будто зачарован;
Свой позыв прочитал, оправившись немного.
Послышались шаги, сдавила грудь тревога,
Хотел бежать; взглянул — знакомая особа.
Кто это? Робак ксёндз! Тут удивились оба.

А Граф с дворовыми в путь снарядился скоро,
И двери замка он оставил без запора.
Ушли с оружием; разбросанные в зале,
Винтовки, штуцера и шомпола лежали.
Отвёрток, винтиков валялся целый ворох,
И для патронов был в углу насыпан порох.

Охотиться ль они помчались без оглядки?
Зачем же шпаги здесь? Клинок без рукоятки?
Оружья старого тут навалили груду,
Как будто бы его сбирали отовсюду,
И в склады бегали и в погребах искали.
Ксёндз Робак оглядел и сабли, и пищали,
И поспешил в фольварк, чтоб люди рассказали,
Куда поехал Граф, — прислуга знать могла бы,
Но встретились ему лишь две каких-то бабы.
От них проведал он, что Граф, созвав дружину,
Во всеоружии отправился к Добжину [14].

Шляхетским мужеством и красотой шляхтянок
Добжинский род в Литве прославил свой застянок.
Он многолюден был; когда без исключенья
Всех шляхтичей сзывал Ян Третий в ополченье [15],
То шляхтичей шестьсот из одного Добжина
Откликнулось на зов. Шляхетская община
С тех пор уменьшилась, а также обеднела.
В былом — на сеймиках, у пана, то ли дело:
Жизнь беспечальная в довольстве протекала,
Теперь Добжинские работают немало,
И только что сермяг не носят и доныне
Да ходят в будний день в окрашенной холстине,
А в праздник — в кунтушах. Шляхтянок платья тоже
Одной расцветкою с крестьянскими не схожи:
Шляхтянки рядятся в узорную холстину,
И в башмаках они пасут свою скотину,
В перчатках лён прядут и на поле гнут спину.

Есть чем похвастаться перед людьми Добжинским —
И польским языком и ростом исполинским.
По чёрным волосам и по носам орлиным
О польском роде их мы узнаём старинном.
Хоть лет четыреста прошло, когда не больше,
С тех пор как шляхтичи ушли в Литву из Польши,
С Короной уз они отнюдь не порывали,

И при крещении ребёнка называли
Всегда по имени семейного святого:
Варфоломея ли, Матвея, не иного.
Так сын Матвея был всегда Варфоломеем,
Варфоломеев сын крещён бывал Матвеем.
Шляхтянки были все иль Кахны, иль Марины.
А чтоб распутаться средь этой мешанины,
Их прозвищами всех обычно наделяли,
По их достоинствам, по месту называли.
Иному молодцу в знак большего почёта
Давались иногда и прозвища без счёта.
В Добжине шляхтич слыл под кличкою одною,
А у соседей был известен под другою.
Шляхетство местное, Добжинским в подражанье,
Переняло себе и клички, и прозванья [16],
В семейный обиход ввело их по привычке.
Так позабыли все, что из Добжина клички,
И были там нужны, но что в другом селеньи
Людская глупость их ввела в употребленье.

Матвей Добжинский — тот, что был главою рода, —
Был прозван «Флюгером» до памятного года [17].
Когда ж закончилось восстание Костюшки —
«Забоком» назван был в родимой деревушке,
И «Кроликом» его добжинцы звали сами,
А меж литвинов слыл он «Матьком над Матьками»

В застянке Кролику не находилось ровни,
Дом у корчмы стоял и около часовни.
Хоть он заброшен был — в нём бедность приютилась:
Ворота рухнули, ограда развалилась,
В саду уже росли берёзки, зеленея,
Но замком всё-таки казался дом Матвея
Среди убогих изб. Стена кирпичной кладки
Воспоминанием служила о достатке.
А рядом житницы, сарай близ сеновала,
Всё в общей куче, — так у шляхтичей бывало, —

И крыши ветхие почти что в каждом месте
Мерцали отблеском зеленоватой жести
От моха и травы, заполнившей все щели.
По стрехам, как сады висячие, пестрели
Золотоцветы, мак, петунья и крапива,
И скипетр царский рос, расцвеченный красиво.
Здесь много было гнёзд и голубятен много,
Под крышей ласточки, а рядом, у порога,
Резвились кролики в густой траве нередко.
Ну, словом, целый двор был, как большая клетка.

Меж тем он крепостью служил в года былые
И помнил бранных лет набеги удалые!
Ядро железное, укрытое травою,
Казалось круглою ребячьей головою,
Со шведских войн ещё оно в траве лежало [18]
И вместо камня здесь ворота подпирало.
Десятка два крестов в крапиве и полыни,
В глухом углу двора торчали и поныне:
Могилы древние в земле неосвященной,
Нежданно умерших глухой приют зелёный.
А если стены кто окинет острым взором —
Увидит, что пестрят они сплошным узором,
И в каждом пятнышке есть пуля в середине,
Как будто бы шмели засели в серой глине.

Засовы на дверях иссечены, побиты,
В отметках сабельных крючки, запоры, плиты:
Испробована здесь закалка зыгмунтовки [19],
Срубавшей начисто с больших гвоздей головки —
И не тупилась сталь, и не было зазубрин.
Гербами прадедов был весь карниз разубран;
На украшенья их насело много пыли,
И гнёзда ласточек их тесно облепили.
А в комнатах жилых, от верха до подвала,
Оружье старое валялось, где попало.
Четыре шишака на чердаке сложили, —

Они не рыцарям, но голубям служили:
Голубки в них птенцов кормили деловито:
Кольчуга старая над яслями прибита,
Кормушкою она служила для скотины,
Покрыта клевером почти до половины.
Закалки лишены рапиры в печке жаркой
И в вертела они превращены кухаркой;
Трофейным бунчуком она молола зёрна…
Ну, словом, изгнан Марс Цererою позорно,
И царствует она с Помоной на раздольи [20]
В Добжине: и в дому, и на гумне, и в поле.
Но место уступить должны опять богини, —
Марс возвращается…

Уже с утра в Добжине
Гонец во все дома стучался неустанно;
Звал, как на барщину, и шляхта встала рано.
Толпа на улицах, слышны повсюду речи,
Крик из корчмы летит, горят в костёле свечи;
Расспрашивает всяк: «Что там? Скажи на милость!»
А молодёжь коней седлать заторопилась.
Мешают женщины, мужчины в драку рвутся,
Хотя за что и с кем — ответить не берутся!
Что ж, надо обождать, хватило бы терпенья!
Все собрались к ксендзу, чтоб разрешить сомненья.
Но спорить, наконец, народу надоело, —
Решили поручить вести Матвею дело.

И семь десятков лет Матвея не сломили, —
Былой конфедерат остался в полной силе.
Запомнили враги в боях его повадку,
Дамасской сабли блеск и боевую хватку.
Шутливо саблю звал он «Розгою» своею,
Но пики и штыки, как сечку, резал ею.
Хоть некогда он был лихим конфедератом,
Но самым преданным стал королю солдатом;
Когда ж король на сейм приехал в Тарговицы, —

От короля Матвей решился отступиться.
Менял он партии, менял он убежденья
И «Флюгером» людьми был назван без сомненья
За то, что по ветру, как флюгер, он вращался.
Причины ж перемен никто не доискался:
Любил ли так войну, что в битвах неустанно
На стороне любой искал он славы бранной?
Политиком ли был и, чтоб служить отчизне,
Дух времени ловил и применялся к жизни?
Кто знает! Лишь одно могли сказать правдиво,
Что не прельщался он тщеславьем и наживой,
Что враг был москалей и, чуждый всякой фальши,
Едва завидев их, спешил уйти подальше.
А чтобы москаля не встретить на дороге,
Он, как медведь, сидел один в своей берлоге.

В последнюю войну отправившись с Огинским [21],
Он в битвы с ним ходил за доблестным Ясинским,
И «Розга» славная там чудеса являла.
Все знали: прыгнул он один с крутого вала,
Спеша на выручку прийти к Потею-пану [22] —
Тот получить успел семнадцатую рану.
Их гибель на Литве была уже забыта,
Когда пришли они, исколоты, как сито;
Тут пан Потей решил, что боевому другу
Оплатит щедро он великую услугу,
Усадебку ему дарил он благородно
И злотых тысячу впридачу ежегодно.
Но отвечал Матвей: «Пусть не Матвей Потея,
Матвея пусть Потей почтёт за добродея».
Фольварк и деньги он принять не согласился.
Но, воротясь домой, по-прежнему трудился:
Он пчёлок разводил с любовью и заботой.
И промышлял подчас в родном лесу охотой,
И дичь ловил в силки.

Достаточно в Добжине

Водилось знатоков в науках и латыни:
Учились в городе и право изучали,
И жили без нужды, не ведая печали;
Всё ж среди них Матвей добился большей славы,
И не за то одно, что был рубака бравый.
Но, как мудрец, всегда живущий по заветам
Родимой старины, знаток людей при этом.
Он сведущ был равно в хозяйстве и в законах
И все уловки знал охотников исконных.
О ведовстве его прошла молва по свету
(Хотя считал плебан пустою сплетню эту).
Предсказывал Матвей погоды измененья
Верней, чем календарь, селу на изумленье [23].
Не удивительно, что отправлять вицыны,
Посев ли начинать, свозить ли хлеб в овины,
В суде ль вести процесс, не то бросать затею, —
Все за советами в Добжине шли к Матвею.
Влияния в селе Матвей не добивался,
От почитателей избавиться старался
И выпроваживал нередко их из дому
И попросту на дверь указывал иному;
Но в важных случаях, для разрешенья ссоры,
Высказывался он, и тем кончались споры.
Теперь надеялись, что он, узнавши дело,
Возьмётся за него и проведёт умело;
Недаром смолоду любил Матвей оружье
И недолюбливал он москалей к тому же.

Старик по дворику бродил и на просторе
Мурлыкал песенку: «Когда восходят зори» [24];
Он рад был, что туман не собирался гуще,
Не поднимался вверх, не уплотнялся в тучи,
А ветер расстилал его рукой крылатой
По нивам, по лугам, пропахшим свежей мятой.
Вот солнце в небесах вдруг вспыхнуло, как пламя,
Позолотило всё, забрызгало лучами.
Как в Слуцке мастера выделывают пояс [25]

И, в кросно[26] девушка заправив шёлк на совесть,
Рукою гладит ткань, чтоб расстилалась глаже,
А сверху сыплет ткач волокна яркой пряжи —
И расцветает ткань, — так и с туманом было:
Вихрь расстелил его, а солнце расцветило.

На солнце погуляв и помоляся богу,
Добжинский приступил к хозяйству понемногу.
Принёс он зелени, уселся возле дома
И свистнул: кролики пришли на свист знакомый.
В густой траве они нарциссами белели,
Лишь уши длинные качались еле-еле.
Блестели искрами глаза их в чаще дёрна;
Как будто на шёлку — рубиновые зёрна.
На лапки поднялись и ловят шорох ухом,
Глядят во все концы и мягким белым пухом
К Матвею катятся, почуяв угощенье,
На плечи прыгают, садятся на колени.
Любил он кроликов, сам, точно кролик белый,
И гладил тёплый пух рукою загрубелой.
Другою рассыпал из старой шапки зёрна
Для воробьёв; они слетали вниз проворно.

Недолго тешился он стайкой воробьиной:
Исчезли кролики, и птицы в миг единый
На крышу унеслись пред новыми гостями.
К фольварку шли они поспешными шагами —
То были шляхтичи, послы по всем приметам,
Послала шляхта их к Матвею за советом,
И кланялись они Матвею издалече.
«Пусть славится Христос», — промолвили при встрече.
«На веки вечные, аминь», — Матвей ответил.
Когда же важность их посольства он приметил,
То в дом их попросил; послы на лавки сели,
Один стал посреди — порассказать о деле.

А шляхта между тем всё пуще прибывала.

Сперва Добжинские, потом других немало —
Те с ружьями пришли, а те пришли без ружей,
Повозки и возы оставили снаружи
И, привязав коней к берёзкам поживее,
Торопятся узнать решение Матвея.
Весь дом наполнили, потом набились в сени,
И в окна головы совали в нетерпеньи.

Книга седьмая. СОВЕТ

Спасительные советы Варфоломея-Пруссака • Воинственная речь Матвея-Кропителя • Политическая речь пана Бухмана • Янкель старается наладить мир, который рассекает «Перочинный ножик» • Речь Гервазия, обнаруживающая большую опытность в сеймиковском красноречии • Протест старого Матька • Неожиданное прибытие военного подкрепления срывает совещание • Гей же на Соплиц!

К Матвею речь держал Варфоломей вначале,
Что с барками ходил в Крулевец [1] и едва ли
Пруссаком не за то был назван земляками,
Что враждовал всегда ужасно с пруссаками,
Зато поговорить любил о них, бывало.
Он был уже в летах и повидал немало;
Мастак в политике, он читывал газеты
И подавать умел разумные советы.
Закончил речь он так:

«Нет, Матек, наш радетель,
Помогут нам они, отец и благодетель!
Французы, право же, сильней всех прочих в мире.
Поставлю я на них, как на туза четыре.
Лихие смельчаки, их не пугают пушки!
Пожалуй, со времён Тадеуша Костюшки
Дар полководческий достался Бонапарту!
Однажды перешли французы через Варту… [2]
Об этом рассказать хочу в собраньи панском.
В ту пору, помнится, я вёл торговлю с Гданьском,
Меж тем родня моя жила в краю Познанском;
Встречался там не раз я с Юзефом Грабовским [3];
Полковник он теперь в своём полку литовском.

Жил в Обезеже [4] он тогда, в спокойном месте.

Бывало, мы на дичь охотились с ним вместе, —
В Короне мир царил в то время грозовое,
Когда примчалась весть нежданная о бое.
Принёс известие посланец от Тодвена… [5]
Грабовский, прочитав, воскликнул: «Йена! Йена! [6]
Пруссакам всыпали!» — и в это же мгновенье
Я соскочил с коня и преклонил колени!

Мы в город въехали, как будто в самом деле
Не знали новостей и разузнать хотели.
Бегут навстречу нам ландраты и хофраты [7],
И сволочь прочая, все ужасом объяты;
Как прусаки, когда ошпарят кипятком их [8];
Юлят и корчатся, — не узнаём знакомых!

Не зная будто бы о страшном избиеньи,
Мы спрашиваем их, что, мол, слыхать о Йене?
Смекнули подлые, что мы про бой узнали,
И дрожь их проняла: «Майн гот!» [9] — все застонали;
Повесили носы, да и давай бог ноги!
Кругом пруссаками запружены дороги,
Как муравьи кишат, теснясь на перекрёстке,
На мили тянутся возы их и повозки, —
Вагонами зовут они их; все с узлами
И с трубками бредут вослед за лошадями.
Держали мы совет и вот, острастки ради,
Решили помешать немецкой ретираде! [10]
Хофратам по горбам, ландратам в шею дали,
А офицеров их мы за косы хватали! [11]
Домбровский молодец, глядишь, уже в Познани
Распоряжается — велит начать восстанье [12].
В неделю выгнали пруссаков мы из Польши,
Там даже днём с огнём их не разыщешь больше!
А что, когда б и мы готовились к восстанью,
Мы москалям тогда б задать сумели баню!
Что скажешь, пан Матвей? Слыхать, Наполеону

Перечат москали, а тот не даст пардону!
Войск много у него, он всех сильней на свете!
Ну, Кролик, наш отец, ответь на речи эти!» [13]
Замолк. На Матека глядели все в сомненьи,
Он глазом не повёл на это заявленье,

А только за бок лишь хватался в нетерпеньи,
Как будто бы искал он саблю; хоть с раздела
Ходил без сабли он [14], хватался то и дело
За левый бок, едва о москалях услышит,
Как будто Розгою им ижицу пропишет.
(В застянке звался он поэтому Забоком.)
Вот поднял голову в молчании глубоком,
Все ждали слов его, — напрасно ожиданье,
Нахмурясь, он поник, не прерывал молчанья,
Но вот заговорил раздельно, с удареньем,
Оглядывая всех с серьёзным выраженьем:

«Спокойно, шляхтичи! Откуда эти вести?
Как далеко француз? И кто идёт с ним вместе?
Да разве начата уже война с Москвою?
Французы движутся дорогою какою?
Пехота? Конница? Видали вы их сами?»

Поочерёдно всех обвёл Матвей глазами.
Пруссак сказал: «Ксендза дождаться бы не худо,
Он вести передал, разведчики покуда
Сумеют оказать нам важную услугу,
А мы тем временем вооружим округу,
Без шума лишнего, всё проведём толково,
Чтоб москалям о том никто не молвил слова».

«Как? Ждать? Врать? Спать?» — Матвей-Кропитель скорчил мину,

Кропилом называл он крепкую дубину,
Которою в бою с пруссаками он дрался

И на неё теперь руками опирался.

«Ну что ж, — вскричал, — друзья, хотите, ожидайте,
Тяните то да се, а после удирайте!
А я одно скажу, что разум крулевецкий
Хорош для немчуры [15], а у меня — шляхетский!
Когда на бой иду, то верю я Кропилу,
Когда умру — пускай проводит ксёндз в могилу!
Я бить и жить хочу! Никто из нас не робок,
И мы не школьники, на что нам сдался Робак?
Шум-бум, шпионов слать! Оттяжки надоели!
Мы с вами — шляхтичи, не рохли-пустомели!
Пусть квестарь квестует, а мой завет единый —

Кропить! Кропить! Кропить!» — тут он взмахнул дубиной.
Как видно, призывал Кропитель не напрасно.
«Кропить! Кропить! Кропить!» — все подхватили страстно.

«Кропить!» — Варфоломей кричал, что Бритвой звался
За саблю острую; Матвей с ним надрывался,
Который в бой ходил со штуцером широким
И пули грозные оттуда лил потоком, —
Он назван Лейкой был за то. «Виват Кропило!»
Пруссак хотел прервать — куда? Не тут-то было!
«Молчи! — все крикнули. — Что разводить турусы?
Под капюшонами скрываются лишь трусы!»

Седую голову приподнял Матек старый
И стал улаживать поднявшиеся свары:
«Оставьте Робака, не время для насмешек!
Ксёндз — штучка тонкая, не по зубам орешек!
Я вмиг узнал его! Гляжу, а он таится,
Надвинул капюшон, понятно, что за птица!
Боялся, что его на исповедь возьму я.
Да мне-то что? Монах всё врёт напропалую!
Коль слухи от него, не ждите бернардина!
С какою целью врал, мне это всё едино,

Но доверять ему не надо, бес — ксенжина! [16]
А если принесли одни пустые вести,
Чего хотите вы? Ответьте мне по чести!»
«Войны!» — вскричали все. — «Да с кем же?» — «С москалями!
И гей же на царя! Распоряжайся нами!»

Но тут Матвей-Пруссак возвысил голос снова,
С поклонами себе выпрашивал он слово
И, наконец, добыл то криком, то мольбою.
«Коль бить, так бить! — себя он стукнул в грудь рукою. —
Хоть не Кропитель я, а всё ж веслом, литвины,
Устроил четырём пруссакам я крестины,
Когда меня они спьяна в реке топили».
«Креститель славный ты!» — все дружно завопили.
«Но, братья, с кем война? Когда б загадку эту
Могли мы разгадать и рассказать повету! —
Едва мы позовём… Народ пойдёт за нами,
Да мы, друзья мои, пути не знаем сами!
Без знанья этого у нас не выйдет лада,
Порядок надобен, за ум нам взяться надо!
А на кого пойдём? Под чьим началом будем?
В конфедерации [17] всё это мы рассудим.
Когда пруссацкую видали ретираду,
В Великопольше мы собрали тайно раду,
Вооружили там и шляхту, и громаду.
Домбровский подал знак, и по его приказу
Мы — „гей же на коня!“ — помчались в битву сразу».

«Вниманье!» — человек, одетый по-немецки,
Воскликнул. Управлял имением он в Клецке [18]
И звался Бухманом [19], — в округе же, однако,
Все знали Бухмана как честного поляка,
А был ли шляхтичем пан Бухман, — неизвестно;
Он уважаем был за знанья повсеместно,
Прочёл немало книг, учёным слыл в повете,
Разумно рассуждать мог о любом предмете.

По книжкам изучив, как управлять именьем [20].
Он о политике беседовал со рвеньем,
Бумаги составлял и слыл за краснобая.
Все смолкли, Бухману охотно уступая.
«Вниманье!» — начал он, прочистив горло дважды,
И так заговорил, что мог услышать каждый:

«Все те ораторы, что нынче выступали,
Предмет суждения по пунктам разобрали
И подняли его на высоту при этом;
Суждениями их хочу, как ярким светом,
Наглядно озарить запутанное дело,
Чтоб несогласий впредь оно бы не имело.
Дискуссия у нас распалась на две части,
Отчётливо они разделены, на счастье:
Часть первая — решить сего восстанья цели,
И как бы мы теперь вести его хотели? [21]
Какая власть нужна — вторая из загадок;
Что ж, пункты хороши, но изменю порядок:
Вопрос о власти я хочу решить сначала,
Чтобы она нам цель восстанья намечала.

Когда историю окинем мы глазами
В её развитии [22], то что ж увидим сами? —
Селились дикари в лесах во время оно,
Объединяла их одна лишь оборона.
Чтоб обеспечить жизнь спокойную народу,
Стесняли дикари порой свою свободу.
Вот первый был устав, из этого устава —
Первоисточника — возникло наше право.
Законы создаёт, коль в дело вникнуть строго,
Правительство, — оно ж, мы знаем, не от бога!
Общественный контракт — всему основа, так-то!
Ну, а раздел властей лишь следствие контракта» [23].
«Ну, о контрактах речь, заговорил ab ovo!
К чему перебирать старьё такое снова?
Кто покориться нас заставил царской власти.

Господь иль сатана? Не в знании тут счастье,
Советуй, как теперь уйти нам от напасти!»

Кропитель закричал: «Вот было б делом милым
Добраться до царя и закрепить кропилом!
Уж не вернулся б он по Киевскому тракту,
И никакие тут не помогли б контракты!
Не воскресили бы его ни слуги божьи,
Ни Вельзевуловы. Кропило мне дороже.
Чем ваша речь, хоть вы красноречивы были.
Шум-бум, и нет её! Суть главная в Кропиле!»

«Так! — Бритва запищал. — Так, правильно, ей-богу!
Он от Кропителя перебегал к Забоку
(Свершает так челнок по кроснам путь недлинный)…
«Так, Матек с Розгою и так, Матвей с Дубиной!
Побьёте москалей, едва начнётся битва,
Команду Розга даст и не подгадит Бритва!»

«Команда что? — сказал Кропитель. — На параде
Нужна была она, а в Ковенской бригаде
Была короткая: «Страши, не зная страха,
Не дай задеть себя, а сам лупи с размаха!
Шах-мах!» Тут завизжал истошно Бритва: «Так-то!
На что регламенты? Не надобно контракта!
На эти пустяки нам время тратить жалко,
Пойдём за Розгою! Нет лучшего маршалка!»

Креститель подхватил: «Забок наш предводитель!»
Добжинцы грянули: «Да здравствует Кропитель!»

Шум начался в углах, где мненья разделились,
И на два лагеря все шляхтичи разбились.
«Согласья не терплю! Моя система это!» [24] —
Так Бухман закричал. А кто-то крикнул: «Вето!»[25]
Но крики заглушив, раздался голос грубый
Вошедшего в тот миг сердитого Сколубы:

«Добжинцы! Хорошо ль вы поступили с нами?
Мы все наделены такими же правами!
Созвал Рубака нас, по прозвищу Мопанку,
Сзывая шляхтичей по нашему застянку,
Клялся торжественно, что совещанье это
Касается нас всех и целого повета,
А не Добжинских лишь! Монах, в былую встречу,
Долбил о том же нам, но путаною речью.
Желая оказать, панове, вам услугу,
Послали мы гонцов и подняли округу,
Так почему же нам не совещаться вместе?
Ведь шляхтичей пришло не менее, чем двести!
Голосовать мы все хотели бы свободно,
Скажите ж, почему вам это неугодно?»

«Пусть равенство живёт!» —
Мицкевичи вначале,
И Стыпулковские [26] вопили: «Так, Сколуба!»
Но Бухман закричал: «Согласье мне не любо!»
А Тераевичи за ними закричали,
Кропитель подхватил: «Мы обойдёмся сами!
Виват маршалок наш! Наш Матек над Матьками!»
«Мы просим!» — крикнули Добжинские на это,
А прочие в ответ заголосили: «Вето!»
Разбились голоса, шум поднялся великий,
Кивают головы и «просим!» рвутся крики,
И «вето!» им в ответ, и крики «просим!» — снова.

Единственный из всех Забок молчал сурово;
Сидел недвижно он с поникшей головою,
Кропитель перед ним, как лист перед травою,
Стоял и головой, подпёртою дубиной,

Вертел, как тыквою, на шест надетой длинный.
Кивал он тем и тем, выкрикивая часто:
«Не соглашаемся! Кропить Кропилом, баста!»

А Бритва двигался живее и живее,
Он от Кропителя перебегал к Матвею,
И Лейка подходил от шляхтичей сердитых
К Добжинским, будто бы желая примирить их.

«Брить!» и «Кропить!» — кругом кричали в исступленьи.
Хотя молчал Забок, но он терял терпенье!
Пока народ шумел, как будто оглашённый,
Среди голов людских блеснул клинок сажённый,
Был шириною в пядь, потяжелей дубины,
И обоюдоостр, без пятен, без щербины.
То был тевтонский меч из нюренбергской стали —
И от оружия все глаз не отрывали.

Хоть кто вознёс его, не видели литвины,
Однако крикнули: «Виват! Наш «Перочинный»!
Виват могучий герб — краса всего застянка!
Виват Рубака наш! Наш Козерог-Мопанку!»

Гервазий (то был он) протиснулся сквозь давку.
Стал, «Ножиком» взмахнул и оперся на лавку.
Салютовал клинком он Матеку при этом:
«Склоняется мой «Нож» пред Розгою с приветом!
Добжинцы, шляхтичи, пришёл вам рассказать я,
Зачем вас на совет созвал сегодня, братья!
Как надо поступить, пускай решает шляхта,
Об этом толковать не буду второпях-то.
Теперь большой вопрос решается на свете,
Вам Робак говорил не раз о том предмете».
«Да, знаем», — был ответ. — «Так, шляхтичи, полслова
Тому достаточно, кто думает толково.
Не правда ль?» — «Правда, так!» Тут продолжал оратор:
«Там русский царь, а там французский император, —
Воюет царь с царём, князья идут с князьями,
Все встретятся в бою, а что же будет с нами?
Что нам бездельничать? Пока большой большого
Осилит, маленький пускай побьёт меньшого!

В горах и на лугах пусть малый бьётся с малым,
Так русского царя мы потихоньку свалим!
Речь Посполитая получит вновь свободу».
«Он правду говорит! Глядит, как будто в воду!»
Кропитель выкрикнул: «Кропить! С Кропилом в битву!
Я брить всегда готов! Не забывайте Бритву!»
А Лейка заклинал, ну впрямь читал молитву:
«Кропитель, Матек, вам маршалка выбрать надо!»
Вмешался Бухман тут: «В согласии нет лада!
От спора общего лишь выиграет рада!
Молчите, слушайте, потом берите слово!
Рубака осветил предмет с конца другого!»

«Конечно! — поддержал Гервазий всей душою, —
Большому кораблю и плаванье большое!
На то Наполеон, сенат есть у поляков,
Великие дела пускай решает Краков,
Варшава вместе с ним, ну, а у нас в повете
Не может речь идти о важном столь предмете.
Не мелом пишутся на трубах акты эти,
А на пергаменте чернилом! Скажем смело,
Не нашего ума, панове, это дело!
А мне бы «Ножичком!» — «А мне бы лишь Кропилом!» —
Кропитель заявил. «А мне кольнуть бы Шилом!» —
Тут Шильце шпагою своей взмахнул в экстазе.

«Вы все свидетели тому, — сказал Гервазий, —
Как Робак давеча нам говорил о соре,
Что вымести его в повете надо вскоре.
Известно ль вам, о ком шла речь в том разговоре?
Кто этот сор у нас? Кто лучшего поляка
Ограбил и убил? Ещё не сыт, однако,
И у наследника отнять добро стремится!
Назвать ли вам его?» — «Да кто ж, как не Соплица?» —
Так Лейка закричал. «Он — подлый притеснитель!» —
Так Бритва поддержал. «Кропить!» — сказал Кропитель.
А Бухман заявил: «О благе всех радея,

Должны повесить мы упорного злодея!»

Вступился за Судью Матвей-Пруссак: «Бог с вами,
Панове! — он вскричал с простёртыми руками. —
Пан Ключник! Как, опять? Он одержимый, братья,
Я заклинаю вас святынею распятья!
Да кто же станет здесь карать за брата брата?
Что брат был негодяй, семья не виновата!
Тут Графа происки, их надобно стыдиться.
Не притесняет вас, не жмёт Судья Соплица.
Ей-богу же, не так! Вы ссоритесь с ним сами,
Соплица между тем лишь мира ищет с вами,
И за издержки сам он платит всех дороже.
А если тяжбу он затеял с Графом — что же?
Пусть паны ссорятся, мы в их дела не вхожи!
Не притеснитель он! Сам запретил крестьянам
Склоняться до земли пред ним, законным паном!
Сказал им, что грешно! И слышать вам не внове,
Что с хлопами за стол садится он, панове!
Налоги он платил за них, — не то, что в Клецке,
Где управляли вы, пан Бухман, по-немецки!
Он не злодей! Мы с ним за партою сидели,
Хороший малый был, такой же он доселе!
Хранит обычаи, живёт, как деды жили,
Самодержавья враг, мы с ним всегда дружили!
Когда очиститься хотел от прусской пыли,
Я в Соплицово шёл натешиться польщизной,
Там надышаться мог, упиться мог отчизной.
Я с вами, шляхтичи, что мне судья Соплица?
Однако обижать его нам не годится!
Не так, друзья мои, в Великопольше было,
Согласье было там, припомнить сердцу мило!
Подобный вздор слыхать там не было оказий…»
«Казнить разбойника — не вздор!» — прервал Гервазий.

Тут Янкель на скамью вскочил, расправил плечи
И, голову подняв, просил вниманья к речи.

Седая борода повисла, как мочала,
Он правою рукой сорвал колпак сначала,
А левою надел ермолку преспокойно,
И палец заложил он за кушак пристойно.
Пред каждым наклонил колпак поочерёдно:

«Панове шляхтичи, коль слушать вам угодно,
Я, не родня Судье, скажу вам без обмана:
В Соплице как-никак я уважаю пана,
И вас, Добжинские, я уважаю с детства
Как благодетелей и доброе соседство!
Но если на Судью напасть вы захотите,
То доброго себе от этого не ждите!
Убить? Асессор там, натерпитесь в кутузках!
В округе нашей есть солдат немало русских!
Всё больше егеря, Асессор свистнет только, —
Примаршируют все, не сосчитаешь сколько,
И что получится? Французов ждать нам рано.
Дорога длинная, не вышло бы обмана!
Нет дела до войны евреям, но в Белице
Евреев я встречал, бывавших за границей;
Передают они, что до весны с Лососны
Французы не уйдут [27]. Хотя их ждать несносно.
Но всё ж придётся ждать! Именье Соплицово —
Не будка, что на воз положишь и готово!
Останется оно, к тому ж, — сказал оратор. —
Соплица-пан — судья, не жалкий арендатор,
Бежать не пустится, весной за ним гонитесь,
Ну а теперь, друзья, спокойно расходитесь.
Да позабудьте все, о чём здесь говорилось.
А если, шляхтичи, окажете мне милость,
То нынче родила сыночка мне супруга,
И музыканты есть. Приди хоть вся округа,
Я буду только рад. А Матеку в угоду,
Что любит старый мёд, поставлю вволю мёду.
Услышит он мотив мазурки самой новой,
Зер файн разыгранной, даю вам в этом слово!»

Та речь понравилась, все сразу зашумели,
И захотелось всем участвовать в веселье.
Гул одобрений рос, но Ключник с грозной миной
Еврею показал свой «Ножик перочинный»;
Убрался Янкель вмиг, вслед загремел Рубака:
«Не о тебе тут речь! Не суй свой нос, собака!
Скажи мне, пан Пруссак, неужто за две барки
Соплицы ты теперь его защитник жаркий?
Мопанку позабыл, Горешковых десяток
Сплавлял твой батюшка, тем приобрёл достаток!
В довольстве вся семья живёт у вас доныне;
Да все вы, наконец, кто ни живёт в Добжине,
Отлично знаете, я сам тому свидетель,
Что Стольник был для вас отец и благодетель!
Кто управлял всегда в его именьях Пинских?
Кто экономом был? Все из семьи Добжинских!

Буфетом ведал кто? Добжинские, конечно, —
И на хлебах его вам всем жилось беспечно!
Бывало, хлопотал за вас он в трибунале,
Следил он, чтобы вас в делах не обижали,
Для вашей детворы магнат входил в расходы:
За обученье их платил в былые годы!
Да что и говорить! Его обычай ведом,
Покойный Стольник был недаром вам соседом!
Теперь другой у вас сосед — судья Соплица;
Что сделал он для вас?»
«Невелика ведь птица,
А задаётся как! И держится как гордо!
Не сделал ничего! — ответил Лейка твёрдо. —
Однажды я позвал его на свадьбу дочки,
Поил — не хочет пить, мол, «мне не выпить бочки,
Вы, мол, привыкли пить, а я уже не в силах!»
Подумаешь, течёт кровь голубая в жилах!
Не пил, но мы ему насильно влили в глотку…
Из Лейки выпьет он теперь другую водку!»

Кропитель закричал: «Злодей получит трёпку!
Мой сын был молодцом, а стал похож на пробку,
Так поглупел теперь! Стал просто дурачиной!
Кто виноват во всём? Судья всему причиной.
Я сыну говорил: «Не бегай в Соплицово,
Когда поймаю там, то выдеру сурово!»
Он снова к Зосе — шмыг! Но я стерёг в овраге,
Хвать за уши его и надавал бродяге!
А он всё хнык, да хнык! Чего тебе, бедняге?
„Убей, но я пойду!“ — ответил он рыдая.
Зачем? А он — „люблю!“ Ну, понял всё тогда я!
Гляжу, извёлся он, а парень был не робкий.
Я попросил Судью: „Отдай, мол, Зосю Пробке!“
„Пускай три года ждёт, а там, как Зося хочет“, —
Ответил мне, а сам он о другом хлопочет!
Приду с гостями я теперь на свадьбу тоже,
Кропилом окроплю я новобрачных ложе!»

Гервазий завопил: «Ворюга тот гуляет!
Законных панов он к тому же разоряет!
А память Стольника изгладилась в Добжине.
Знать, благодарности здесь нету и в помине!
И если вы с царём не побоитесь биться,
То что же вас страшит ничтожный пан Соплица?
Тюрьмы боитесь вы? Я не зову к разбою,
Стою за право я и призываю к бою!
Граф выиграл процесс, декретов есть немало,
Оформить надо их, как в старину бывало,
Что трибунал решал, то шляхта выполняла,
Поддерживая честь и славу трибунала!
Отсюда выросла и всех Добжинских слава,
В наездах постоять могли они за право!
Напрасно москалей вёл шеф их Войнилович
И помогал ему пан Волк из Логомович [28],
Но пана Волка мы тотчас же в плен забрали,
Повесить думали его на сеновале;

Он был слугой царя, для хлопов был тираном,
Но хлопы сжалились над бессердечным паном! [29]
Возьмусь за нож, когда Судьи мне не повесить,
Наездов помню я не менее, чем десять!
И выходили мы всегда из них со славой,
Как и пристало то могучей шляхте бравой.
Примеры старины достойны подражанья!
Граф тяжбу выиграл, но мало предписанья;
Никто из вас помочь не хочет сиротине,
А Стольник некогда всем помогал в Добжине!
Что ж, у наследника его лишь друг единый —
Гервазий, да ещё с ним «Ножик перочинный!»

Креститель выступил: «Где «Ножик», там Кропило!
С тобою буду я, чтоб не обидно было!
Пойдём вдвоём с тобой, «Нож» у тебя, Гервазий,
Кропило у меня для этаких оказий!
Пойдём, шах-мах! Плюск-пляск! Без толку не болтая!»

«О Бритве не забудь! Без вас пойду куда я?
Что вы намылите, я тотчас же обрею!»
Тут Лейка вскинулся: «Я поливать умею!
Когда не выбрали мы нашего маршалка,
К чему голосовать? Шары мне тратить жалко! [30]
(При этом горстку пуль достал и ну хвалиться), —
Шары другие есть, получит их Соплица!»
Сколуба заревел: «От вас мы не отстанем!»
Другие крикнули: «Мы с вами рядом станем!

Горешки пусть живут! Виват и Козерогу!
Так гей же на Соплиц! Не мешкая, в дорогу!»
Гервазий потянул всех за собой, ещё бы!
У шляхты на Судью скопилось много злобы:
Там — за потраву штраф, а тут — порубка бора,
В соседстве мало ли есть поводов для спора?
Одни из зависти, другие из злорадства
Хотели отомстить Соплице за богатство.

Вот, сабли обнажив, дубинами махая,
Все встали.

Матек лишь, что до сих пор, вздыхая,
Сидел в молчании, встал, вышел на серёдку
И подбоченился, прочистив кашлем глотку.
Он с расстановкою ронял за словом слово,
В такт головой кивал и говорил сурово:
«Глупцы! Остались вы, как были, дураками,
За спор чужой теперь поплатитесь боками!
О возрождении отчизны ваша рада
Была сварливою и не имела лада,
Вы не могли найти ни одного решенья,
Порядка не было, а значит — соглашенья!
Вождя не выбрали! Глупцы, стыжусь за вас я,
В домашней ссоре вмиг добились вы согласья!
Глупцы! Попомните ещё слова Матвея!
Прочь! К чёрту! К дьяволу отсюда поскорее!
Прямой дорогой в ад!»

Поражены, как громом,
Все смолкли. В тот же миг раздался крик за домом:
«Виват, наш Граф!» — Во двор въезжал он, окружённый
Жокеями, и сам он был вооружённый,
Одетый в чёрное. Граф был хорош собою.
На нём был модный плащ не польского покроя, —
Тот плащ без рукавов, широкий и недлинный,
Держался на крючке и звался пелериной.
На голове — берет с пером. Дыша отвагой,
Граф горячил коня, всем салютуя шпагой.
«Да здравствует наш Граф!» Тут шапки полетели,
Из окон шляхтичи с волнением глядели,
И устоять могли они лишь еле-еле.
Гервазий дверь раскрыл и вышел, остальные
Вслед за Гервазием рванулись, как шальные.
А Матек из окна им крикнул: «Простофили!»

Тут Графа шляхтичи толпою окружили
И с ним в корчму пошли. Припомнивши обычай,
Гервазий шляхтичей отправил за добычей:
На поясах они втащили торопливо
Три бочки; были в них вино, и мёд, и пиво,
Затычки выбиты — и три струи фонтаном
Забили — золотым, серебряным, багряным.
Их искромётный ток, и холоден и жарок,
Наполнил сотни чаш и сотни медных чарок.
Тут шляхта крикнула: «Жить Графу многи лета!»
И «Гей же на Соплиц!» — гремел ответ на это.
Умчался Янкель прочь, Пруссак за ним, однако,
Хватились шляхтичи бежавшего Пруссака.
В погоню бросились, крича вослед: «Измена!»
Не по нутру была Мицкевичу вся сцена,
Он что-то замышлял, но сабли засверкали, —
Он бросился бежать, да спасся бы едва ли,
Когда бы не пришли Чечоты с верным Заном [31]
Отпора не дали отъявленным буянам.
В той драке пострадать случилось забиякам,
Попало по рукам и по носам воякам!
Другие на коней вскочили по приказу,
Который отдал Граф, и поскакали сразу.
По длинной улице зацокали подковы
И «Гей же на Соплиц!» — раздался клич громовый.

Книга восьмая. НАЕЗД

Астрономия Войского • Замечания Подкомория о кометах • Таинственная сцена в комнате у Судьи • Тадеуш, стараясь половчее выпутаться, попадает в большие затруднения • Новая Дидона[1] • Наезд • Последний протест Возного • Граф захватывает Соплицово • Штурм и резня • Гервазий — виночерпий • Пиршество.

Пред бурею есть миг затишья рокового,
Когда громада туч надвинется сурово,
Вдруг остановится и сдержит ветер вольный,
И землю обежит глазами ярких молний,
И место выберет, чтоб разразиться громом:
Миг тишины такой был над шляхетским домом,
На всё упала тень грядущих испытаний
И души унесла в край сумрачных мечтаний.

Вот ужин кончился, и гости за Судьёю
Выходят подышать прохладою ночною;
Здесь на завалинках, покрытых свежим дёрном.
Сидят задумчиво, в молчании упорном,
Глядят на небеса. А небеса теснее
Придвинулись к земле, желая слиться с нею;
Вот сблизились они под сумрачным покровом
И, как влюблённые, намёком, полусловом
И полушопотом вели свои признанья,
Роняя тихий смех, глухие восклицанья—
Из коих музыка слагается ночная.
Сыч открывал концерт, под крышею стеная,
И мышь летучая под окнами шуршала,
Мелодии сыча она не заглушала.

Ночная бабочка, сестра летучей мыши.
На платья белые летела из-под крыши.

То билась Зосеньке в лицо, то билась в очи,
Приняв за свечи их во мраке летней ночи.
А в воздухе мелькал рой мелких насекомых,
Звенел гармоникой в созвучиях знакомых;
Узнала Зосенька в тех звуках над долиной
Аккорды мошкары и тенор комариный.

Начать концерт в полях спешили музыканты;
Настройка кончилась, вступили оркестранты.
Вот трижды коростель на скрипке вывел ноту,
И забасила выпь, шныряя по болоту.
Бекас откликнулся вслед за другим бекасом.
Как будто бубен бил вечерним тёплым часом.
Гуденью мошкары и птичьим разговорам
Завторили пруды двойным финальным хором,
Подобно сказочным озёрам в цепи горной [2],
Молчащим в свете дня, поющим ночью чёрной.
Из синей глубины торжественно и важно
Песчаный чистый пруд откликнулся протяжно;
А пруд болотистый отозвался призывно
Из мутных вод своих со страстью заунывной:
То в каждом из прудов лягушек певчих орды
Согласно вознесли могучие аккорды.
Один фортиссимо, другой звучит пиано,
Тот горько сетует, тот плачет неустанно;
Весь вечер песни их будили сумрак дола,
Звенели в воздухе, как струны арф Эола.

Вечерний мрак густел. Уже меж лозняками,
Вдали, глаза волков светились огоньками.
Подальше, у краёв ночного небосклона,
Пастушеских костров огни мерцали сонно.
Вот месяц засветил фонарик над лесами,
Он светом озарил всю землю с небесами.
Земля и небеса, как будто муж с женою,
Покоились вдвоём под лёгкой пеленою
И были счастливы: в объятьи неба чистом

Блестела грудь земли под месяцем лучистым
Напротив месяца взошла звезда, другая,
Десятки тысяч звёзд уже горят мигая,
Созвездье Близнецов зажглось над тёмным хмелем.
Славяне звали их когда-то Лель с Полелем [3].
Другие имена у них в Литве зелёной:
Одна звезда — Литва, другую звать Короной.

Невдалеке Весов блестят пустые чаши.
На них когда-то бог планеты, звёзды наши
Прилежно взвешивал, пуская по орбитам.
(Преданье старины осталось незабытым.)
Потом он прикрепил те чаши к небосводу,
Дав образец весов всему людскому роду.
Кружок на севере — светящееся Сито [4],
Бывало, сквозь него создатель сеял жито,
Которое бросал Адаму с состраданьем,
В те дни, когда его он покарал изгнаньем.

Стоит Давида Воз среди небесной сини,
К звезде Полярной он направил дышло ныне[5]
В народе до сих пор упорно говорится,
Что не Давида, мол, возила колесница,
Возила ангелов и даже Люцифера [6],
Но переполнилась его дерзанью мера,
Когда посмел восстать на божие чертоги, —
Сбил Михаил его и Воз свернул с дороги.
Валяться среди звёзд он обречён до срока,
Пока не снимет бог сурового зарока.

Гласит старинное предание литвинов,
К ним перешедшее от мудрецов-раввинов,
Что длиннохвостое созвездие Дракона,
Которое теперь мерцает в небе сонно, —
То рыба, не змея. Жила она вначале
В пучине, и её Левиафаном [7] звали.
Когда прошёл потоп, иссякли воды в море, —

Левиафан издох, и в голубом просторе
Висит его костяк, чтоб люди не забыли
О тех страшилищах, что до потопа были.
В костёле мирском так скелеты рыб висели
И даже, слухи есть, висят там и доселе [8].

Гречеха звёзды знал по книгам и преданьям;
Рассказывал о них и слушал со вниманьем.
Хоть плохо видел он, замечу мимоходом,
Не мог и сквозь очки следить за небосводом,
Но знал он наизусть созвездий очертанья,
Мог указать их путь любому в назиданье.

Его не слушали: Весы и Воз и Сито,
Созвездья прочие — всё было позабыто!
Казалось, что теперь решался общий жребий, —
Глаза и мысли всех приковывала в небе
Комета яркая, что с Запада всходила [9],
Летела к Северу и всех с ума сводила.
На звёздный Воз она косилась с небосферы,
Как будто метила комета в Люциферы!
Своей косой она мела небес две трети,
Созвездья в волосах запутались, как в сети,
Влекла их за собой тропою лучезарной
И прямо с Запада неслась к звезде Полярной!

За лучезарною кометою хвостатой
Народ следил с тоской, предчувствием объятый,
Грозила бедствием зловещая комета.
Кричало вороньё - недобрая примета!
Оттачивая клюв, оно в полях летало,
Сбиралось стаями и трупов поджидало.
И замечал народ: собаки землю рыли,
Как будто чуя смерть, протяжно, долго выли,
Сулили голод, мор. От страха изнывая,
Видали сторожа — шла Дева Моровая [10],
Превыше всех дубов Ольгердовой дубравы;

Как жар, в её руке светился плат кровавый.

Приказчик кое-что прибавил к тем приметам:
Пришёл он дать отчёт, но позабыл об этом.
Конторщик в трепете шептался с экономом,
Но Подкоморий пан, сидевший перед домом,
Вдруг табакерку взял, — а это означало,
Что хочет говорить; шляхетство замолчало.
Она из золота, с брильянтами оправа,
А посреди портрет монарха Станислава.
«Тадеуш, — он сказал, открывши табакерку, —
О звёздах речь твоя [11] выходит на поверку
Лишь эхо школьных слов. Занятнее о чуде
Толкуют меж собой бесхитростные люди.

Курс астрономии и я прошёл когда-то,
Жил в Вильне, где жена богатого магната
Доход свой отдала с имения и с хлопов,
Всё на покупку книг, стекла и телескопов.
Обсерваторией заведовал в те годы
Почобут — ксёндз [12]. Он был разумен от природы
И ректорства достиг. Однако надоели
Науки все ему, и заперся он в кельи.
Знаком был в те года я также со Снядецким [13],
Учёным мудрецом, хоть человеком светским.
Что ж, каждый астроном толкует о комете,
Как будто мещанин о встреченной карете[14]:
Заедет ли она на царский двор в столицу,
Иль от заставы прочь помчится за границу?
Но кто же едет в ней? С какою эстафетой?
Войну ли, мир несёт проезжая карета?
О том не думают. Я помню, ехал в Яссы
Браницкий l[5]. Увлекла его карета массы.
Как пышный звёздный хвост влачится за кометой,
Так хвост торговичан тянулся за каретой.
Народ хотя и прост, но понял он душою:
Хвост длинный означал предательство большое.

Комета названа была метлой народом [16]
Затем, что вымела мильоны мимоходом!»

Гречеха тотчас же откликнулся с поклоном:
«Всё правда! Помню я в минувшем отдалённом,
Что говорилось мне, — ещё я не был в школе,
Я был мальчонкою лет десяти, не боле.
Гостил у нас тогда Сапега — пан покойный,
Поручик, кирасир и человек достойный;
Маршалок был потом, до канцлерского чина
Дошёл уже, когда пришла его кончина.
При Яне Третьем он был с гетманом под Веной,
Сражался доблестно, признаюсь откровенно.
Вот что он говорил, я помню речи эти:
«Как раз, когда в седло садился наш Ян Третий,
А кардинал его благословлял в дорогу,
И целовал ему посол австрийский ногу
(Граф Вильчик, помнится) [17], король воскликнул:
«В небе
Комета вещая сулит нам светлый жребий!»
Все поглядели ввысь: шла медленно комета [18]
Путём, которым шли отряды Магомета,
С Востока к Западу. Когда же ксёндз народу
Поведал наш триумф, то озаглавил оду
«С Востока молния», — писал там о комете.
Однако я читал не только строки эти,
«Янину» [19] я прочёл, в которой описанье
Всей жизни короля, там все его деянья!
В ней нарисованы знамёна Магомета,
И та, похожая на эту вот, комета!

«Аминь! — сказал Судья, — я предвещанья эти
Приму, пусть со звездой появится Ян Третий!
Теперь на Западе есть богатырь похожий,
Комета приведёт его и к нам, дай боже!»

Гречеха опустил с глубокой грустью взоры.

«Комета и войну сулит нам и раздоры!
А то, что поднялась она над Соплицовым,
Наверное, грозит вам бедствием суровым!
Не приведут к добру сварливые беседы
И спор охотничий! Боюсь, нагрянут беды!
Юрист с Асессором заспорил утром рано,
И вызвал на дуэль Тадеуш Графа-пана.
Медвежья шкура — вот причина зла и опора!
Когда бы мне Судья не помешал, — я б скоро
Наладил общий мир, окончилась бы ссора!
Хотел поведать я о случае занятном,
Таком же, как вчера, почти невероятном.
В былом произошёл он с лучшими стрелками:
Денасов и Рейган ведь славились меж нами!
Всё дело вышло так:
К нам из земель подольских
Приехал генерал пожить в поместьях польских[20].
Для популярности и ради развлеченья,
Дорогой посещал шляхетские именья.
В Варшаву ехал он, заехал в гости к пану,

Блаженной памяти, Тадеушу Рейтану.
Он новогрудским был послом у нас позднее,
Я вырос у него, не знал семьи роднее.
Тогда, по случаю приезда генерала,
Рейтан созвал гостей, и музыка играла.
Князь представления давал в своём театре,
Пан Кашиц фейерверк зажёг в любимой Ятре[21],
Пан Тизенгауз прислал танцоров для веселья,
Огинский и Солтан [22], который жил в Здзенцеле,
Оркестры дали нам. Пошли пиры, забавы,
Балы и, наконец, пришёл черёд облавы.
Панове, знаю я, и всем давно известно,
Что Чарторыйские, пусть это и не лестно,
Все не охотники, хотя и Ягеллоны,
Но не из лености охотиться не склонны:
Французский вкус у них. Ну, генерал наш тоже

Охотник был до книг, ценил их псов дороже!
Альковы дамские предпочитал он бору.
Был в свите у него Денасов [23] в эту пору,
Который странствовал по землям африканским,
Охотился с царьком каким-то негритянским,
Ходил на тигра там с копьём. Одним ударом
Он тигра как-то сшиб и хвастался недаром!
Подняли кабана у нас в глуши дубовой,
Рейтан из штуцера подрезал матёрого!
Стрелял почти в упор! Большая это смелость,
И каждому из нас почтить стрелка хотелось.
Один Денасов был с другими несогласен,
Он под нос бормотал, что выстрел первокласен,
Но выстрелом Рейтан обязан только глазу,
А тигра сбить копьём не всякий может сразу!
Потом о Ливии затеял спор горячий
И начал хвастаться своей былой удачей,
Но хвастовство его Рейтану надоело,
Он взялся за эфес, парировал умело.
«Кто метко целится, сказал, тот смел. К тому же
Тигр стоит кабана, ружьё копья не хуже!»
Тут завязался спор, он перешёл бы в ссору,
Но положил конец сам генерал раздору:
Он по-французски их мирил, но я не скрою.
Что тлела их вражда, как пламя под золою.
Рейтан Денасову хотел отмстить жестоко
И шутку с ним сыграть, не выжидая срока.
Наутро же её придумал он, Панове,
Пошёл на риск большой, мог потерять здоровье!»

Гречеха помолчал и попросил нежданно
Понюшку табака у Подкоморья-пана.
Однако не спешил с концом повествованья,
Хотел он возбудить шляхетское вниманье.
Решился продолжать, увы! Рассказ прервали,
Хоть любопытнее его найдёшь едва ли!
Однако вызван был по делу пан Соплица,

С ним кто-то должен был не медля объясниться.
Сердечно распростясь, Судья ушёл в покои,
И гости разошлись улечься на покое, —
На сеновал и в дом. Судья, готов к приёму,
Просил приезжего направить прямо к дому.

Все в доме спят давно; Тадеуш гонит дрёму,
У дядиных дверей подобен часовому.
Он должен перед сном спросить его совета,
Не смеет постучать он, несмотря на это,
Дверь заперта на ключ. Идёт беседа глухо,
К замочной скважине он приставляет ухо.

Рыданья слышит он, и вот нетерпеливо
Заглядывает в щель и видит — что за диво? —
Судья и Робак ксёндз упали на колени
И плачут горестно, в сердечном умиленьи.
Ксёндз целовал Судью, не говоря ни слова,
И обнимал Судья монаха, как родного.
Вот в комнате слова неясно зазвучали,
Монах заговорил в волненьи и в печали:
«Таился я от всех, теперь открылся брату.
Я клялся на духу, за тяжкий грех в расплату
Отдать всего себя лишь богу и отчизне,
Не славе суетной, не обольщеньям жизни.
Хотел и умереть, как жил я, бернардином,
Не выдавать себя признаньем ни единым,
Ни пред тобою, брат, ни даже перед сыном!
Но настоятель ксёндз позволил пред своими
В предсмертный час открыть моё былое имя.
Кто знает, буду ль жив? Что ждёт меня в Добжине?

Мы пред великими событиями ныне!
Французы далеко, придут весной, не ране,
А шляхта, я боюсь, без них начнёт восстанье.
Быть может, виноват я сам чрезмерным рвеньем!
Гервазий спутал всё! Снедаем нетерпеньем,

В Добжин безумный Граф отправился, я слышал;
Я не догнал его, прискорбный случай вышел:
Матвей узнал меня! Лишь обо мне известье
До Ключника дойдёт, мне не уйти от мести.
Скажу по правде я: не смерть меня тревожит,
А то, что заговор со мной погибнуть может.
Но надо ехать мне в Добжин, из чувства долга, —
Ведь шляхте без меня и надурить недолго!
Прощай, мой милый брат! Зовёт меня дорога…
Что ж! Если не вернусь, лишь ты взгрустнёшь немного.
Доверил всё тебе; когда война случится,
Кончай, что начал я, и помни, ты — Соплица!»
Тут ксёндз отёр слезу, накрылся капюшоном
И ставни растворил он с шумом приглушённым,
В окошко выпрыгнул и побежал с пригорка.
Судья один сидел и долго плакал горько.

Тадеуш постучал и, подождав немного,
С поклоном дверь раскрыл и замер у порога:
«Мой дядюшка, — сказал, — те дни, что я в именьи
Провёл с тобою здесь, промчались как мгновенье:
Ещё и не успел я насладиться ими,
Но должен уезжать, расстаться со своими.
Решенье принято, отсрочки не хочу я;
Мы Графа вызвали, за дерзость отплачу я.
Я драться буду с ним, как мы того хотели,
Но только на Литве запрещены дуэли,
В Варшавском княжестве такого нет порядка;
Граф — фанфарон, но он не робкого десятка,
Со мною встретиться он пожелает тоже.
Померяемся с ним, и, с помощию божьей,
Я накажу его, а там — Лососна рядом, —
За нею встречусь я с повстанческим отрядом.
Отец мне завещал сражаться за свободу,
Хоть завещание то кануло, как в воду!»

«Что больно прыток ты? — спросил шутливо дядя,

Юлишь ты предо мной, в глаза мои не глядя,
И путаешь следы, как хитрая лисица!
Да, Графа вызвали и надлежит с ним биться,
А только для чего такая торопливость?
Приятелей пошлём, как в старину водилось,
Для объяснения. Граф извиниться может,
И время есть у нас. Не то тебя тревожит!
Вот разве что другой отсюда гонит овод?
К чему же хитрости? Представь правдивый довод!
Ведь с детских лет тебе отца я заменяю,
И хоть не молод я, но юность понимаю.
Мизинчик мне шепнул вчера, что не зеваешь
И с дамами уже ты шашни затеваешь!
Да, молодёжь теперь влюбляться стала рано…
Ну, что же! Не таись, откройся без обмана!»

Тадеуш прошептал: «Всё правда, но другую
Причину, дядюшка, открыть вам не могу я!
Я виноват в ней сам, шаг сделан мною ложный.
Ошибка! Но её исправить невозможно!
Не спрашивай меня, я не скажу ни слова,
Но должен сей же час покинуть Соплицово!»

«Ну! — дядюшка сказал, — любовная размолвка!
Ты чувствовал себя вчера не очень ловко,
На панну искоса глядел, — она молчала
И кислой миною твой каждый взгляд встречала.
Всё это глупости! Когда полюбят дети,
То ссорам нет числа! Забавны ссоры эти!
То дети веселы, а то, глядишь, суровы,
Бог весть из-за чего друг друга грызть готовы;
Врозь по углам сидят, самим себе не рады,
И разбегаются и ссорятся с досады.
Когда произошла у вас такая ссора,
То надо потерпеть, найдётся выход скоро.
Берусь уладить я любовные невзгоды, —
Все через них прошли мы в молодые годы,

Во всём признайся мне, и дам я обещанье, —
Услышишь от меня ответное признанье».
Тадеуш отвечал, в глаза ему не глядя:
«Открою правду я; понравилась мне, дядя,

Та панна Зосенька. Её я видел мало,
Всего два раза лишь, но в душу мне запала!
А дядя между тем мне сватает другую, —
Дочь Подкомория взять в жёны не могу я.
Красавица она, но всё же, ваша милость,
Как сердцу изменить, что Зосею пленилось!
С другою было бы венчаться мне не честно,
Уеду лучше я; надолго ль — неизвестно!»

Тут дядя речь прервал: «Ого, пример особый,
Когда любовь бежит возлюбленной особы!
Выходит хорошо, что сделал ты признанье.
Сам Зосеньку тебе хочу посватать, пане!
Ну, что ж не прыгаешь? Не радуешься, верно?»

Тадеуш отвечал: «Добры вы беспримерно,
Но не поможете своею добротою,
Затея ваша всё ж окажется пустою!
Ведь Зоси не отдаст мне пани Телимена!»
«Я упрошу её!»
«Нет! — отвечал мгновенно
Тадеуш. — Упросить её вам не удастся!
Нет, не могу я ждать, я должен отправляться!
У вас я, дядюшка, прошу благословенья
И с ним отправлюсь в путь сейчас, без промедленья!

Ус закрутил Судья и закричал сердито:
«Да, вижу, ты правдив, душа твоя открыта!
То поединок был, а то — любовь святая!
Отъезд и дальний путь — уловка не простая!
Ты — баламут, болтун и лгал ты страха ради!
Где был позавчера? Ну, отвечай-ка дяде!

Зачем ты по двору в глухую темь шатался?
О хитростях твоих давно я догадался!
Тадеуш! Если ты смутил сердечко Зоси
И нету совести в тебе, молокососе,
Заранее скажу: обман твой не удастся.
И прикажу тебе я с Зосей обвенчаться!
Пускай под розгами, но станешь на ковре ты!
О верности твердил, так выполняй обеты!

Нет! Не потатчик я твоей игре лукавой
И уши надеру тебе за это, право!
Сегодня целый день я не имел покоя,
А на ночь от тебя выслушивать такое!
Ступай-ка лучше спать, тебе не отвертеться!»—
И Возного позвал, чтоб он помог раздеться.

Тадеуш горестно побрёл по коридору;
Повесив голову, припоминал он ссору.
Впервые дядюшка бранился так жестоко!
Тадеуш сознавал всю правоту упрёка.
А если обо всём узнает Зося, боже!
Просить руки её? А Телимена что же?
Нет, — оставаться здесь Тадеушу не гоже!

Едва он несколько шагов прошёл в смятеньи, —
Возникло перед ним, казалось, привиденье;
Всё в белом, стройное, откуда? Что такое?
Приблизилось к нему с протянутой рукою.
И на руку луна отбрасывала тени.
«Неблагодарный! — так шепнуло привиденье. —
Искал ты глаз моих, теперь бежишь от взгляда!
Ловил слова мои, теперь и слов не надо!
Как зачумлённую, меня обходишь ныне!
Но так и надо мне! — доверилась мужчине!
Не мучила тебя и вот, себе на горе,
Я предалась тебе… Увы! Постыла вскоре!
Ты победил легко — и сердце зачерствело,

Легко добытое — легко и надоело!
Но так и надо мне! Научена уроком,
Я больше, чем ты сам, казню себя упрёком!»

Тадеуш отвечал: «Причина есть другая,
И сердцем я не чёрств, тебя не избегаю,
Но что подумают о нас, давай рассудим,
Коль на глаза вдвоём мы попадёмся людям?
Ведь неприлично нам грешить с тобой открыто».
«Грешить! — ответила она ему сердито, —
Невинное дитя! Я — женщина и всё же
Готова для любви всем жертвовать. О боже!
Я сплетен не боюсь! А ты, а ты — мужчина
Чтоб осудить тебя, какая есть причина?
Десятерых люби — не встретишь осужденья!
Меня бросаешь ты, — увы, — без сожаленья!»

Тадеуш возразил: «Скажи мне, Телимена,
Что станут говорить о юноше, отменно
Здоровом, холостом, живущем беззаботно,
Тогда, как молодёжь всем жертвует охотно,
Бросая жён, детей, уходит под знамёна?
Позор — не ехать мне без всякого резона!
И мой отец хотел, чтоб я служил уланом,
И дядя мой вполне согласен с этим планом.
Уеду завтра же, решенье неизменно.
Ей-богу, не могу остаться, Телимена!»
«Тадеуш! Я тебе препятствовать не вправе,
Не заступлю пути ни к подвигам, ни к славе!
Мужчина ты, найдёшь любовницу иную,
Красивее меня, богаче — не ревную!
Но пред разлукою хочу я быть счастливой,
Хочу увериться, что ты любил правдиво,
Что не шутил со мной жестоко и беспечно,
Но что любил меня Тадеуш мой сердечно!
Хочу из уст твоих «люблю» услышать снова,
И в сердце сохранить навеки это слово;

Когда разлюбишь ты, снесу я все страданья,
Лишь знать бы, что любил!» — Тут начались рыданья.

Тадеуш увидал, что грусть бедняжку точит,
Что мелочи такой она добиться хочет, —
И в сердце юноши проникли боль и жалость.
А если б он хотел узнать, что в нём скрывалось,
То верно бы и сам не разобрался в этом —
Любил ли; не любил? — Он поспешил с ответом:
«Пусть гром меня убьёт, не лгал я, Телимена,
А всей душой любил! Сознаюсь откровенно.
Хоть счастья нашего мгновенья были кратки,
Но для меня они так милы и так сладки,
Что вспоминать о них я постоянно буду,
И Телимены я, ей-богу, не забуду!»

Тут юноше на грудь упала Телимена:
«Я этого ждала, ты любишь неизменно!
Хотела жизнь пресечь я собственной рукою,
Не ты ли вверг меня в отчаянье такое!
Я сердце отдала, отдам тебе именье,
Вдвоём с тобой пойду в изгнанье и в сраженье!
Где б ни были вдвоём, хоть и в пустыне дикой, —
Повсюду счастье мы найдём в любви великой!»

Тадеуш вырвался из пламенных объятий:
«В уме ли ты? — сказал. — Вдвоём? С какой же стати?
Не маркитантка [24] ты! Ведь я иду солдатом!»
«Мы повенчаемся, отправишься женатым!»
Тадеуш закричал: «Нет, ни за что на свете!
Жениться не хочу! Оставь мечтанья эти!
Всё это выдумки! Дай мне покой! Ей-богу,
Прошу я об одном, пусти меня в дорогу!
Хоть благодарен я, но не могу жениться!
Люблю, но не хочу с тобой соединиться!
Уеду завтра же, остаться не могу я…
Прощай, благодарю за ласку дорогую!»

Уйти собрался он, избавясь от обузы,
Но стал, как вкопанный, пред головой медузы:
На Телимену он глядел не без смущенья:
Она бледна была, застыла без движенья!
Рука её мечом казалась занесённым,
Перст уличающий грозил глазам смущённым,
«Я этого ждала! — воскликнула со стоном, —
О сердце изверга! Змеи лукавой жало!
Ведь я из-за тебя достойным отказала:
Нотариус и Граф руки моей искали,
Ты ж сироту сгубил и бросил без печали!
Мужскую знала фальшь, знакома я со светом,
Не знала одного, как подло лжёшь при этом!
Я всё подслушала! Ты девочкою скромной
Пленился, обмануть затеял вероломно?
Едва лишь соблазнил одну, — в бесстыдном рвеньи
Под окнами другой ты ищешь приключенья!
Беги — не убежишь ты от моих проклятий!
Останься, — расскажу всем о твоём разврате!
Других не соблазнишь, как соблазнил меня ты,
Прочь, подлый человек! Прочь с глаз моих, проклятый!»
От оскорбления, язвящего как жало,
Слыхать которое Соплицам не пристало,
Тадеуш побледнел, глаза потупил хмуро,
И, топнувши ногой, сквозь зубы молвил: «Дура!»

Побрёл он, но в душе звенел укор жестокий.
Тадеуш знал, что им заслужены упрёки,
Что горе причинил он бедной Телимене,
Что справедливо был он уличён в измене.
Однако оттого милей она не стала;
О Зосе думал он, и сердце трепетало.
Казалась девушка уже недостижимой —
А дядя сватал их! Была б его любимой, —
Вмешался дьявол тут! Тадеуш соблазнился,
Запутался во лжи, а дьявол отстранился.

Всего два дня прошло, и вот уже злодей он!
Погибла будущность! Ужасный грех содеян!

В той буре чувств его мелькнула на мгновенье
О поединке мысль — единственном спасеньи:
«Я Графу отомщу, тому порукой шпага!»
Но мстить за что ему и сам не знал бедняга.
И гнев как занялся, так и погас мгновенно,
Тадеуш размышлял с печалью сокровенной:
Зачем же совершать ошибку роковую?
Быть может, к Графу я не попусту ревную,
Быть может, Зосенька дарит ему участье
И в браке с ним найдёт заслуженное счастье?
И сам несчастен я, и горе сею всюду, —
Чужому счастью я препятствовать не буду!
Он впал в отчаянье и помышлял уныло,
Что выход из беды единственный — могила!

В безумьи голову он охватил руками
И поспешил к прудам неверными шагами.
Дышал всей грудью он, там в глубине прохладной
Он взоры утопил, тянулся к ней он жадно,
Захвачен был шальным восторгом упоенья:
Самоубийство ведь, без всякого сомненья,
Есть род безумия; и юношу манила
Зелёная вода — холодная могила.
Его отчаянье смутило Телимену, —
Простив Тадеушу невольную измену,
Изменника она всем сердцем пожалела,
А сердце доброе красавица имела!
Хоть горько было ей, что любит он другую!
Хотела наказать, а не губить, ревнуя.
Вдогонку бросилась и закричала пану:
«Женись на Зосеньке, мешать тебе не стану!
Не то, так уезжай!» Но он не слышал зова,
Стоял на берегу средь шороха лесного.

По воле неба Граф с жокеями своими
В то время проезжал тропинками лесными,
Он зачарован был небесной глубиною,
Надводной музыки мелодией живою,
Звенящей арфами. Нигде на свете больше
Лягушки не поют так сладостно, как в Польше!
Граф придержал коня, забыл он о поездке
И слушал кваканье, журчание и плески,
Глядел на землю он, на небо, на берёзки,
И, верно, новые обдумывал наброски.
Картине подлинно мог всякий подивиться,
Глядели с нежностью пруды друг другу в лица;
Направо — светлый пруд своей водой прозрачной
Напоминал лицо прелестной новобрачной!
Зато налево пруд темнел под небом звёздным,
Казался строже он, с мужским лицом серьёзным.
Вкруг правого песок и золотой и нежный,
Как пряди светлые! Вкруг левого прибрежный
Густой тростник с лозой сплели подобье чуба,
И оба в зелени, — глядеть на них так любо!
Прозрачные ручьи сплетались словно руки
В одну струю, она спадала на излуке,
Но не могла пропасть в глубокой тьме оврага,
Ведь уносила свет её живая влага.
Вода сбегала вниз, подобная прибою,
Блеск месяца стекал за каждою струёю,
И, достигая дна, дробился в ней без счёта,
А струи падали стремительно, с налёта,
И сыпалась на них горстями позолота.
Не свитезянка[25] ли за дымкою тумана
Струила воду в ров из призрачного жбана,
И золото в овраг из фартучка бросала,
И тешилась, когда в воде оно мерцало?

Покинув тёмный ров, ручей смирял движенье,
Но по равнине всё ж видать его теченье, —
Недаром на его поверхности дрожащей

Лежал во всю длину луч месяца блестящий.
Точь-в-точь Гивойтос — змей[26], сверкающий и длинный,
Который будто спит в кустарниках долины,
Но видно издали по ярким переливам,
Что дальше он ползёт движением ленивым,
Так по пути ручей мелькал, таясь в ольшине,
Темневшей далеко, в лазоревой ложбине.
Неясным очерком, почти что невидимкой,
Как духи, скрытые до половины дымкой.

Стояла мельница внизу, в кустах зелёных,
Как старый опекун, что выследил влюблённых
И, тайный шёпот их подслушав, рассердился,
И головой затряс, и бранью разразился, —
Так затрясла теперь крылом, поросшим мохом,
Старушка мельница и пальцами со вздохом
Вдруг начала грозить, всердцах забормотала,
Вмиг замерли пруды — молчание настало,
От грёз очнулся Граф;
глядит не наглядится:
Тадеуш перед ним, попался, пан Соплица!
«К оружью!» — Граф вскричал, и тотчас налетела
Толпа на юношу; не разобрав, в чём дело,
Уже он схвачен был. Во двор вломилась клика,
И всполошились все от мала до велика.
Тут выбежал Судья, чтоб дать отпор разбою,
И Графа увидал нежданно пред собою.
«В чём дело?» — закричал. Граф поднял шпагу с жаром,
Но безоружного не поразил ударом.

«Соплица, — молвил он, — фамильный враг старинный,
Теперь ответишь мне за все былые вины!
За то, что посягнул ты на добро Горешков,
За оскорбления отмщу я, не помешкав!»

Судья, перекрестясь, сказал: «Во имя божье!
Да разве ваша честь разбойничает тоже?

Как совмещает пан с высоким положеньем
Разбой, который впрямь зовётся преступленьем!
Я не позволю вам!» Дворовые гурьбою
Сбежались с палками, уже готовы к бою.

Гречеха, времени на речи не теряя,
На Графа взглядывал, ножом своим играя.
Чтоб свалке помешать, пришлось Судье вмешаться
Враг новый близился, напрасно защищаться!
Ружейный выстрел вдруг раздался из ольшины,
И топот по мосту несущейся дружины,
И «Гей же на Соплиц!» неслось уже из лога…
Затрепетал Судья — узнал он Козерога!
Граф закричал ему: «Сдавайся, пан Соплица!
Со мной союзники, ты должен подчиниться!»

Асессор подбежал и крикнул возмущённо:
«Стоп! Арестую вас я именем закона!
Отдайте шпагу мне, не то придут солдаты!
Напали ночью вы, а значит, виноваты,
Указом тысяча двухсотым…» Но бедняга
Не кончил, по лицу его хватила шпага.
Асессор замертво упал. Всем показалось,
Что не очнётся он: погиб, какая жалость!
Соплица закричал: «Разбойник ты великий!»
Все зашумели тут, но, заглушая крики,
Вопила Зосенька испуганно спросонок,
К Судье на грудь она припала, как ребёнок.
Тут под ноги коня упала Телимена;
И руки подняла, белевшие, как пена,
А кудри чёрные чело её венчали.
«Злодей, где честь твоя? — воскликнула в печали,
Во имя Господа! Прошу я со слезами…
Ведь не откажешь ты в последней просьбе даме!
Жестокий! Порази нас первыми скорее!»
Упала в обморок. Склонился Граф пред нею,
Он соскочил с коня, смущённый этой сценой:

«О панна София! О пани Телимена!
Нет! Безоружных кровь не запятнает стали!
Соплицы, все теперь вы пленниками стали!
Так мне в Италии пришлось по воле рока
Бандитов окружить вблизи Бирбанте-Рокка [27];
С вооружёнными я расправлялся тут же,
А безоружных всех велел связать потуже, —
И увеличили они триумф заветный.
Повесили потом их у подножья Этны».

Соплицам повезло, что графский конь был лучший
Из всех других коней, помог счастливый случай!
Граф отомстить хотел им собственной рукою,
Он шляхту далеко оставил за собою,
Лакеи ехали за Графом вслед попарно —
Сравниться бы могли с пехотой регулярной,
А шляхтичи меж тем не медлили с расправой:
В восстаньях одичал характер шляхты бравой.
Граф холодней уже расценивал событья
И обойтись хотел он без кровопролития.
Поэтому Соплиц он запер, словно пленных,
Жокеям приказал стеречь их зорко в стенах.
Вдруг: «Гей же на Соплиц!» — и шляхта повалила,
Двор заняла она с несокрушимой силой,
Тем легче, что Судья в тюрьме был с гарнизоном.
Несутся шляхтичи потоком разъярённым,
Их не впускают в дом, спешат под сень фольварка,
Все ищут, биться с кем? Но вот на кухне жаркой
Лихие шляхтичи носами потянули —
Благоухание кастрюль они вдохнули,
Все захотели есть, вражда была забыта,
Горячий гнев остыл во славу аппетита.
Марш утомил людей, да и совет был трудный,
«Есть! Есть!» — заголосил отряд их многолюдный.
«Пить! Пить!» — откликнулись соратники ретиво,
Два хора грянули, согласные на диво!

Крик будоражит всех, ведь шляхте не до шуток,
У каждого давно заговорил желудок.
Тут шляхта бросила мушкеты и рапиры,
Как будто ратников сменили фуражиры.
Гервазия к Судье не подпустили даже,
Пришлось ему уйти при виде графской стражи.
Не мог он отомстить, все под замком сидели.
Но он не позабыл своей заветной цели
И Графа утвердить в правах хотел формально,
Чтоб совершилось всё по правилам, легально.
За Возным гнался он с уже готовой речью,
Покуда не нашёл Брехальского за печью,
За шиворот схватил и поволок за двери,
Приставил нож к груди, чтоб возбудить доверье.
«Пан Возный, просит Граф у вашей панской чести,
Чтоб огласили вы, как принято, на месте.

Ту интермиссию, что вводит во владенье
И замка, и полей, и целого именья.
Да что перечислять! Все cum graniciebus
Kmetonibus, scultetis, et omnibus rebus
Et quibusdam aliis [28] как знаете, долбите,
Не пропуская слов!» — «Постойте, не спешите! —
Гервазий отвечал, поглаживая пояс, —
Я позыв огласить готов, не беспокоясь,
Однако это акт без всякого значенья,
Понеже вынужден был силой принуждения!»
«Здесь нет насилия, — сказал Гервазий скромно, —
Я вежливо прошу, а если пану тёмно, —
Я посвечу «Ножом». Вмиг от огней весёлых
Засветится в глазах, как в девяти костёлах!»
«К чему, Гервазенька, со мной такой ты грозный? —
Протазий вопросил. — Я кто? Я — только возный!
В округе ведомо, что дел я не решаю,
Что продиктуют мне, то я провозглашаю!
Слуга закона я, не подлежу аресту,
Зачем «Ножом» меня приковываешь к месту?

Пусть принесут фонарь, в акт должен всё вписать я,
Теперь провозглашу: «Утихомирьтесь, братья!»

К плетню он подошёл, учтив и хладнокровен,
Чтоб все услышали, залез на груду брёвен,
Сушившихся в саду, и вдруг — как ветром сдуло,
Пропал он из очей; белея, промелькнула,
Как голубь белая, тулья конфедератки,
Он юркнул в коноплю и скрылся без оглядки.
Тут Лейка выстрелил, но не попал по цели,
Протазий в хмель залез, тычины захрустели,
Забрался в коноплю и крикнул: «Протестую!»
Он знал, погоня бы за ним была впустую!

Протест Протазия как залп последний грянул,
Защита сломлена, и враг на стены прянул,
И дворня, наконец, насилью уступила.
Всё шляхта грабила, что под рукою было:
Не тратя лишних слов, забрался в хлев Кропило,
Он закропил волов; кипела рядом битва —
Прирезал двух телят своею саблей Бритва,
А Шило шпагою работал их не хуже,

Он поразил свинью и кабака к тому же!
Увы! Уже резня гусиная настала!
Те гуси, что спасли когда-то Рим от галла,
Печально гогоча о помощи молили,
Не к Манлию [29] они, — в пасть Лейке угодили!
Он двух гусей живьём заткнул себе за пояс,
Гусыни шеями вертели, беспокоясь,
С шипеньем гусаки сновали под ногами…
Он, точно поднятый гусиными крылами,
Стремительно летал, осыпан белым пухом,
Казался Хохликом[30], ночным крылатым духом.

Во мраке птичника буянил Пробка хмурый,
И от руки его бесславно гибли куры.

Тащил с насеста он железными крючками
Хохлаток-курочек вослед за петушками,
Душил их тотчас же с повадкою суровой.
Вскормила Зосенька тех кур крупой перловой!
Эх, Пробка, дуралей! За это преступленье
Не вымолить тебе у Зосеньки прощенье!
Гервазий, вспомнивши о годах молодецких,
Тут пояса собрал от кунтушей шляхетских,
На этих поясах велел он из подвала
Бочонки притащить, как в старину бывало.
Бочонки шляхтичи охотно ухватили,
Как муравьи киша, их к замку покатили.
Расположился Граф со шляхтой там биваком,
Все дружно выпили (до водки всякий лаком),

Вот сто костров зажглось, румянится жаркое,
И ломятся столы: вино течёт рекою,
Пропить, проесть они хотят часы ночные,
Но начали дремать весельчаки хмельные,
Меж тем идут часы, за оком гаснет око,
И там, где кто сидел, тот спит уже глубоко,
Кто с чаркою в руке, кто водку в кружку вылил.
Так победителей — брат смерти — сон осилил! [31]

Книга девятая. БИТВА

Об опасностях, возникающих от беспорядка в лагере • Неожиданная помощь • Печальное положение шляхты • Прибытие квестаря предвещает спасение • Майор Плут избытком любезности навлекает на себя бурю • Выстрел из пистолета подаёт сигнал к бою • Подвиги Кропителя • Подвиги и опасное положение Матека • Лейка засадой спасает Соплицово • Конное подкрепление, атака на пехоту • Подвиги Тадеуша • Поединок вождей, прерванный изменой. -— Войский искусным манёвром решает исход боя • Кровавые подвиги Рубаки • Победитель Подкоморий проявляет великодушие.

Храпящих шляхтичей, могучим сном сражённых,
Не разбудил приход людей вооружённых,
Которые тотчас на них напали хищно, —
Так пауки на мух бросаются обычно
И обвиваются вкруг сонных жертв ногами;
Такие пауки зовутся косарями.
Увы! шляхетский сон мушиного похлеще!
Валялись шляхтичи, как трупы или вещи,
Хотя хватали их, как на току солому,
И, одного связав, шли тотчас же к другому.

Но Лейка, тот, что был кутилой самым рьяным,
И всех перепивал, не напиваясь пьяным,
По два антала пил и даже не шатался
Когда беседовал, язык не заплетался, —
Но Лейка удалец, хотя уснул глубоко,
А всё же приоткрыл сомкнувшееся око,
И что же увидал! — страшенные две рожи
Склоняются над ним, на всех чертей похожи,

Топорщатся усы — и четырьмя руками
Уроды шевелят, как будто бы крылами!

В испуге он хотел крестом оборониться,
Но к боку правому пригвождена десница!
А шуйца к левому! Тут понял он спросонок,
Что был он перевит, спеленут, как ребёнок!
Бедняк зажмурился — глаза бы не глядели!
Лежал ни жив ни мёртв, вздыхая еле-еле.

Кропитель вскинулся, увы! Он, как нарочно,
Был кушаком своим во сне обвязан прочно!
Напрягся, подскочил движением умелым,
Упал на шляхтичей своим могучим телом.
Как щука, бился он, а так как был здоровым,
То воздух оглашал медвежьим, зычным рёвом!
«Измена!» Рык его всех разбудил мгновенно,
Подхвачен всеми был: «Насилие! Измена!»

Разнёсся эхом крик и по зеркальной зале,
Где Граф с жокеями и с Козерогом спали;
Проснулся Козерог, но опоздал как раз он,
К рапире собственной был накрепко привязан!
Гервазий выглянул из-за своей рапиры,
Каскетки увидал, зелёные мундиры…

Один со шпагою и в поясе богатом
Клинком указывал на шляхтичей солдатам:
«Вяжи!», — он говорил иль что-то в том же роде.
Жокеи связаны, остался на свободе
Лишь безоружный Граф, с драбантами на страже.
Гервазий их узнал и содрогнулся даже, —
Да это ж москали!
Из этих оказий,
Бывало, выходил не раз, не два Гервазий,
Был опытен уже и знал он все уловки,
К тому же крепок был, рвал цепи и верёвки.
Представясь, что уснул, зажмурился Рубака,
Сам вытянулся он во всю длину, однако,
Втянул в себя живот Гервазий что есть мочи

И сжался, — вдвое вдруг он сделался короче!
Как будто длинный змей, в тугой клубок свернулся.
Гервазий воздуху набрал, как шар раздулся
И выпрямился вдруг, но не добился цели…
Верёвки скрипнули, однако уцелели.
Мопанку лёг ничком, не выдержав позора,
И как чурбан лежал, не поднимая взора.

Донёсся до него чуть слышно бубнов рокот,
Всё разрастался он, сливаясь в дробный грохот.
Дал офицер приказ оставить Графа в зале
Под стражей егерей, а шляхтичей, чтоб гнали
Во двор, где собралась уже другая рота…
Кропитель тщетно рвал проклятые тенёта!

Штаб во дворе стоял; там, захватив доспехи,
Другие шляхтичи, Бирбаши и Гречехи —
Приятели Судьи, сошлись не для потехи,
Услышав про наезд, на помощь поспешили
С Добжинскими они к тому же не дружили [2].

Кто москалей успел уведомить о бое?
Кто шляхте передал известие такое?
Асессор? Янкель ли? Есть разные рассказы,
Но правды не сказал о том никто ни разу!
Светило поднялось над хмурым небосклоном,
Алея по краям, сияния лишённым,
Диск отуманенный отсвечивал багрово,
Как раскалённая под молотом подкова.
Гнал ветер облаков ряд бесконечно длинный,
Как будто льдина шла за тающею льдиной
И на ходу дождём холодным проливалась,
Тут ветер налетал; всё вновь чередовалось:
Вслед ветру облака и дождик с небосвода…
День переменчивый, ненастная погода!

Вот приказал майор, чтоб сохнувшие брёвна

Собрали, продолбив отверстия в них ровно,
И ноги узников велел засунуть в дыры,
Сомкнув другим бревном, чтоб не ушли задиры!
Колодки скреплены, и шляхтичи забились,
Как будто в ноги их зубами псы вцепились!
Злосчастным пленникам назад скрутили руки,
Распоряженье дал майор — для пущей муки
Содрать у шляхтичей с голов конфедератки,

С плеч — кунтуши, плащи и даже тарататки.
Сидели шляхтичи с нахмуренными лбами
И выбивали дробь от холода зубами,
Хотя горячий стыд их прошибал до пота.
Кропитель тщетно рвал проклятые тенёта!

Судья просил за них, но было всё напрасно,
И Телимена с ним мольбы взносила страстно.
И Зося плакала, и было много криков…
Смягчился капитан храбрец Никита Рыков,
Хотел он выпустить шляхетство в ту минуту,
Но подчинялся сам — увы! — майору Плуту!

Майором был поляк из городка Дзерович[3],
Носил он польскую фамилию Плутович,
Но изменил её, отъявленный мошенник,
Так поступал кой-кто из-за чинов и денег.
Плут подбоченился, нос кверху задирая,
И с трубкою в зубах стоял, на фронт взирая.
Желая показать, что он разгневан сильно,
Он к дому повернул и задымил обильно.

А дома Рыкова задобрил пан Соплица,
Уже с Асессором успел он сговориться,
Как шляхтичей спасти от этакой напасти,
А главное, как скрыть беду от царской власти.

Майору капитан в беседе откровенной

Сказал: «Какой нам: прок от этой шляхты пленной?
Хотя военный суд накажет шляхту строго,
Майор от этого не выгадает много.
Не лучше ли с Судьёй уладить всё без спора?
Конечно, наградит Судья за труд майора!
Мы дело замолчим, всё выйдет шито-крыто:
И овцы целые, и волки будут сыты!
Пословица гласит: «Всё можно — осторожно!»
Не пахнут денежки, пословица неложна!
Ещё пословицу привёл бы вам в угоду:
«Кто узел завязал, концы бросает в воду!»
Мы дело замолчим, не выдаст и Соплица.
«Когда дают — бери», — у русских говорится!»
Майор рассвирепел и покраснел багрово:
«Ты, Рыков, ошалел! А служба-то царёва!
А служба, говорят, не дружба, Рыков старый,
Бунтовщиков смирить пристало грозной карой.
Война предвидится. Попались мне, поляки!
Я научу теперь вас бунтовать, собаки!
Добжинцы! Знаю вас! Эге, как вас припёрло!
Помокните! — Майор смеялся во всё горло.—
Тот шляхтич в кунтуше, что там сидит подале, —
Содрать с него кунтуш! Недавно в полной зале
Сам приставал ко мне, он первый начал ссору,
В лицо мне закричал: «Что надобно здесь вору?»
А в кассе полковой покража приключилась,
Я был под следствием, да что, скажи на милость,
Ему до этого? Назвал меня он вором…
«Ура!» — Добжинские все подхватили хором.
А что? Попались мне! Кто был зачинщик ссорам?
Я вас предупреждал: «Бычку быть на верёвке».
Ага, Добжинские, вас не спасут уловки!»

Потом шепнул Судье с улыбочкой кривою:
«Когда захочешь, пан, закончить мировою,
Давай по тысяче за каждого шляхтюру,
По тысяче, Судья, не то сдеру с них шкуру!»

Судья просил его напрасно об уступке,
По дому бегал Плут, пуская дым из трубки,
Пыхтел он, как меха, дымил он, как ракета,
И слёзы женские оставил без ответа.

«Военный суд, — сказал Судья майору Плуту, —
Накажет штрафом их, по вашему статуту[4],
Ведь боя не было. Чего же тут лукавить?
Что шляхта съела кур, беда не велика ведь!
Я знаю, шляхтичи отделаются штрафом,
Судиться ни за что я сам не стану с Графом!»

«А Книга Жёлтая? [5] — таков ответ был Плута, —
Про Книгу пан забыл? Она важней статута!
Ведь что ни слово в ней — Сибирь, петля да пытки.
Там наказания имеются в избытке!
Оглашены уже военные уставы.
Долой ваш трибунал! Теперь иные нравы!
За эту самую разбойничью проказу
Отправятся в Сибирь добжинцы по указу!»
«Обжалую! — сказал Судья. — Есть губернатор!»
«Обжалуй! Не спасёт их даже император! —
Ответил Плут. Когда царь утверждал указы,
Удвоить строгости ещё давал приказы!
Обжалуй! Я крючок нашёл уже заране,
И на него смогу поддеть и вас, мосьпане!
Мы знаем Янкеля как злостного шпиона,
А он в корчме твоей скрывался от закона!
Знай, если захочу, — всех арестую сразу!»
«Меня? — вскричал Судья. — Как смеешь без приказу?»[6]
Беседа б их дошла до бешеного спора,
Однако новый гость подъехал к дому скоро.

Въезд шумный, странный был: шёл посреди дороги,
Как скороход, баран могучий, круторогий;
Два рога завитком сгибались над ушами
И были убраны наславу бубенцами,

Другие два со лба по сторонам торчали,
Бубенчики на них качались и бренчали.
Тянулся скот за ним, шли козы быстрым ходом,
Давая путь большим, наполненным подводам.
Въезд квестарский, никто не мог бы ошибиться!
Учитывая долг хозяина, Соплица
К порогу поспешил с приветливым поклоном.
Ксендза узнали все, хотя он капюшоном
Прикрыл лицо своё и погрозил воякам,
Призвав к терпению их молчаливым знаком.
И Матек узнан был, хоть был переодетым,
И быстро промелькнул за квестарем при этом.
Но раздались ему навстречу восклицанья.
«Глупцы!» — промолвил он и подал знак молчанья.
За ними ехал вслед Пруссак в одежде старой,
И Зан с Мицкевичем спешили дружной парой.

Собраться во дворе тем временем успели
Бирбаши, Вильбики, Подгайские, Бергели;
Добжинских увидав, узнав, что с ними сталось,
Соседи тотчас к ним почувствовали жалость.
Шляхетство польское всегда готово к драке,
Зато отходчивы, не мстительны поляки.
Позвали Кролика, собравшись всем народом,
А Кролик им велит скорей идти к подводам
И ждать велит.

Меж тем монах вошёл в покои…
Как изменился он! Лицо совсем другое!
Смиренен прежде был, теперь держался гордо,
Нос кверху задирал и выступал он твёрдо,
Монах отчаянный! Сказал он: «Ну, потеха! —
Казалось, продолжать не мог уже от смеха. —
Здорово! Ха, ха, ха! Увидел я воочию,
Что вы, друзья мои, охотитесь и ночью!
Пожива славная! Свежуйте-ка шляхтюру!
Я видел ваш улов, ну, ну! Дерите шкуру!

Чтоб не брыкались тут, взнуздать без разговора!
Эге, да здесь и Граф! Поздравлю с ним Майора!
Граф золотом набит, к тому же из магнатов,
Не выпускать его без сотен трёх дукатов!
А как получишь их, пожертвуй мне немного,
Я буду за тебя молить смиренно бога!
Все души грешные — забота бернардина.
Военных косит смерть, как штатских, всё едино!
Ведь Бака говорил, что смерть — точь-в-точь собака[7]
Кусает москаля, кусает и поляка,
В кафтане поразит, в сутане, на подушке,
Солдату в брюхо даст, магнату — по макушке!
И впрямь, бабуля-смерть похожа на цибулю,
Пробьёт она слезу, да и покажет дулю!
В усадьбе унесёт, на свадьбе влепит пулю!
Сегодня живы мы, а завтра — околели,
И наше только то, что выпили да съели!
Не время ли к столу просить нас, пан Соплица?
Уселся я уже и всех прошу садиться!
Хотите зраз, майор, и пунша на придачу,
Ведь надо спрыснуть нам как следует удачу!»

Майор сказал: «И то, для очищенья крови,
Я пунша выпил бы за панское здоровье!»

Дивили сопличан манеры бернардина.
Откуда бы взялась весёлости причина?
Но всё-таки пришлось Судье распорядиться:
Ром, сахар, зразы, всё велел подать Соплица.
Майор и капитан уписывали мясо
И попивали пунш. В теченье получаса
Приели двадцать зраз, и чаша опустела,
Так ревностно взялись военные за дело!

Майор повеселел за пуншем разогретым.
И трубку запалил он банковым билетом,
Салфеткой вытер рот и, не вставая с кресел,

На женщин бросил взгляд — майор был сыт и весел!
Сказал он: «Как десерт вас обожаю, панны,
Вы после сытных зраз особенно желанны!
Да, после вкусного, обильного обеда,
Что может лучше быть, чем дамская беседа!
Хотите ли сыграть со мною робер виста?
Мазурку поплясать? Такого мазуриста
Не сыщете нигде, хоть вёрст пройдёте триста!»
И вместе с хвастовством, ничем не удержимым,
Дам комплиментами он потчевал и дымом.

Ксёндз закричал: «Плясать! От вас я не отстану!
Хотя и квестарь я, а подберу сутану!
Я тоже мазурист! Майор, вы виноваты;
Мы пьём, а во дворе продрогшие солдаты!
Гулять, так всем! Судья, поставь им бочку водки!
Майор не запретит, пускай промочат глотки!»
«Прошу! — сказал майор. — Согреет их сивуха!»
«Дай спирту!» — ксёндз шепнул Соплице прямо в ухо.
Штаб тешился в дому беседою за ромом.
Пока у егерей попойка шла за домом.

В молчаньи Рыков пил, майор другое дело,
Он пил, за дамами ухаживая смело.
Вот захотел плясать и, не сбавляя тона,
Вдруг Телимену он схватил непринуждённо,
Но вырвалась она. Плут Зосю звал на танец,
Шатался и кричал, как водится у пьяниц:
«Эй, Рыков, брось дымить! Мазурку нам сыграй-ка!
В руках твоих горит любая балалайка!
А здесь гитара есть! — Он подошёл к гитаре, —
Мазурку, Рыков, шпарь! Пройдусь я в первой паре!»
Гитару Рыков снял и занялся настройкой,
Вновь к Телимене Плут пристал с беседой бойкой:
«Я пани поклянусь! Не быть мне дворянином,
Когда я ей солгу, а быть собачьим сыном!
Но если, пани, мне вы не даёте веры,

Спросите в армии, вам скажут офицеры,
Что в армии второй есть в корпусе девятом,
Второй дивизии в полку пятидесятом,
Плут, егерский майор, в мазурке первый самый!
Пойдёмте танцевать! Не будьте столь упрямой,
Не то вас накажу с отвагой офицерской».

Тут Телимену он схватил рукою дерзкой
И чмок её в плечо! Едва поверив слуху,
Тадеуш закатил майору оплеуху!
За звуком новый звук последовал так скоро,
Как будто реплика на тему разговора.

Майор остолбенел: «Бунт! — крикнул он. — Измена
И, шпагу выхватив, хотел отмстить мгновенно.
Ксёндз вынул пистолет, на эту сцену глядя,
И подал юноше: «Стреляй в майора, Тадя!»
Тадеуш выстрелил в лицо майору Плуту,
Но только оглушил майора на минуту.
«Бунт!» — Рыков закричал и бросился с гитарой
К Тадеушу. Но тут вмешался Войский старый.
Взмахнул рукою он, и «Нож» взлетел, как птица,
Тогда лишь заблестев, когда успел вонзиться
В гитару, — дно пробил, но капитан нагнулся
И смерти избежал, едва лишь увернулся!
В тревоге крикнул он: «Солдаты, бунт, ей-богу!»
И, шпагу обнажив, приблизился к порогу.

А в окна шляхтичи уже ломились кучей,
Всех впереди Забок был с Розгою могучей.
Плут в сени, Рыков с ним, зовут солдат: «Засада!»
На помощь трое к ним стремглав бегут из сада,
Перед окном уже мелькают их фигуры,
Каскетки и штыки у самой амбразуры.
Но Матек с Розгой был на страже за дверями,
Ждал, словно кот мышей, он встречи с егерями,

Три головы бы снёс, так замахнулся грозно,
Но то ли поспешил, а то ль ударил поздно,
И Розга стукнула с размаха по каскеткам —
И сбила только их, хотя удар был метким!
Осталось егерям одно лишь — отступление.
Бегут они во двор. А во дворе смятенье!
Сторонники Соплиц Добжинских выручали,
Развязывали их, колодки с ног сбивали;
Вмешались егеря, и завязалась драка…
Сержант Подгайского проткнул, упал вояка!
Поранил двух ещё задорный победитель,
Но руки вызволил из крепких пут Кропитель
(Сражение вблизи него происходило).
Он, руку сжав в кулак, с несокрушимой силой
Ударил по хребту сержанта-исполина,
Прибив лицо его к затвору карабина;
Кровь порох залила, и выстрел не раздался,
У ног Кропителя лихой сержант остался.
Кропитель карабин тотчас схватил за дуло,
И, как кропилом, им махал в чаду разгула:
Двух егерей свалил, — им по плечам попало, —
И голову разбил отважного капрала.
Смутились егеря, а он стоял всех выше,
Шляхетство осенив вращающейся крышей.

Колодки сломаны. Добжинцы всем народом
Бегут к нагруженным, вместительным подводам.
Рапиры, палаши и косы с тесаками,
Что хочешь, загребай обеими руками!
Всё больше егерей, сбегаются толпою, —
Не могут шляхтичи построиться для боя.
И тесно егерям стрелять из карабинов,
Сталь лязгает о сталь, противника не сдвинув.
Стучит по сабле штык, скользя по рукояти.
Вплотную борются враждующие рати.

С остатком егерей добрался Рыков скоро

До риги брошенной, стал около забора
И крикнул егерям, что отступить им надо,
Сражаться в тесноте не следует без лада!
Сердился он, что сам открыть огня не может,
Боялся, что своих, а не врагов уложит.
«Постройтесь!» — закричал своим солдатам Рыков…
Увы! Затерян был его призыв средь криков!

Не мог старик Матвей сражаться в рукопашной,
И расчищал он путь своею Розгой страшной,
Торчащие штыки сбивая с карабинов,
Как бы нагар со свеч, шёл, голову откинув,
Рубил наотмашь он, прокладывал дорогу
И к полю, наконец, пробрался понемногу.

Но вот он увидал нежданно пред собою
Ефрейтора. То был великий мастер боя!
К Забоку он спешил неслышными прыжками
И карабин держал обеими руками:
У спуска левая, а на стволе — другая,
Волчком крутился он, внезапно приседая.
Вот руку снял с замка и, не смутясь нимало.
В лицо Матвея штык хотел вонзить, как жало,
Но снова отступил он во мгновенье ока.
И так, лавируя, атаковал Забока.

Проворство оценил, как должно, Матек старый,
Ефрейтора он счёл себе достойной парой;
Надев на нос очки и с Розгой наготове,
Забок следил за ним, нахмуривая брови,
Вдруг пошатнулся он, прикидываясь пьяным,
Ефрейтор подскочил, он был рубакой рьяным,
И в предвкушении победы вожделенной,
Тут руку вытянул во всю длину мгновенно!
Пихая карабин, он так вперёд тянулся,
Что сам под тяжестью удара перегнулся.
Подставил рукоять ему старик под дуло,

Где штык привёрнут был — и штык как ветром сдуло!
Тут Розгой по руке Забок его ошпарил,
С размаха по щеке ефрейтора ударил,
Ефрейтор наземь пал, а фехтовал едва ли
Не лучше всех в полку, имел кресты, медали…
Победа близилась, и у колодок слева
Кропитель действовал. Он был исполнен гнева.
Мелькал средь егерей и Бритва, грозный мститель,
Врагов он бил в живот, по головам — Кропитель.

Орудуя вдвоём, врагов крушили пылко,
Точь-в-точь немецкая машина молотилка:
И жнейка вместе с тем, в ней цеп и нож — всё вместе,
Что только ни сожнет, смолотит здесь на месте.
Лупили егерей приятели исполу:
Один валил о горы, другой крушил их с долу.
Победой пренебрёг для Матека Кропитель,
Не мог он вытерпеть, как равнодушный зритель,
Что старый Матек был в опасности великой:
Напал на Матека поручик с длинной пикой,
Был и топор на ней. Подобную найдёте
В теперешние дни, пожалуй, лишь во флоте,
Но в старину она водилась и в пехоте.
Поручик молод был, атаковал он с жаром,
Не мог его Забок настичь своим ударом:
Ведь трудно старику за юношей угнаться,
Пришлось не нападать, а только защищаться!
Поручик пикою сперва задел Матвея,
Потом занёс топор, чтоб кончить поскорее.

Кропитель, пробежав едва лишь полдороги,
Швырнул поручику своё ружьё под ноги;
Кость хрустнула, топор рука не удержала…
Тут на поручика вся шляхта набежала,
Но слева егеря бегут уже гурьбою.
Пришлось Кропителю приготовляться к бою,
Спасая Матека, остался безоружным, —

И вот он изнемог под нападеньем дружным!
Два дюжих егеря вцепились в космы разом,
Четыре пятерни его тянули наземь;
Как тянут мачту вниз упругие канаты,
Тянули вниз его повисшие солдаты,
И не уйти б ему, когда б ещё немного,
Но к счастью своему, увидел Козерога.
«На помощь! — закричал, — Мопанку! «Перочинный!»
Тут выказал себя Гервазий молодчиной,
Над головой его блеснув мечом с размаха.
Два дюжих егеря попятились от страха,
Но вопль отчаянья послышался мгновенно, —
То пятерня одна не выбралась из плена,
Повисла в волосах, кровь хлынула багрово.
Так когти выпустит сова в хребет косого,
Другою лапою она в сосну вонзится,
Чтоб зайца удержать, — косой рванёт, и птица
Разодрана косым; он мчится с частью правой,
А левая висит, роняя ток кровавый.
Кропитель принялся везде искать Кропило,
Однако на земле его не видно было!
Расставил ноги он, окинув битву оком,
Сжал руки в кулаки у Матека под боком.
Вдруг в давке увидал он Пробку ненароком!

А Пробка целился уже из карабина,
В руке его была огромная дубина,
С кремнями острыми под грубою корою[8]
(Кропитель с лёгкостью вертел её рукою!)
Едва увидел он заветное Кропило,
Расцеловал его, — так было сердцу мило, —
И стал разить врагов с удвоенною силой.
А скольких сокрушил с дубиною в союзе, —
Того не расскажу, ведь не поверят Музе!

Так бедной женщине не верили мы сами,
Которая, придя молиться к Острой Браме,

Воочью видела, как с казаками Деев
К воротам подступил. Казацкий полк рассеяв,
Спас город мещанин, какой-то Чернобацкий[9],
Он Деева убил и полк разбил казацкий.

Как Рыков ожидал, всё вышло очень плохо:
Отважных егерей сгубила суматоха,
И было наповал до двадцати убито,
А тридцать ранами тяжёлыми покрыто;
Кто спрятался в саду, а кто ушёл за реку,
Иные к женщинам попали под опеку.

Шляхетство, победив, взялось за водку живо,
Развеселила их богатая Пожива.
Лишь Робак, как всегда укрытый капюшоном,
В сраженье не вступал — запрещено каноном!
Распоряженья он давал спокойным тоном
И обходил плацдарм, сраженье озирая,
Да взглядом и рукой шляхетство ободряя.
Вот отдал он приказ, чтоб шляхтичи спешили
Напасть на Рыкова, победу б завершили!
Меж тем он к Рыкову послал парламентёра
И предложил ему оружье сдать без спора;
Помиловать его он обещал за это
Иль уничтожить всех, когда не даст ответа.

Но Рыков не хотел выпрашивать пардона.
Собрав вокруг себя остаток батальона,
«К оружью!» — крикнул он. Все карабины взяли
И, приготовившись, команды новой ждали.
«Рассеянный огонь!» — промчалось над рядами.
Был тотчас же приказ исполнен егерями:
Тот целился, а тот стрелял из карабина,
Свист пуль и треск курков сливались воедино;
Казалось, что отряд был движущимся гадом,
Который шевелит ногами, брызжа ядом.

Признаться, егеря порядком пьяны были,
От этого они нередко мимо били,
Но всё ж им удалось свалить двоих Матвеев
И ранить одного из трёх Варфоломеев.
Но было штуцеров не более десятка
У шляхтичей, они стреляли без порядка,
А сабли обнажить им старшие не дали;
И пули, как назло, хлестали, и хлестали,
Весь двор очистили и зазвенели в рамах.

Тадеуш должен был заботиться о дамах,
Не покидая их; не утерпел он вскоре
И выскочил во двор, а следом Подкоморий.
(Принёс-таки палаш ему ленивый Томаш.)
Старик хотел прийти скорей к своим на помощь,
И тотчас шляхтичей увлёк он за собою;
Солдаты встретили их бешеной пальбою.
Так Бритва ранен был и Вильбик с ним бок о бок.
Но шляхту удержал от наступленья Робак,
И старый Матек с ним! Шляхетство отступило,
А егерям успех ещё подбавил пыла.

Тут Рыков захотел последнею атакой
Всем домом завладеть и тем покончить с дракой.
Он закричал: «В штыки!» Солдаты, как шальные,
Помчались, выдвинув вперёд штыки стальные.
Сгибая голову, всё прибавляли шагу.
Напрасно шляхтичи удвоили отвагу.

Шеренга полдвора прошла, врагов размыкав, —
Тут, шпагой указав на двери, крикнул Рыков:
«Я дом велю поджечь и вас огнём ошпарю!»
«Жги! — отвечал Судья, — а я тебя зажарю!»

Но если уцелел старинный дом почтенный,
И в зелени листвы сияет, белостенный,
И собираются, как прежде, в час обеда

Соседи-шляхтичи у доброго соседа, —
За Лейку пьют они, затем, что, право слово,
Без Лейки бы давно погибло Соплицово!

Хоть Лейка раньше всех свободен стал, однако
Не проявил себя ничем ещё вояка,
Он, правда, тотчас же нашёл своё оружье,
И отыскал он пуль достаточно к тому же,
Но биться натощак героя не прельщало,
К бочонку спирта он направился сначала;
Оттуда пригоршней он черпал, точно ложкой,
И, жажду утолив, пришёл в себя немножко:
Широкогорлую проверил одностволку
И порох тщательно насыпал он на полку.
Когда же, наконец, увидел пред собою,
Как гонят шляхтичей штыки волной стальною, —
Наперерез волне поплыл, в траве ныряя,
Забрался далеко — трава была густая!
Среди двора залёг в укромном, тихом месте
И Пробку поманил, чтоб действовать с ним вместе.

На страже Пробка был, как дуб несокрушимый,
У милой Зосеньки, неверной, но любимой!
Хотя отвергнут был, но для её защиты
Готов был умереть, как рыцарь знаменитый!

В крапиву забралась недремлющая рота.
Тут Лейка спуск нажал и, как из водомёта,
Полил свинцовый дождь, подбавил Пробка града,
Смешались егеря, поражены засадой;
Пустились наутёк, о раненых забыли,
Пришлось Кропителю подумать о Кропиле!

Но Рыков егерям не дал уйти далеко.
Завидя огород о оградою высокой,
Он роту удержал и тотчас перестроил,
Шеренгу длинную он в треугольник строил:

Клин выставил вперёд — надёжною опорой,
Меж тем бока его пристроил у забора.
Стратегия сия изобличала опыт
Затем, что тотчас же донёсся конский топот;
Граф взаперти сидел, но убежали стражи,
Дворовых на коней он усадил тогда же,
Понёсся впереди, со шпагой занесённой,
Тут Рыков загремел: «Огонь! Полбатальона!»
Блеснуло по стволам багряное монисто,
Из воронёных дул ударило пуль триста!
Убито четверо, а пятый окровавлен,
Граф на земле лежал, своим конём придавлен.

Мопанку бросился, чтоб выручить из свалки
Горешково дитя, хотя родство по прялке!
Но Графа бернардин прикрыл могучим телом
И встать ему помог движением умелым;
Шляхетству приказал, чтоб не стреляли кучей,
А расступились бы и целились бы лучше,
Попрятались за тын и за колодец тоже;
Он Графа с конницей просил нагрянуть позже.

Недаром отдавал приказы полководец:
Тадеуш тотчас же укрылся за колодец,
Он метким был стрелком и на лету монету
Мог надвое рассечь на удивленье свету.
Прилежно целился, по чину выбирая.
Сперва фельдфебеля — стоял он первым с края,
Потом сержантов двух; стреляя не без толку,
Он метил в галуны, подняв свою двустволку!
Сердился капитан, не мог он дать отпора;
Ногами топая, окликнул он майора:
«Майор, — нельзя же так, — всердцах сказал он Плуту, —
Всех командиров чёрт убьёт через минуту!»

Плут закричал стрелку: «Ты доблестный вояка,
Зачем же прячешься за деревом однако?

Когда не трусишь ты, в бой выходи открыто!»
Тадеуш отвечал майору ядовито:
«Ты прячешься зачем, майор, за егерями?
Коль так отважен ты, сражайся не словами!
Что проливать нам, кровь? Давай-ка по старинке
Мы ссору разрешим с тобой на поединке!

Оружье выбирай, от палки и до пушки,
Не то вас перебью, как зайцев на опушке!»
Чтоб доказать, что нет в словах его обмана,
Убил поручика вблизи от капитана.

Тут Рыков капитан сказал, набравшись духу:
«Расчесться должен ты, майор, за оплеуху!
Ведь если шляхтича любой из нас уложит,
То никогда майор пятна отмыть не сможет!
Нам надо выманить его из-за колодца,
Убить иль заколоть, как выйдет, как придётся!
«Штык вправду молодец, — говаривал Суворов, —
А пуля дура ведь!» Ступай, майор, без споров,
И впрямь нас перебьёт, как зайцев, целит ловко».

«Ах, Рыков, — Плут сказал, — есть у тебя сноровка.
Пошёл бы за меня! А, впрочем, можно тоже
Поручика послать из тех, кто помоложе!
Нельзя мне драться с ним, то было б незаконно,
На мне ответственность за целость батальона!»
Поднялся капитан, махая белым флагом,
Он прекратил огонь и вышел твёрдым шагом.
Согласен был избрать оружие любое, —
И шпаги выбрали противники для боя.
Пока для юноши разыскивали шпагу,
Граф выступил вперёд и закричал: «Ни шагу!
Прошу прощения у дорогого пана,
Майора вызвал пан, я вызвал капитана!
Он в замке натворил немало безобразий!»
«Положим, замок наш!» — всердцах прервал Протазий.

Граф продолжал своё: «Он, первый из злодеев, —
Узнал я Рыкова! — перевязал жокеев!
Я проучу его, как проучил жестоко
Бандитов матёрых вблизи Бирбанте-Рокка!»

Замолкли выстрелы, все ожидали встречи
Двоих противников, готовых к грозной сечи;
Вот Граф и капитан уже идут по кругу,
Рукою правою они грозят друг другу,
А левою спешат снять шапки для приветствий,
Учтиво кланяясь. (Таков обычай чести:
Сперва приветствовать, потом рубить жестоко.)
Вот сабли скрещены, противники с наскока
Друг к другу бросились, припали на колено,
И наступали вновь они попеременно.

Меж тем, Тадеуша увидя перед фронтом,
Договорился Плут с лихим сержантом Гонтом [10]
(Всех лучше Гонт стрелял, за что был награждаем)
«Гонт, если справишься ты с этим негодяем,
Пробьёшь в груди его отверстие пошире,
Получишь от меня за труд рубля четыре!»

Гонт поднял карабин, прельстился он наживой.
Товарищи его от пуль укрыли живо.
Хоть метил не в ребро, а в голову, однако
Он только шапку снёс с отважного поляка,
И покачнулся тот, раздался крик: «Измена!»
Кропитель ринулся на Рыкова мгновенно,
Едва беднягу спас Тадеуш от Кропила,
Ретировался тот, не то бы худо было!

Добжинские опять с Литвой в согласии были,
Свои давнишние размолвки позабыли,
Сражались рядышком, друг друга поощряя.
Добжинцы, увидав Подгайского у края,
Что егерей косил налево и направо,

Вскричали радостно: «Виват, Подгайский! Браво!
Вперёд, литвины! Так! Ну, выиграна битва!»
Сколуба, увидав, как мужественный Бритва,
Который ранен был, рубил ещё живее,
С восторгом закричал: «Да здравствуют Матвеи!
Мазуры молодцы!» С отвагой молодецкой
Крушили всех они одной семьёй шляхетской.

Покуда фронт ещё удерживала рота,
Пробрался Войский в сад, видать, затеял что-то,
Недаром рядом с ним шёл осторожный Возный,
Выслушивая план таинственный и грозный.
Стояла сырница у самого забора,
Здесь треугольник свой построил Рыков скоро.
Казалась сырница обширной, ветхой клеткой;
Из балок, связанных крест-накрест, кладки редкой,
Сквозь щели кое-где круги сыров светились,
Снопы пахучих трав под крышею сушились —
Шалфей, анис, ревень, чесночные головки.

Ну, словом, здесь была аптека Соплицовки,
Диаметром она в полчетверти сажени,
Но на одном столбе держалось всё строенье!
Как аиста гнездо! Подгнил и столб дубовый,
Который был всего строения основой.
И расшатался столб, подточенный столетьем,
Давно уже Судья был озабочен этим,
Хотел он сырницу на новый столб поставить,
Но не ломать её, а только лишь поправить,
Однако времени не находил, покуда
Кой-как подпёр её, чтоб не случилось худа.
Вот эта сырница, без прочного упора,
Над треугольником свисала у забора.

Гречеха с Возным шли в молчании кустами,
Вооружённые, как пиками, шестами.
Вслед экономка шла по конопле дремучей

И кухонный мужик, здоровый и могучий!
Пришли, упёрлись в столб тяжёлыми шестами
И тяжестью своей на них повисли сами;
Так сплавщики плоты от берега толкают,
На длинные шесты прилежно налегают.
Столб хрустнул, сырница свалилась, как лавина,
И роту егерей смешала воедино:
Где треугольник был, — лежали трупы, брёвна,
Да круглые сыры, окрашенные словно
То кровью красною, а то и мозгом серым.
Уже на егерей несётся Граф карьером,
И Розга их сечёт, орудует Кропило,
Шляхетство со двора толпою повалило.

Лишь восемь егерей сражаются упрямо.
Гервазий выскочил и стал пред ними прямо,
И восемь дул ему глядели в лоб, — Рубака
Свой «Перочинный нож» уже занёс, однако,
Увидя это, ксёндз перебежал дорогу
И тотчас бросился под ноги Козерогу.
Раздался дружный залп, промчались пули мимо
Гервазий на ноги поднялся в туче дыма,
Хватил двух егерей железною дубиной,
Другие прочь бегут, за ними «Перочинный»!
Они бегут двором, по их следам Гервазий,

Вбегают на гумно, и в боевом экстазе
Мопанку на плечах противников ворвался
И в темноте исчез, хотя не унимался:
Из мрака слышались и вопли и удары,
Но вот затихло всё, и вышел Ключник старый
С кровавым «Ножиком».

Шляхетство ликовало
И раненых бойцов на месте добивало.
Но Рыков всё ещё рубился на просторе,
Хотя и был один. Тут вышел Подкоморий.

Он, палашом взмахнув, промолвил важным тоном:
«Не запятнаешь ты оружия пардоном,
Дав мужества пример и выказав отвагу,
Но победителям отдать ты должен шпагу!
Никто не посягнёт на жизнь и честь мосьпана,
Я пленником своим считаю капитана!»

Тут Рыков тронут был его достойной речью,
И шпагу отдал он, шагнув к нему навстречу.
(Была она в крови до самой рукояти.)
«Собратья ляхи, — так промолвил он, — некстати
Без пушки были мы! Наказывал Суворов
Без пушек не ходить на ляхов, знал ваш норов!
Во всём виновен Плут, он допустил до пьянства,
Не то бы егеря перестреляли панство.
Он командир, с него и взыщет царь сурово.
Я, ляхи, вас люблю, даю вам в этом слово!
И как вас не любить? „Люби дружка, как душу,
Пословица гласит, — тряси его, как грушу!“
Сражаться рады вы и пить непрочь, камрады!
Для пленных егерей прошу у вас пощады!»

Не отказал ему довольный Подкоморий,
Протазий огласил указ о пленных вскоре:
«Всем раненым помочь, потом очистить поле
И егерей взять в плен, не добивая боле».
Искали шляхтичи Плутовича майора,
В крапиве он залёг и найден был нескоро;
Узнав, что кончен бой, покинул двор соседний,
И тем окончился в Литве наезд последний! [11]

Книга десятая. ЭМГИРАЦИЯ. ЯЦЕК

Совещание о том, как бы спасти победителей • Переговоры с Рыковым • Прощанье • Важное открытие • Надежда

Слетались на заре, подобно чёрной стае,
Густые облака и плыли нарастая.
Чуть солнце за полдень поникло головою,
Полнеба облегло их племя грозовое
Свинцовой тучею и ветром тучу шало;
Отяжелев, она всё ниже нависала —
Отстала от небес одною половиной
И распростёрлась вширь над хмурою долиной,
Огромным парусом подветренным раздулась,
И с юга к западу стремительно рванулась.

Настала тишина, и воздух недвижимый
Тревоги полон был глухой, неудержимой.
Хлеба, что донизу склонялись, налитые,
И подымали вверх колосья золотые,
Бушуя, как прибой, теперь оцепенели
И, ощетинившись, на небеса глядели.
Берёзы гибкие, что были в придорожьи,
Ещё недавно так на плакальщиц похожи,
И, ветками дрожа, склонялись под откосы.
По ветру распустив серебряные косы, —
Теперь понурились, от горести слабея,
Окаменелые, подобно Ниобее[1].

И — только у осин листва дрожит пугливо,
Стада, которые домой плелись лениво,
Теперь без пастуха поспешно в кучи сбились,
Поля оставили и к хлеву устремились.

Бык опустил рога и землю бьёт копытом,
Стада пугает он мычанием сердитым.
Огромные глаза возносит ввысь корова,
Губами шлёпает, вздыхает бестолково;
А сзади топчется, похрипывая, боров,
Ворует хлеб, таков его несносный норов!

И птицы прячутся в леса, под стрехи, всюду,
И только вороньё усеяло запруду,
Проходит важными, надменными шагами,
Глазами чёрными следит за облаками,
И, крылья волоча и клювы разевая,
Купанья ждёт оно, от жажды изнывая;
Но в страхе вороньё пред бурею могучей —
Метнулось в ближний лес, подобно чёрной туче.
И только ласточка, прорезавши стрелою
Немые небеса, окутанные мглою,
Упала пулею.
И в это же мгновенье
У шляхты и солдат закончилось сраженье.
Все бросились в дома, в овины, чтоб укрыться;
А там, где бой прошёл, там вскоре разразится
Борьба стихий [2].

Кой-где на западе сквозь хмурые покровы
Струило солнце свет оранжево-багровый,
Но простиралась тень, как будто сеть густая,
Вылавливая свет и солнце настигая,
Казалось, что его украсть с земли хотела.
Тут вихрей несколько промчалось, просвистело,
И капли первые посыпались без лада,
Большие, светлые, точь-в-точь как зёрна града.

Два вихря пронеслись, рванулись друг за другом;
Они слились в борьбе, вертясь свистящим кругом,
Пруд взбаламутили и мглою грозовою
Помчались на луга и свищут над травою.

Трепещут лозняки, летят сухие травы,
Как пряди тонкие, уносятся в дубравы
С обрывками снопов; а вихри стонут, воют,
Беснуются в полях и борозды в них роют;
Чтоб вихрю третьему побольше дать простора,

Поднялся третий вихрь, как столб земли и скоро
Стал пирамидою, понёсся, что есть мочи,
Лбом землю продолбил, бросая звёздам в очи
Пыль из-под ног своих. Беснуясь и бушуя,
Он бурю затрубил в свою трубу большую.
Тут вихри хаосом воды, песка с травою
И сломанных ветвей с намокшею листвою
Обрушились на лес — и там, в глубинах чащи,
Взревели зубрами.
А дождь хлестал всё чаще,
Надолго зарядил, и громы зарычали,
И капли вдруг слились; то струнами вначале,
То прядями луга вязали с небосводом,
То низвергались вдруг, подобно бурным водам.
Земля и небеса уже затмились мглою —
Чернее ночи мрак повил их пеленою.
Но разрывался вдруг покров небесный, тёмный,
И ангел бури плыл, как солнца диск огромный;
Покажется, сверкнёт и вновь во тьме дремучей
Укроет светлый лик, захлопнув громом тучи.
То буря заревёт, то пронесётся мимо,
И тьма нависшая почти что ощутима.
Всё тише дождь шумит, и гром уснул далёкий,
Проснулся, зарычал, и хлынули потоки.
Всё смолкло, наконец, и только еле-еле
Был слышен шум дождя да листья шелестели.
Но было хорошо, что буря бушевала;
Гроза, свирепствуя, всё мглою покрывала,
Дороги залила, снесла и переправу,
Затерянный фольварк стал крепостью наславу!
Так о побоище в усадьбе Соплицово

Никто и не слыхал в окрестностях ни слова,
Не то бы шляхтичей судьба была сурова.
Совет в усадьбе шёл до самого рассвета.
Ксёндз тяжко ранен был, но, несмотря на это,
Был в полной памяти, давал распоряженья,
Судья их выполнял без слова возраженья,
Велел он, чтоб пришли Гервазий, Подкоморий
И Рыков; после дверь держали на запоре.
Тянулась целый час их тайная беседа,
Вдруг Рыков оборвал решительно соседа
И резко оттолкнул тугой кошель с деньгами.

«Поляки, — закричал, — толкуют между вами,
Что воры москали. Скажите же открыто,
Что знали москаля, крещённого Никитой,
Прозваньем Рыкова, имел он семь медалей,
И три креста ещё ему за службу дали:
Медаль за Измаил, а эта — за Очаков,
И за Эйлау та, для сведенья поляков!
Я с Корсаковым был при славной ретираде
И за отвагу там представлен был к награде;
Я упомянут был фельдмаршалом три раза[3],
Сам царь хвалил меня, известно из приказа!»
Вмешался Робак ксёндз:
«Ну, что ж, на нет — суда нет
Да только посуди, что с нами всеми станет,
Когда откажешься? Ты всё же дал нам слово
Уладить миром всё».

«И дал и дам вам снова! —
Ответил капитан. — Забудьте ваши страхи.
Зачем губить мне вас? Ведь я люблю вас, ляхи!
Вы — люди добрые и славитесь гульбою,
Вы — люди смелые, всегда готовы к бою!
Кто едет на возу, у русских говорится,
Тому случается под возом очутиться.
Сегодня ты побьёшь, на завтра — жди расплаты,

Чего ж тут гневаться? Так и живут солдаты!
Откуда бы взялось на свете столько злобы,
Чтоб поражение нас рассердить могло бы?
Вот потеряли мы под Цюрихом пехоту,
Под Аустерлицем мне всю разгромили роту;
Под Рацлавицами[4], вот до чего я дожил,
Костюшко косами отряд мой уничтожил!
А что из этого? Я снова в Матьевицах [5]
Проткнул двух шляхтичей здоровых, круглолицых!
Шли с косами на нас и руку канониру
Один из них отсёк, я проучил задиру!
Отчизна! Знаю вас, вы все живёте ею.
Приказывает царь, я, Рыков, вас жалею!
Москва для москаля, а Польша для поляка,
По мне пускай и так, — не хочет царь однако!» [6]

Судья ответствовал: «Мы знаем честность пана,
Помещики кругом все хвалят капитана,
И предана ему шляхетская округа.
Не гневайся за дар, прошу тебя, как друга!
Ведь не в обиду мы несли тебе дукаты,
А думали помочь, мы знаем, небогат ты!»

«Чёрт! — крикнул капитан. — Вся рота перебита!
А кто виновен? Плут! Я всем скажу открыто!
Он командир, и он перед царём в ответе,
А вы, друзья, назад возьмите деньги эти,
Ведь жалованье всё ж мне платят кой-какое,
Хватает на табак, на то и на другое.
А вас я полюбил за то, что мы в беседе,
В охоте и в пирах проводим дни, соседи;
Когда приедет суд, свидетельствовать буду
И постоять за вас, конечно, не забуду!
Скажу, что мы пришли, пирушка затевалась,
Мы дружно выпили и захмелели малость,
А Плут огонь открыть вдруг повелел солдатам, —
Весь батальон погиб, и Плут был виноват в том!

Приказных золотом купите вы, поляки,
Уладят всё они! Я указал вояке,
Тому с большим мечом, ещё одну причину:
Плут — старший командир, а я второй по чину.
Поверьте, Плут ещё загнёт вам заковыку,
Плут — штучка хитрая! Одно спасенье — выкуп!
Заткните пасть ему вы банковым билетом.
Что ж, пан с большим мечом, подумал ты об этом?
Что Плут сказал тебе? Согласен взять деньжата?»

Гервазий лысину погладил виновато,
Потом рукой махнул, мол, всё уже готово, —
Но Рыков не отстал, допытывался снова:
«Что, будет Плут молчать? Пообещал он панам?»
Гервазий, утомясь тем следствием пространным,
Вдруг палец опустил к земле без разговора,
Потом рукой махнул в знак окончанья спора,
«Клянусь я «Ножичком», напрасны страхи эти,
Ни с кем не будет Плут беседовать на свете!»
Он хрустнул пальцами всердцах, но не случайно, —
Казалось, что из них упала наземь тайна.

Смутилось общество, увидя жест угрюмый,
Был каждый омрачён невольно тайной думой.
Молчанье мрачное они хранили долго,
Вдруг Рыков произнёс: «Драл волк, задрали волка!»
«Почиет в мире пусть!» — добавил Подкоморий.
«Увы! То божий перст, — Судья промолвил в горе, —
Но не повинен я ни помыслом, ни словом!»

С постели ксёндз привстал в молчании суровом,
На Ключника взглянув, сказал: «Беда! К тому же
На беззащитного грешно поднять оружье!
Не разрешил Христос нам и с врагом расправы!
Ответишь господу за этот грех кровавый:
Простится, если ты убил не ради мщенья, —
Pro bono publico — для общего спасенья!»

Гервазий заморгал глазами в подтвержденье:
«Pro bono publico — для общего спасенья!»
И больше не было о Плуте разговора;
Напрасно поутру искали след майора,
Сулили и за труп награду дать народу, —
Ничто не помогло, Плут канул, точно в воду!
Что стало с ним потом, есть разные рассказы,
А только не видал его никто ни разу.
Напрасно Ключника расспрашивали снова.
«Pro bono publico», — он отвечал сурово.
Гречеха тайну знал, но честью поручился
Не выдавать её и не проговорился.

Как только капитан пустился в путь обратный, —
Ксёндз Робак приказал собраться шляхте ратной;
Сам Подкоморий речь держал к ней: «Власть господня
Оружью нашему послала мощь сегодня!
Но разразился бой совсем не в пору, братья,
Грозят нам бедствия, не должен то скрывать я!
Ошиблись мы, и всем придётся быть в ответе:
Ксёндз Робак новости распространял в повете,
Вы сгоряча взялись за сабли, но поди же,
Война и до сих пор отнюдь не стала ближе!
Кто нынче воевал особенно успешно,
Тот должен, шляхтичи, пуститься в путь поспешно.
Остаться б на Литве небезопасно было,
А потому скажу: Тадеуш и Кропило
И Лейка с Бритвою! Коль дорога свобода,
Ступайте в Польшу вы, к защитникам народа!
На Плута и на вас мы всю вину возложим,
Но остальных спасти от наказанья сможем!
Простимся, шляхтичи, одно есть утешенье:
Весной взойдёт для нас заря освобожденья!
Скитальцами от нас уйдёте нынче, братья,
Как избавители вернётесь к нам в объятья!
Судья припасами снабдит вас на дорогу,
А я вам денег дам, панове, на подмогу!»

Речь справедливую, нахмурясь, слушал каждый.
Все знали; кто с царём поссорится однажды,
Тому вовек с царём жить не удастся в мире,
И надо биться с ним, а нет — так гнить в Сибири!
Друг другу шляхтичи, вздохнув, в глаза взглянули,
И в знак согласия все головы нагнули.

Хотя прославились на целый мир поляки
Любовью к родине, об этом знает всякий,
Но радостно поляк отправится в изгнанье,
И годы долгие он проведёт в скитаньи,
В борьбе со злой судьбой, покуда в бурной жизни
Надежда светится, что служит он отчизне!

Хотели шляхтичи тотчас же распроститься,
Но Бухман возразил, не мог он согласиться!
Хоть не было его в сражении, на счастье,
В совете всё-таки он принимал участье:
Одобрил в целом план, но всё ж переиначить
Ещё хотел его, комиссию назначить,
И форму соблюсти, как то пристало в деле,
Чтоб эмиграции точней наметить цели.
Хотел он многое сказать в таком же роде,
Но так как ночь была почти что на исходе,
Внимания ему не уделили много.
Прощались шляхтичи, звала их в даль дорога,

Но воротил Судья Тадеуша с порога
И так сказал ксендзу: «Хорошее известье
Я услыхал вчера, порадуемся вместе!

Твоё заветное желание сбылося, —
Пришлась Тадеушу по сердцу наша Зося!
Не будет им чинить препятствий Телимена,
Согласие своё даст Зося несомненно.
Хотя мы свадьбы их сегодня же не справим,

Зато помолвку их немедленно объявим;
Тадеуш в ней найдёт большое утешенье,
В разлуке разные бывают искушенья,
На перстень поглядев, припомнит всякий раз он,
Что Зосе слово дал, что он обетом связан,
И возратится вновь душой к тому, что было.
Да, в перстеньке, поверь, великая есть сила!

Сам тридцать лет назад любил я крепко панну,
И ею был любим, — вот, думал, счастлив стану!
И нас помолвили, но счастье молодое
Мне не судил Господь, оставил сиротою!
Невесту милую к себе призвал спаситель,
Вошла дочь Войского в небесную обитель.
И, словно памятка любви моей печальной,
Остался у меня мой перстень обручальный.
Я на него с тех пор не мог глядеть без боли,
Всё вспоминал её; и так, по божьей воле,
Не связывал себя вовек обетом новым,
Женатым не был я, хотя остался вдовым,
Хотя у Войского другая дочка тоже —
Красавица, к тому ж и сёстры были схожи!»

На перстенёк взглянул Судья с глухой тоскою,
Невольную слезу тайком смахнул рукою,
Спросил: «Что ж, обручим? К чему тянуть напрасно?
Он любит девушку, и девушка согласна».

Воскликнул юноша, в слезах, Судью целуя:
«Ах, дядя, как тебя за всё благодарю я!
Ты о добре моём всегда печёшься столько!
Ах, добрый дядюшка, когда бы Зося только
Обручена была сегодня же со мною,
Когда бы мог назвать её своей женою!
Но, дядюшка, спешить не надо с обрученьем,
Причина есть тому… Вот если бы с терпеньем
Ждать Зосенька меня сама бы захотела,

То, может быть, тогда поправил бы я дело
И, может быть, любовь делами боевыми
Я смог бы заслужить, быть может, славой имя
Украсил бы своё! Коль мы вернёмся вскоре, —
Припомните тогда об этом разговоре!
Пред Зосей дорогой я преклоню колено
И сам её руки я попрошу смиренно.
Надолго, может быть, уеду я из дома,
И сердце девушки достанется другому;
Не стану связывать её помолвкой скорой
И ждать взаимности, не заслужил которой».
Едва он высказал заветнейшие мысли,
Как на ресницах две жемчужины повисли
И в голубых глазах печально засветились
И с юношеских щёк тихонько покатились.

А Зося слушала из глубины алькова
Беседу тайную от слова и до слова;
Когда же юноша так просто и так смело
Открыл свою любовь, то Зося не стерпела;
Слезами девушка растрогалась немало,
Хотя причины их совсем не понимала:
За что он полюбил? Что ждёт его в дороге?
Не знала Зосенька, была она в тревоге;
Впервые девушка услышала нежданно
Волшебные слова — любима и желанна!
Метнулась к алтарю и на колени стала,
Достала образок и ладанку достала.
Глядела с образка святая Геновефа,
Был в ладанке зашит клочок плаща Юзефа,
Патрона любящих, — с подарками святыми
К мужчинам подошла и стала перед ними.

«Уже собрался пан? Я на дорогу пану
Подарок принесла, просить покорно стану:
Пусть этот образок он с шеи не снимает

И ладанку хранит, о Зосе вспоминает…
Пусть пана бог хранит счастливым и здоровым,
Чтоб свидеться опять пришлось под этим кровом!»

Умолкла и глаза потупила в печали,
А слёзы щедрые с ресниц её бежали.

Так голову склонив, пред юношей стояла,
И слёз брильянтовых рукой не отирала.

Тадеуш, взяв дары, поцеловал ей руку.
«Решиться должен я с тобою на разлуку,
Ты за меня молись, да будь сама здорова!» —
И больше он не мог произнести ни слова.

Граф с Телименою вошли к Судье, едва ли
Не все слова они прощавшихся слыхали, —
И Граф растроганно промолвил Телимене:
«Ах, сколько прелести таится в этой сцене!
То воина душа с душой пастушки, в горе,
Как лодка с кораблём, расстались в бурном море!
Нет в мире ничего достойней состраданья,
Чем нежные сердца в минуту расставанья!
Но время, словно вихрь, задует лишь огарок,
Пожар же на ветру пылает, зол и жарок,
И сердце издали сильней к любви стремится.
Соперником тебя считал я, пан Соплица,
И оттого с тобой поссорился вчера я,
К дуэли был готов, от ревности сгорая,
Но нет у нас причин сердиться друг на дружку;
Я нимфу полюбил, а ты — свою пастушку.
Пускай в крови врагов потонет оскорбленье,
Не будем драться мы друг с другом в ослепленьи,
И спор наш разрешим не шпагою могучей —
Посмотрим, кто из нас любить умеет лучше!
Возлюбленных своих оставим мы недаром:
Возьмёмся за мечи, двойным пылая жаром;

Сразимся верностью, любовью и тоскою
И поразим, врагов бестрепетной рукою!»
На Телимену Граф уставил взор влюблённый,
Та ж не ответила, казалась удивлённой.

Судья прервал его: «Торопишься напрасно,
Тебе остаться здесь, поверь мне, безопасно!
Лишь бедняков одних присудят к наказанью,
Ты можешь поступать по своему желанью!
Страшны приказные лишь тем, кто небогаты,
А что до них тебе? Есть у тебя дукаты!»

Но Граф сказал: «Меня зовёт мой рок опасный!
Пусть буду я герой, коль не любовник страстный!
И если не любим я нимфой величавой,
Смогу утешиться я только бранной славой!»

Но Телимена тут спросила в изумленьи:
«Мешает кто любить?» — «Кто? Предопределенье!
Предчувствий грозный мрак своим веленьем тайным
Зовёт к чужим краям, к делам необычайным!
Пред Гименеем[7] я хотел бы с Телименой
Теперь на алтаре возжечь огонь священный,
Но юноши пример достоин подражанья, —
По доброй воле он отрёкся от венчанья,
И сердце испытать сам захотел в невзгодах,
В изгнании, в нужде и в боевых походах!
Эпоха новая открыта волей рока,
Уже звенят мечи моей Бирбанте-Рокка;
Из Польши слышу их, и не сдержать отваги!» —
Ударил гордо он по рукояти шпаги.
«Ну, если чувствуешь ты к подвигам охоту,
Ступай! — промолвил ксёндз. — Да сформируй-ка роту
Так и Потоцкий наш к французам удивлённым
Пришёл не налегке, а с целым миллионом!
А щедрый Радзивилл! Он заложил именье
И конных два полка поставил он, не мене.

Дукаты захвати, людей у нас немало,
А денег в Польше нет, за ними дело стало!» [8]

Печально повела очами Телимена:
«Я вижу, что твоё решенье неизменно,
Ну что же, рыцарь мой, когда ты рвёшься к бою —
Возлюбленной цвета останутся с тобою!»
Тут ленты сорвала, кокардою скрепила,
И приколола их на грудь его уныло.
«Пускай мои цвета ведут на подвиг смелый,
К блистающим мечам, под копья и под стрелы.
Когда ж прославишься делами боевыми,
Бессмертной славою своё покроешь имя,
Украсишь лаврами шишак и шлем кровавый, —
На этот бант взгляни, что ты носил со славой,
И вспомни, как с тобой прощалась Телимена!»

Припав к её руке, он преклонил колено.
Батистовым платком она лицо прикрыла,
Но взгляд из-под платка герою подарила,
И так, от глаз своих платка не отнимая.
Вздыхала Графу в тон, плечами пожимая.

Судья промолвил им: «Путь предстоит вам длинный!»
«Довольно!» — бернардин воскликнул с грозной миной. —
И приказанья их, подобно мрачной силе,
Двоих чувствительных влюблённых разлучили.
Вот обнял дядюшку Тадеуш на прощанье
И руку Робака поцеловал. В молчаньи
Ксёндз голову его прижал к груди и в муке
На голове его скрестил с молитвой руки,
Взглянув на небеса, промолвил: «Сын мой, с богом!»
Заплакал… Юноша уже был за порогом.
«Что? Как? — спросил Судья, — ушёл он из-под крова,
Не зная ничего? Ты не сказал ни слова?»
Монах ответил: «Нет!» и залился слезами,
И долго плакал он, закрыв лицо руками.

«На что бедняге знать, что жив отец, коль скоро
Таиться должен он от света хуже вора!
Всё ж я хотел сказать и лишь во искупленье
Содеянного мной осилил искушенье!»
«Подумай о, себе! — просил Соплица брата, —
Ты ранен тяжело, не молод, как когда-то,
Со шляхтичами ты не можешь в путь пуститься.
Ты говорил, — есть дом, где можно приютиться,
Так где же он? Скажи! Но кажется мне, лучше
У лесника в глуши запрятаться дремучей!»

Ксёндз Робак отвечал: «Есть время до рассвета,
Плебана позови, не медля сделай это!
Пусть исповедует меня порой ночною;
Вдвоём с Гервазием останься ты со мною,
А двери затвори!»
Исполнив приказанье,
Судья сел на кровать, Гервазий, в ожиданьи,
Поставил локоть свой на «Ножик перочинный»
И замер, наклонясь, торжественный и чинный.
Но ксёндз не начинал с друзьями разговора,
С лица Гервазия всё не сводил он взора.

Как опытный хирург рукой ведёт по телу
И лишь затем с ножом он приступает к делу, —
Так Робак взгляд смягчил, чтоб не ударить сразу,
На Ключника глядел, не приступал к рассказу,
И, чтобы не видать удара рокового,
Прикрыл глаза рукой, когда промолвил слово:
«Соплица Яцек я!» [9]
Гервазий выгнул спину,
Всё тело он напряг, как гибкую пружину,
Подался наперёд и замер на мгновенье,
Как будто бы валун, задержанный в паденьи.
Он выкатил глаза, разинул рот, зубами
Грозился острыми, зашевелил усами;
Свой обронённый меч поймал он у кровати

И не спускал руки с железной рукояти,
Зажал в коленях меч, а тот змеёй казался,
И словно чёрный хвост взад и вперёд качался.
На рысь похожим стал Гервазий разъярённый,
Готовую к прыжку в лесной глуши зелёной,
Которая на миг, пред самым нападеньем,
Сжимается в клубок рассчитанным движеньем.

«Гервазий, суд людской меня уж не тревожит,
Ждёт божий суд меня, он рассудить нас может!
Но именем того, кто дал нам искупленье,
И на кресте простил убийцам преступленье,
И просьбе татя внял, — молю я, терпеливо
Рассказ мой выслушай, открою всё правдиво.
Знай, с совестью моей я должен примириться,
Просить прощения, хотя не всё простится!
Послушай исповедь, и что захочешь позже,
То сделаешь со мной. Мы все во власти божьей!»
Тут руки он сложил. В ответ на эти речи
Гервазий отступил, подняв строптиво плечи.

Ксёндз рассказал, как он с Горешкой подружился,
Как панну полюбил и сам ей полюбился,
Как оттого у них с Горешкой вышла ссора,
Бессвязно говорил и утомлялся скоро,
И жалобами речь всё время прерывалась.
Он дальше вёл рассказ, преодолев усталость.
Горешковы дела знал наизусть Гервазий,

И разбирался он в запутанном рассказе,
Хоть исповедь ксендза была подчас без лада;
Не мог понять Судья всего, как было надо,
Но оба слушали, склонившись у постели,
А Яцек говорил всё тише, еле-еле
И часто замолкал.

«Он зазывал меня, встречал меня с любовью, —

Слыхал ты сам не раз, как пил моё здоровье,
И часто на пирах он начинал хвалиться,
Что друга не имел дороже, чем Соплица.
Он обнимал меня! И кто нас видел вместе, —
Все думали, что он дружил со мной по чести.
Дружил со мною? Нет! Ему известно было,
Что делалось со мной!

А между тем уже шепталась вся округа,
И говорил кой-кто: «Знай, мы тебя, как друга,
Должны предостеречь: сановника пороги
Высоки, и о них сломает Яцек ноги!»
Я отвечал, смеясь, что близостью магнатов
И дочек их не льщусь, не чту аристократов;
Что лишь по дружбе мне бывать у них приятно,
Что свататься и сам не стал бы к панне знатной.
Но задевали всё ж те шутки за живое:
Я молод был, вся жизнь лежала предо мною
В краю, где могут быть увенчаны короной
И самый знатный пан, и шляхтич урождённый!
Пришлась Тенчинскому по сердцу королевна,
И отдал шляхтичу король её безгневно [10].
Соплицы же равны с Тенчинскими, конечно,
По крови, по гербу, по службе безупречной!

Чужую жизнь разбить недолго человеку,
Зато исправить зло порой нехватит веку!
Когда бы сжалился Горешко надо мною,
Мы мирно жили бы счастливою семьёю,
И не пришлось бы мне тогда прибегнуть к мести,
И доживал бы век Горешко с нами вместе,
Теперь, конечно бы, к нему ласкались внуки!
А вышло что? Обрёк обоих нас на муки
И сам погиб за то… и ужасы последствий…
Убийство Стольника, и годы долгих бедствий!
Но я не жалуюсь, себя не защищаю,
Нет, я не жалуюсь, от всей души прощаю, —

Ведь я убил его!..

Хотя бы сразу он мне отказал от дома, —
Он чувства наши знал, — всё б вышло по-другому!
Кто знает, может быть, уехал бы я в гневе…
Погоревал бы я и позабыл об Эве.
Но он хитрил со мной, мол, не имел понятья
О том, чего не смел тогда ему сказать я;
Мол, представлял себе совсем другого зятя!
Я нужен был ему, имел я положенье
Средь шляхты, и сыскал магнатов уваженье.
Как будто чувств моих совсем не замечая,
Он зазывал меня, по-дружески встречая.
Когда ж, бывало, с ним мы за столом сидели
И слёзы у меня порой в глазах блестели,
И видел он, что я ему откроюсь скоро…
Хитрец переводил теченье разговора,
На тяжбы, сеймики, охоты в недрах бора.

Растрогается он, бывало, за бутылкой
И обнимать начнёт, клянётся в дружбе пылкой
(Когда нужна была ему моя услуга),
Я ж должен был в ответ обнять его, как друга, —
Такая злость брала! Проглатывал слюну я
И крепко стискивал я рукоять стальную,
И саблю обнажить стремился, полон гнева
Но, непонятно как, угадывала Эва,
Что делалось со мной; лицо её бледнело,
Глядела мне в глаза она с мольбой несмелой.
Была голубкою она такою милой,
Был ясный взгляд её такой исполнен силой
Небесно-ангельской, что забывал о боли!
Чтоб не пугать её, смирялся поневоле!
И я, буян, в Литве прославленный когда-то,
И я, сбивавший спесь не с одного магната,
Рубака доблестный и видывавший виды,
Который бы не снёс от короля обиды,

Который не прощал ни слова, ни усмешки, —
Покорно замолкал пред дочерью Горешки,
Как будто я *Sanctissimum* [11] увидел…

А сколько раз хотел я перед ним открыться,
С мольбой горячею смиренно обратиться!
Но Стольник всякий раз в холодном изумленьи
Глядел в глаза мои, я подавлял волненье,
Менял я разговор и снова был настраже,
О тяжбах рассуждал, шутить пытался даже!
Из гордости одной, боясь Соплицы имя
Унизить хоть на миг поступками своими.
Ведь получить отказ Соплице не годится,
Узнают шляхтичи, придётся мне стыдиться,
Когда пойдёт молва, что Яцек, я…

Соплица сватался, да к дочери Горешки!
И как мне, Яцеку, терпеть других насмешки!
Что было делать мне? И сам не знал я даже!
Решил шляхетский полк сформировать тогда же,
Покинуть край родной, с отчизной распрощаться
И на татар пойти, не то с царём сражаться… [12]
Поехал к Стольнику, — мечтал я в эту пору,
Что как увидит он сторонника — опору,
Почти что родича, с которым крепко связан,
С ним вместе воевал и пировал не раз он,
И едет старый друг на край далёкий света, —
Быть может, Стольника растрогает хоть это?
Покажет сердце мне, он, жалостью согретый.
Как будто бы улитка рожки?..

Ах, кто приятеля любил хотя немного,
То искорка любви, пред дальнею дорогой,
Наверно, вспышкою украсила прощанье,
Как будто жизни луч в минуту угасанья!
Прощаясь с земляком на вечную разлуку,
И чёрствый человек испытывает муку!

Бедняжка! Услыхав, что я уеду вскоре,
Упала замертво — её скосило горе!..
Слезами залилась… Я и теперь бледнею,
Лишь вспомню, как я был любим взаимно ею!

Впервые плакал я в ответ на слёзы эти,
От счастья, помнится, всё позабыл на свете,

Хотел обвить в слезах я стольниковы ноги,
«Убей!» молить его, в смятеньи и в тревоге,
«Иль сыном назови!» — но в час последней встречи
Он обдал холодом, повёл другие речи:
О свадьбе дочери, да, он просватал панну!
Гервазий, понял ты, я пояснять не стану,
Ты добрый человек!
Сказал: «Совета пана
Прошу, приехал сват от сына каштеляна;
Ведь ты приятель мой, как мне принять магната?
Сам знаешь, дочь моя красавица, богата,
Сын каштеляна он из Витебска. В сенате
Хоть не из первых [13], но… Совет твой будет кстати!»
Что отвечал ему? Не помню! Вероятно,
Я промолчал в ответ и ускакал обратно.

Гервазий закричал: «То это, то иное
Выдумываешь ты, но сам всему виною!
Коль обвенчаться ты хотел с магната дочкой,
То надо было бы её похитить ночкой
Иль силою забрать, а если мстить — так смело!
Но в сговор с москалём вступать — плохое дело!
Ты не отвертишься, мой меч тому порукой!»

«Я не был в сговоре, — ответил Яцек с мукой, —
Её бы мог добыть из-за замков, решёток,
Разбил бы замок впрах! Ведь целый околоток
Добжинский был со мной и прочие застянки,

Ах, если бы она была, как все шляхтянки,
Вынослива! Могла при лязге сабель, звоне
Со мною ускакать, не думать о погоне!
Но бедная! Она, взлелеянная с детства,
Пугливою была, — как ей пускаться в бегство!
Былинка вешняя! Одно прикосновенье
К оружию — её убило б во мгновенье!
И я не мог! Не мог…

Открыто отомстить, разрушить замок сразу?
Нельзя, — узнали бы, что не стерпел отказу!
Душа твоя чиста, Гервазий, ты доныне
Не знаешь горьких мук обиженной гордыни!

Гордыня привела меня к иному плану:
Не выдавать себя, готовить мщение пану,
Убить любовь в себе, не поддаваться гневу,
Жениться на другой, предать забвенью Эву.
Потом, потом найти, к чему бы мне придраться
И отомстить…

Вот показалось мне, что я достиг покоя;
Обрадовался я и в брак вступил с другою:
Соединился я с убогою девицей, —
Я плохо поступил, наказан был сторицей!..
Я не берёг её и не любил нимало,
А мать Тадеуша любила и страдала!
Но Эву я любил и злость меня душила,
Ходил я, как в чаду, всё было мне не мило,
Не проявлял тогда к хозяйству интереса,
Как ни старался я; по наущенью беса
На всех сердился я, ни в чём не знал утехи.
И от греха к греху катился без помехи…
С тоски я запил…

Недолго прожила жена моя на свете
И мне оставила дитя и муки эти!

Зато, как сильно я всегда любил другую…
Где б ни жил, сколько лет, забыть всё не могу я!
Голубка нежная рисуется доныне
Так ярко предо мной, как будто на картине!
Я пил, но памяти не мог залить вином я,
Не забывал её, хоть был в краю ином я!
Теперь в сутане я, слуга покорный божий,
Израненный, в крови… О ней тоскую всё же!
Об Эве, в час такой? Но все мы в божьей воле!
Хочу чтоб знали вы: не без сердечной боли
Злодейство совершил…
Отпраздновал тогда Горешко обрученье,
Повсюду толки шли об этом обрученьи,
Лишь только ей кольцо надел пан воевода, —
Упала замертво, к смущению народа,
И чахла с той поры от горя и печали.
Шептались — влюблена… В кого? Того не знали…
Но Стольник весел был и пировал с друзьями,

Он задавал балы, и дни сменялись днями,
Шла за пирушкою разгульная пирушка,
На что был нужен я — ничтожество, пьянчужка?
Обрёк меня порок на посмеянье света!
Меня, который был грозой всего повета,
Меня, которого звал Радзивилл: «Коханку» [14],
Который выезжал, бывало, спозаранку
Со свитой пышною, подстать и Радзивиллу,

А саблю обнажал — пять тысяч их светило
Тогда вокруг меня, на страх усадеб панских…
И стать посмешищем простых детей крестьянских!
Каким ничтожным стал в глазах людей Соплица,
Который гордость знал и вправе был гордиться!»

Тут Яцек, ослабев, опять упал на ложе;
Гервазий произнёс: «Правдив твой суд, о Боже!
Ты ль это, Яцек, тот? Соплица — и в сутане,

Проводишь жизнь свою в лишеньях и в скитаньи!
А шляхтич был какой! Здоровый и румяный!
Я помню, пред тобой заискивали паны!
Усач! Шляхтянок всех сводить с ума умел ты,
И не от старости, от горя поседел ты!
Как не узнал тебя по выстрелу лихому?
Не удавалось так стрелять у нас другому!
По меткости никто не мог с тобой сравниться,
И Матеку подстать рубака был Соплица!
Певали о тебе влюблённые шляхтянки:
«Закрутит Яцек ус — и задрожат застянки,
Завяжет узелок на усе пан Соплица,
Хоть Радзивиллом будь, всяк перед ним смирится!»
Горешке узелок ты завязал в отмщенье…
Но как ты сам попал в такое положенье?
Усач Соплица — ксёндз! Правдив твой суд, о Боже!
Ты не уйдёшь теперь от наказанья тоже —
Я клялся: кто прольёт Горешков кровь, в отмщенье…»

Ксёндз Робак продолжал в сердечном сокрушеньи:
«Все дьяволы меня пред замком искушали,
Их было множество, не слушал я вначале!
Но в мыслях Стольник был, ему желал я смерти.
Он Эву загубил, меня смущали черти:
«Взгляни, пирует он и замок полон света,
Играет музыка, и ты потерпишь это?
Ты не покончишь с ним, теперь же, здесь, на месте?
Чёрт подаёт ружьё тому, кто жаждет мести!
О мщеньи думал я… Тут москали явились…
Глядел я, как тогда вы с москалями бились.
Неправда, что вступил я в сговор с москалями…

О многом думал я и вдруг — увидел пламя,
Я на пожар смотрел сперва с восторгом детским,
Потом почувствовал себя злодеем дерзким,
Который ждёт, чтоб всё скорей в огне сгорело;
Хотел спасти её, прийти на помощь смело,

И Стольника спасти…

Ты знаешь, как тогда вы доблестно сражались!
Валились москали, на приступ не решались…
Хотели отступать, палили без разбора.
Тут злость меня взяла: так победит он скоро!
Во всём везёт ему! Всё с рук удачно сходит!
Он вместо гибели триумф себе находит!
Редели москали. Был ясный час рассвета,
Он вышел на балкон, и я увидел это!
Вот бриллиант его на солнце загорелся,
Он гордо ус крутил и гордо огляделся.
Тут показалось мне — узнал меня Горешко
И руку протянул с надменною усмешкой.
Схватил я карабин у москаля и сразу,
Не целясь, выстрелил. Поверишь ты рассказу!
Ты знаешь сам!..

Проклятый карабин! Коль обнажаешь шпагу,
То можешь нападать и отступать по шагу,
Оружие отнять, не поразить сурово;
А карабин… на спуск нажал ты, — и готово!
Мгновенье… Искорка…

Гервазий, отчего не целился ты лучше?
Я на ружьё глядел, ждал смерти неминучей,
Застыл на месте я, стоял — не шелохнулся,
Так отчего же ты, Гервазий, промахнулся?
Добро бы сделал ты! Видать, так надо было
Для искупления…»

Воскликнул Ключник с силой:
«Клянусь, хотел убить! Твой выстрел был причиной
Резни и крови, здесь пролившейся невинной!
Ведь сколько тяжких бед со всеми приключилось,
А всё по чьей вине? По вашей, ваша милость!
Но в битве нынешней, как вспомню, холодею,

Горешков родича убили бы злодеи, —
Ты защитил его и спас меня от смерти,
Свалив меня, когда стреляли эти черти!
Теперь в сутане ты, и в сердце больше зла нет,
Защитой от меня тебе сутана станет.
Прощай! Вовек тебе не заступлю дорогу
С тобою квиты мы, — а суд оставим Богу!»

Ксёндз руку протянул, но отступил Гервазий:
«Я не приму руки, не упрекай в отказе,
Ты запятнал её, убив не во спасенье,
Pro bono publico, а в гневе ради мщенья!»

Тут Яцек снова лёг и на Судью с постели
Встревоженно глядел. Глаза его горели
И с беспокойством он молил позвать плебана,
И Ключника просил: «Я заклинаю пана
Остаться, может мне позволит власть господня
Закончить исповедь, ведь я умру сегодня!»

«Как, брат? — спросил Судья. — Невелика ведь рана.
Я осмотрел её, зачем же звать плебана?
За доктором пошлю, коль сбилась перевязка…»
Но ксёндз прервал его: «Близка уже развязка!
Открылась рана та, что получил под Йеной,
И никаким врачам не справиться с гангреной!
Я в ранах знаю толк; взгляни, как почернела!
Не нужно доктора, теперь не в этом дело.
Всем надо умирать; когда? — не всё ль едино?..
Прости, Гервазий мой, что говорю я длинно!..

Нет, не хотел я быть предателем отчизны,
И я не заслужил народной укоризны!
Предателем меня все звали, как нарочно,
Та кличка, как чума, ко мне пристала прочно.
При встрече земляки в глаза мне не глядели,
Приятели со мной встречаться не хотели,

Кто потрусливее, тот уходил скорее,
Здоровались со мной крестьяне и евреи,
Но вслед глядели мне они с ехидным смехом:
«Предатель!» слышалось и отдавалось эхом!
И в поле и в дому — повсюду это слово
Мелькало, будто бы круги в глазах больного.
Но всё же я не предавал отчизны!

Сторонники царя меня своим считали,
Богатство Стольника они Соплицам дали,
Тарговичане чин ещё мне дать хотели [15],
Но совести моей они не одолели!
Бес искушал меня: ведь я бы стал магнатом,
Вельможным паном стал, и знатным, и богатым,
И шляхта гнулась бы перед своим собратом!
Ведь шляхтичи у нас лишь ровню обижают,
Кто взыскан милостью, того они прощают!
Я это знал и всё ж — не мог!

*

Покинул край родной!
Где не был! Как страдал я!

*

Всевышний указал единый путь к спасенью:
Исправиться, отдать всего себя служенью
Отчизне, Господу…

*

А дочка Стольника не справилась с бедою,
В Сибири умерла, скончалась молодою;
Оставила в краю у нас малютку Зосю, —
Просил растить её.

*

Убил из гордости, не из любви; в сутане
Платил смирением за это злодеянье…
Горд от рожденья был, вовеки не был робок,
Склонил я голову, назвал себя я Робак,
Был, как во прахе червь…

Я много зла принёс кровавым преступленьем,
Хотел я искупить его добром, терпеньем,
И подвигом, и собственною кровью…

Отчизну защищал; не ради бранной славы
Я был под пулями, бросался в бой кровавый.
Милее ратных дел мне подвиги молчанья,
Те подвиги добра, смиренья, послушанья,
Которые никто…

Переодетым я в отчизну пробирался,
Приказы тайные переносить старался,
Порой в Галиции я оставался дольше,
Мой капюшон мелькал по всей Великопольше.
На прусской каторге я к тачке был прикован,
Плетями москалей я был исполосован,
В Сибирь отправлен был и спасся еле-еле…
Нещадно голодал в Шпильбергской [16] цитадели…
Избавила меня от мук рука Господня,
Даёт мне умереть в кругу своих сегодня
И причаститься тайн…

Быть может, и теперь — кто знает? — согрешил я!
И на свой риск и страх с восстаньем поспешил я!
Но мысль, что первым стяг поднимет Соплицово,
Что будет первое к восстанию готово,
Мне кажется чиста…

Ты отомстить хотел? Ты стал орудьем мщенья,
Господь мечом твоим рассёк без сожаленья
Все замыслы мои, а годы — улетели!
Я посвятил всю жизнь одной великой цели,
Я полон был всегда надеждою одною,
Её лелеял я, как детище родное,
Но ты убил её, и я прощаю всё же!
А ты!..»

Гервазий отвечал: «Прости обоим, Боже!
Ты ждёшь причастия, и ты смертельно ранен,
Но не схизматик я, да и не лютеранин!
Грешно в последний час удваивать мученье;
Поведаю теперь, тебе на утешенье:
Когда покойный пан упал с тяжёлой раной,
Я на колени стал и на груди у пана,
Меч обмакнув в крови, поклялся мстить, — с тоскою
Пан головой тряхнул, крест начертал рукою,
Как видно говорить уже он был не в силах,
Всё ж он простил. Но кровь в моих кипела жилах,
Решил не говорить об этом я до срока,
Пока не отомщу сурово и жестоко!»

Впал Яцек в забытье, не выдержав страданья,
И в комнате настал час долгого молчанья.
Плебана ждали все, — зацокали копыта,
И кто-то постучал. Вмиг дверь была открыта,
Вошёл еврей с письмом, в нём Яцку порученья,
А Яцек брату дал бумагу для прочтенья.
Письмо от Фишера [17], из штаба, что при войске,
Которое в бои вёл Юзеф по-геройски.

Соплица вслух прочёл, что кесарским советом
Объявлена война, и знает мир об этом [18],
Что созван общий сейм, как водится, в Варшаве,
Что постановлено, к их обоюдной славе,
Соединить Литву торжественно с Короной.

Страдалец умирал с душою примирённой.
Громницу крепче сжав, — заколебалось пламя.
Творил молитву он с поднятыми глазами.
И слёзы радости лились из глаз рекою:
«Прими, Господь, слугу, я отхожу в покое!»
Тут колокольчик вдруг раздался за дверями, —
Как знак, что в комнату идёт плебан с дарами.
А ночь прошла уже, и первый луч рассвета
Прорезал небеса опалового цвета,
Брильянтовой стрелой проник он сквозь окошко,
К постели побежал светящейся дорожкой,
И бернардина лик, сияньем окружённый,
Светился, словно лик святителя с иконы.

Книга одиннадцатая. ГОД 1812

Весенние предзнаменования[1] • Вступление войск • Богослужение • Официальная реабилитация блаженной памяти Яцека • Соплицы • Из разговора Гервазия и Протазия можно предвидеть скорое окончание процесса • Объяснения улана с девушкой • Разрешается спор о Куцем и Соколе • После этого гости собираются на пиру • Представление вождям обручённых пар.

О год двенадцатый! Ты памятен для края!
Ты для народа был порою урожая,
Войной — для воинов, для песни — вдохновеньем [2],
И старцы о тебе толкуют с умиленьем.
Ты был предшествуем народною молвою
И возвещён Литве кометой роковою [3];
Литовские сердца, как пред концом вселенной,
Забились по весне надеждой сокровенной
В предчувствии глухом и радости и боли.

Когда впервые скот весной погнали в поле,
Голодный и худой, — то люди примечали:
Стада не шли на луг, а жалобно мычали [4],
Ложились, головы к земле склонив уныло,
И зелень свежая их вовсе не манила.

Устало пахари в поля тащили сохи,
Молчали, слышались порой глухие вздохи;
Не радуясь весне, не думая про жниво,
Волов и лошадей вели они лениво.
Не отводили глаз от Запада — оттуда,
Казалось им, вот-вот должно явиться чудо.
Крестьяне, лошадей остановив без цели,
На перелётных птиц встревоженно глядели.

Вернулся аист вновь к родной сосновой сени
И крылья развернул, как белый флаг весенний;
Полками ласточки надвинулись шумливо,
Кружились над землёй — и в клювах хлопотливо
Носили грязь они для гнёздышек; проворно
Тянули кулики вдоль заросли озёрной,
И гуси дикие носились над землёю
И с шумом падали, застигнутые мглою.
А в небе журавлей курлычет вереница,
И ночью сторожам от криков их не спится:
Так рано почему летит за стаей стая?..
Пригнала буря птиц, наверно, не простая!

Вот снова косяки прорезали туманы, —
Скворцы и чибисы — знамёна и султаны;
Белеют по холмам, проносятся по чащам, —
То кавалерия с оружием звенящим!
Полк за полком спешит, и льются снегом талым
Шеренги грозные в сверканьи небывалом;
В темнеющих лесах блестят штыки стальные,
Пехота движется, как муравьи лесные.

На север! [5] Кажется, что в эту пору жизни
Всё, всё за птицами спешит к моей отчизне,
Гонимое сюда таинственною волей.
Пехота, конница и днём, и ночью в поле;
Багровы небеса от зарева пожаров,
И вся земля дрожит от громовых ударов.

Война! Война! В Литве нет ни угла, ни чащи,
Куда бы не проник язык её гремящий.
И те лесовики, чьи прадеды здесь жили
И умирали здесь, с деревьями дружили
И слышали в лесах лишь ветер монотонный
Да диких хищников рычание и стоны,
Другого ничего не знали, не видали, —
Вдруг видят: зарево сверкает в тёмной дали,

И слышат в чаще гул случайного снаряда.
Что с поля битвы вдруг попал куда не надо,
Ломая всё кругом, зубр — бородач косматый —
Вдруг ощетинился и вздыбился, горбатый,

И, шею вытянув, стоит он подле клёна
И бородой трясёт и смотрит изумлённо
На зарево вдали, на холм, во мраке спящий;
Он слышит резкий свист гранаты в тёмной чаще;
Граната лопнула; испуганный впервые,
Зубр в ужасе бежит в чащобы вековые.
Хватает молодёжь оружье в жажде битвы,
А женщины творят с надеждою молитвы,
Все шепчутся в слезах, с восторгом умилённым:
«С Наполеоном бог, и мы с Наполеоном» [6].

Весна! Ты памятной останешься для края
Весною воинов, весною урожая.
Весна! Ты памятна, и ты цвела богато
Цветами, травами, надеждами солдата,
Полна предчувствием грядущих испытаний!
Я не забыл тебя, весна моих мечтаний!
Рождён в неволе я, с младенчества тоскую,
И в жизни только раз я знал весну такую!

У войска на пути лежало Соплицово [7],
Вели войска вожди дорогою суровой;
Король Вестфалии и Юзеф благородный
Прошли уже Литву от Слонима до Гродна.
Трехдневный отдых дан войскам Иеронимом,
Но польским воинам, усталостью томимым,
Обидным всё-таки казалось промедленье,
Хотелось перейти скорее в наступленье.

В ближайшем городке штаб сделал остановку,
А командиры шли с обозом в Соплицовку:
Пришёл со свитою сам генерал Домбровский,

Квязевич и Гедройц, Грабовский, Малаховский [8].
Добраться к ночи лишь в имение успели,
И в замке, во дворе нашли себе постели.
Приказы отданы, не позабыты стражи,
Все утомлённые легли заснуть тогда же.
Утихло всё кругом, и воины уснули,
Бродили по двору, как призраки, патрули.
Бивачные костры кой-где светились в поле.
Да слышались в ответ на оклики пароли.

Хозяин и вожди, все спят во мраке ночи,
И только Войскому сон не смыкает очи;
Обдумывает он изготовленье пира,
Прославить хочет им Соплиц на зависть мира.
Пир этот должен быть достоин приглашённых
И соответствовать триумфу наречённых.
Ведь завтра день святой и в доме, и в костёле.
Двойное торжество отпраздновать легко ли!
Домбровский с вечера упомянул пред Войским,
Что предпочтение даёт он блюдам польским.
Созвали поваров соседних ради спеха —
Пять слуг отборнейших; придворный шеф — Гречеха;
Подобно поварам, он был в халате белом;
И руки обнажил, чтоб заниматься делом:
Хлопушку он держал своей рукою правой
И ею мух гонял, жужжащих над приправой.
Рукою левою очки на нос надвинул,
А из-за пазухи тотчас же книжку вынул,
«Чудесным поваром» [9] та книга называлась,
В ней описание старинных блюд давалось.
Граф Оссолинский [10] сам оттуда брал советы,
Когда в Италии устраивал банкеты
На удивление святейшему Урбану[11].
Коханку Радзивилл, как подобает пану,
В Несвиже[12] принимал достойно Станислава,
Штудируя её. Жива поныне слава
Банкетов княжеских в повете и в округе.

Что Войский ни прочтёт, то выслушают слуги,
И тотчас закипит у поваров работа,
И застучат ножи тяжёлые без счёта;
Как почерневшие от сажи чертенята,
С вином и с молоком шныряют поварята
И льют из кувшинов в кипящие кастрюли;
Другие между тем в печи огонь раздули,
Гречеха приказал, чтоб пламя не погасло,
Скорее лить в него растопленное масло.
(Избыток разрешал роскошество такое.)
А повара уже готовили жаркое:
Оленей, кабанов на вертела сажали;
Другие — специи для соусов мешали.

В углу щипали птиц, и пух летал повсюду,
Тетёрок, глухарей наваливали груду,
Но нехватало кур; передушил их Пробка,
Когда на птичнике хозяйничал неробко!
Перевелась вконец куриная порода,
Хотя б одну из них оставил для развода!
Не смог оправиться курятник Соплицова,
Не обзавёлся он домашней птицей снова!
Но выбор туш мясных был короля достоин;
Нашлись они в дому, привезены из боен,
Из ближних, дальних мест собрали туши эти…
Одной амброзии не будет на банкете!

Настало празднество заступницы всепетой [13];
Погода ясная была уже с рассвета,
И небо чистое, как голубое ложе,
Простёрлось над землёй, с повисшим морем схоже;
Мерцали звёздочки, как перлы в синем море.
Летело облако, белея на просторе,
И погружалось вглубь спокойно, без усилья:
Не херувимские ль тонули в небе крылья?
Молитвой ангела до зорьки задержали,

Он упорхнуть спешит в светлеющие дали.

В бездонной глубине созвездья потускнели,
Небесное лицо светилось еле-еле;
Хоть правая щека ещё в тени лежала,
Однако левая зарделась яркоало.
И точно веко, вдруг округлость небосклона
Слегка раздвинулась, — блеснуло око сонно.
И, как зрачок, в глазу зажёгся луч играя,
Всё небо прочертил от края и до края,
Стрелою золотой туманность рассекая.
Вот по сигналу дня зажглись потоки света,
И тысячи лучей скрестились, как ракеты,
А солнце выплыло лениво, утомлённо,
Спросонок щурилось, взирая с небосклона.
Семью цветами вдруг оно блеснуло сразу,
Как яхонт алое, а то под стать топазу,
И засверкало всё хрустальными огнями,
Потом брильянтами и, наконец, как пламя.

По светлому пути, на небесах высоко,
Большое, как луна, шло солнце одиноко.

Перед часовнею, задолго до восхода,
Со всех сторон сошлась тьма тьмущая народа;
Как будто собрались на поклоненье чуду
Благочестивые крестьяне отовсюду.
И любопытство их к тому же разбирало:
На мессу — ждали ведь сегодня генералов, —
Вождей прославленных народных легионов,
Которых знали все и чтили, как патронов,
Чьи подвиги, бои, скитанья на чужбине
Служили на Литве евангелием ныне.
Солдаты собрались, и офицеры с ними;
Любуется народ героями своими, —
Свободны земляки, блестят на них мундиры;
По-польски говорят солдаты, командиры!

Вот месса началась, но не вместит каплица
Такого сборища желающих молиться.
Сняв шапки, на траве поклоны бьют литвины;
Льняные волосы белы у половины,
А у другой жёлты, со спелой рожью схожи;
Головки девичьи кой-где мелькают тоже;
Красуются в венках со свежими цветами,
И ленты яркие в их косах за плечами.
Среди мужских голов они, как в гуще злаков,
Не отличаются от васильков и маков.
Все наклоняются под звоном колокольным,
Точь-в-точь колосья нив под ветром своевольным.

Крестьянки на алтарь заступницы пречистой
Несут дары весны — снопы травы душистой:
Везде лежат венки, на всём налёт весенний,
Цветами повиты и колокол и сени.
Прохладный ветерок, поднявшийся с восхода,
Кой-где свалил венки на головы народа,
И фимиамом вдруг повеяла природа.

Вот месса отошла. За проповедью вскоре
На паперти собрал пришедших Подкоморий,
Маршалком выбрали его конфедераты,

Едва лишь собрались сословий депутаты [14].
На нём цветной жупан, кунтуш горит атласом,
И слуцким поясом маршалок опоясан,
На поясе — палаш с блестящей рукоятью,
На шее — бриллиант, блеск придающий платью,
В конфедератке он с плюмажем драгоценным,
Который носится по праздникам священным:
Из белой цапли он и выглядит богато,
Платили за перо не менее дуката!
Вот все на паперти столпились в полном сборе,
Торжественную речь держал к ним Подкоморий:

«О братья! Нам ксендзом объявлено с амвона,
Что вольною теперь считается Корона,
И с Польшею уже Литва соединилась,
И созван общий сейм, как в старину водилось.
Уже дошла до вас объявленная милость!
А я вам передам ещё одно известье, —
Касается оно восстановленья чести
Помещиков Соплиц.

Вы знаете, литвины,
Поступки Яцека, его былые вины,
Но если грех его известен всей округе.
То вам пристало знать и Яцека заслуги.
От генералов я узнал о них, и с вами
Я поделюсь теперь приятными вестями:
Не умер Яцек тот, как говорили в Риме,
А только изменил своё житьё и имя.
Великой святостью и подвигом терпенья
Он искупил сполна былые прегрешенья:
Под Гогенлинденом, в той битве незабытой [15],
Где Ришпанс отступал, австрийцами разбитый,
Не зная, что к нему Князевич вёл отряды,
Он, Яцек, Робак тож, под грохот канонады
Ришпансу весть принёс, что близко подкрепленье,
И наши перешли тотчас же в наступленье.
В Испании, когда отправились уланы
Самосиерру брать, он получил две раны [16];
Ведь с Козетульским там сражался он бок о бок!
Тайком переносил потом приказы Робак,
Людей испытывал, налаживал он связи;
Всех подвигов его не перечтёшь в рассказе.

И здесь готовил он восстание, панове,
Но при наезде сам скончался в Соплицове.
Едва об этом весть до Польши докатилась,
От императора тотчас же вышла милость:

Покойник награждён рукой Наполеона
Отличием — крестом почётным легиона.

Все эти сведенья примите во вниманье.
Ведь, как маршалок, я веду теперь собранье
(Впервые новый чин я предаю огласке),
За службу Яцека и по монаршей ласке
Пятно бесчестия навеки с Яцка смыто,
И патриотом я зову его открыто!
И кто из вас, друзья, хотя бы ненароком
Обмолвится теперь о Яцеке с упрёком,
Тот будет отвечать, как видно из статута,
За опороченье, и с ним поступят круто.
Под кару попадёт и шляхтич именитый,
И мещанин простой, ничем не знаменитый,
Еврей и хлебороб, живущие в повете:
О равенстве таком гласит артикул третий [17].
Пусть писарь поспешит в акт занести решенье,
А Возный сделает позднее оглашенье!

Легионера крест — подарок величавый,
Он имя Яцека покрыл бессмертной славой;
Хотя и не вручён при жизни был герою,
Могильный холм его украсит он собою.
Потом снесём его заступнице экс-вотум,
Завещанный её слугой и патриотом».

Маршалок, кончив речь, обвёл глазами раду,
И на могильный крест повесил он награду:
Бант, пышно связанный на ленточке червонной,
И звёздный белый крест под рыцарской короной.
На солнце заблестел он золотом оправы,
Как отблеск дел земных в сияньи вечной славы.
Тут на колени все торжественно склонились
И за усопшего усердно помолились.
Вот произнёс Судья приветственное слово
И отобедать всех позвал он в Соплицово.

Сидели старики на лавочке у входа,
Поставив рядышком два полных жбана мёда,
Смотрели в сад они. Средь маков, майорана,
Ну, впрямь подсолнечник, блестел шишак улана,
Он золотой, перо за ремешок заткнуто;
А рядом — девушка в зелёном, точно рута;
Она невысока, глаза, как первоцветы;
Подруги по саду гуляют разодеты,
И, чтобы парочке не помешать влюблённой,
Поодаль рвут цветы в густой траве зелёной.

Потягивают мёд друзья, забыв раздоры,
И, нюхая табак, заводят разговоры.
«Да, да, Гервазинька», — заговорил Протазий.
«Да, да, Протазинька», — ответствовал Гервазий.
«Да, да!», — промолвили они согласно снова,
Кивая в такт речам, а Возный молвил слово:
«Что ж, кончился процесс; я не скажу худого, —
Бывает всякое; запомнил я процессы,
В которых видывал и худшие эксцессы,
Но брачный договор кончал и рознь ими ропот [18].
С Борзобогатыми так помирился Лопот,
Крепштулы с Куптями, Путраменты с Пиктурной,
Мацкевич с Одынцом, Квилецкий с родом Турна.
Что говорить! Литвы с Короною раздоры
Горешков и Соплиц превосходили ссоры,
А лишь за ум взялась Ядвига-королева, —
Интрига кончилась без крови и без гнева.
Когда есть у сторон девицы или вдовы —
На примирение пойти мы все готовы.
Но тяжбы с церковью не разрешишь умело,
И с кровными вражда продлится без предела,
Затем, что свадьбою нельзя закончить дело!
Спор Руси с ляхами сильней был год от года,
Хотя произошли от братьев оба рода;
И с крыжаками нам тягаться надоело,

Пока не одолел в конце концов Ягелло [19],
С доминиканцами у Рымши бесконечно
Тянулся давний спор, и длился бы он вечно,
Но выиграл его доминиканец Дымша.
С тех пор и говорят: „Бог выше, чем пан Рымша“;
Мёд лучше „Ножичка“, — добавлю я для связи».
Тут кружку осушил за Ключника Протазий.

«Всё правда, — отвечал ему старик польщённый, —
Дивит меня судьба возлюбленной Короны
И дорогой Литвы! Сам бог соединил их,
Но замешался чёрт, супругов ссорит милых.
Что ж, брат Протазинька, а ведь и в самом деле
К нам из Короны вновь поляки прилетели!
Служили вместе мы, в одних полках. Поляки,
Как правды не сказать, достойные вояки!
Когда покойный пан их увидал бы только!
Эх, Яцек! Ничего, что слёзы лить без толку?
И раз Литва опять соединилась с Польшей,
То позабыто всё, грустить не надо больше!»

«Не диво ли, — сказал Протазий, — приключилось,
С той Зосей, что теперь с Соплицей обручилась?
Вещало знаменье брак этот непреложно!»
Но Ключник речь прервал: «Звать панной Софьей должно;
Не девочка она и рода не простого,
А внучка Стольника, тебе напомню снова».
Протазий продолжал: «Небесный знак был ясен,
Все сразу поняли, что был он не напрасен!
Сидела челядь здесь и мёд свой попивала,
Вдруг видим: падают к нам с крыши сеновала
Два воробья лихих, не прекращая драки,
И шейка серая у одного вояки
Чуть почерней другой; свернули оба крылья
И катятся клубком, осыпанные пылью.
Вмиг челядь прозвища дала тем кавалерам:
Горешки — чёрному, Соплицы — с зобом серым.

И если Серая наскакивала птица,
Кричим: «Горешкам стыд! Да здравствует Соплица!»
А если Чёрная, — кричали, не помешкав:
«Соплица, не робей, одолевай Горешков!»
Со смехом ждали все, кто победит в сраженьи,
Вдруг видим — Зосенька упала на колени,
Пернатых рыцарей накрыла ручкой белой.
Но пара и в руке смириться не хотела:
Летели пёрышки, дрались они так лихо!

На Зосю глядючи, шептались бабы тихо,
Что видно сам Господь теперь избрал девицу —
Навеки примирить Горешка и Соплицу.
Примета как-никак теперь осуществилась.
Хотя мы думали о Графе, ваша милость».
Гервазий отвечал:

«Немало есть на свете
Чудесного, да кто постигнет тайны эти?
Добавить кое-что и я могу к рассказу:
Хотя не так чудно, а не поверишь сразу.
Я не терпел Соплиц, смеялся их обидам,
Всех в ложке бы воды я утопил, но выдам,
Что я Тадеуша всегда любил безмерно, —
За удальство его с мальчишками наверно:
Всех он колачивал. И с каждым новым разом
Я подстрекал его и не к таким проказам.
Отважно приступал малыш к любому делу:
С вершины дуба он легко срывал омелу [20],
Вороньи гнёзда он сбивал с сосны шумливой, —
Всё удавалось, всё! Казалось, под счастливой
Звездою родился, — и жаль, что он Соплица!
Кто угадать бы мог тогда, что так случится
И с панной Софьей в брак Тадеуш вступит скоро!»

Тут кружки поднялись на смену разговора,
И слышались порой неясно восклицанья:

«Да, да, Гервазинька!» — «Да, да, Протазий, пане!»

Стояла их скамья близ окон кухни старой,
Откуда дым валил, как будто от пожара.
Голубкой белою парил над чёрным дымом
Светящийся колпак на поваре незримом.
Беседу стариков из верхнего окошка
Гречеха выслушал и, наклонясь немножко,
Обоим протянул по блюдечку печенья:
«Вот закусите мёд, а я для развлеченья
Напомню вам одно старинное событье,
Могло бы перейти оно в кровопролитье!
Раз мы охотились в лесу напропалую,
С Денасовым Рейтан затеял шутку злую,
Да чуть не заплатил здоровьем за проказу.
Однако помирил соперников я сразу».

Тут помешал слуга рассказчику вопросом:
«Кто сервирует стол? Кого послать с подносом?»

Смолк Войский. Старики отведали хмельного
И принялись глядеть в зелёный садик снова,
Где с Зосей говорил улан высокий, бравый.
Он левою рукой жал ручку ей (а правой
Не мог ещё владеть — не исцелилась рана),
И слушала его внимательная панна:

«Покуда мы колец ещё не обменяли,
Скажи мне, Зосенька, ты любишь впрямь меня ли?
Ты прошлою зимой уже была готова
Мне слово дать своё, но я не принял слова:
Ты согласилась бы из доброты отчасти,
Но на покорности нельзя построить счастье.
Я мало был с тобой и не могу я льститься,
Что влюбится в меня в единый миг девица;
Нет, я не фанфарон, и выполненьем долга
Хотел снискать любовь, но ждать пришлось бы долго.

Ты повторила вновь сегодня обещанье, —
Но чем я заслужил, скажи, твоё вниманье?
Быть может, потому даришь свою мне милость,
Что воле старших ты послушно покорилась?
Брак — дело важное; когда даёшь ты слово,
То сердца слушайся и никого другого;
Ни дядиных угроз, ни тётки уговора
Ты слушать не должна — и откажись, коль скоро
Меня не любишь ты; отложим обрученье, —
Быть может, заслужу твоё расположенье,
Спешить нам не к чему; ведь маршалом Домбровским
Инструктором в полку оставлен я литовском,
Придётся подождать, чтоб затянулась рана.
Что ж, Зося милая?»

В ответ сказала панна,
Поднявши голову и поглядев несмело:
«Не помню хорошо, давно ведь было дело
За пана сватали меня в былую встречу,
Я воле Господа и старших не перечу. —
Потом потупилась, сказав с улыбкой ясной:—
Когда скончался ксёндз, когда в ночи ненастной
Пан собирался в путь, я видела воочью,
Что, покидая нас, он горевал той ночью;
Я слёзы видела; признаюсь откровенно,
Запали в душу мне те слёзы, и мгновенно
Я им поверила; молилась неизменно
За пана на войне, всегда перед глазами
Стоял он, как в ту ночь, печальный, со слезами.
Гостила в Вильне я с женою Подкоморья,
И тосковала там, сама с собою споря,
По Соплицову я, по комнатке знакомой,
Где с паном в первый раз мы повстречались дома
И где расстались мы. Но памятка осталась, —
Подобно озими, всю зиму укреплялась.
Недаром пану я сказала, что грустила
Зимою в Вильне я, — всё было там немило.

Рвалась в деревню я, и сердце мне шептало,
Что пана встречу там, — я верно угадала.
Всё думала о нём, его твердила имя,
Беседуя не раз с подругами своими.
Влюблённою меня дразнили непрестанно, —
Что ж! если я люблю, то разве только пана».

Тадеуш счастлив был признанию такому,
Взял Зосю под руку и поспешил с ней к дому;
В ту комнату пошли, в которой повстречались,
В которой детские года его промчались.

Меж тем Нотариус счастливый и довольный
Услуживал своей невесте своевольной.
И бегал, поднося ей мушки и флаконы,
Перчатки, брошечки, цепочки, медальоны;
С триумфом на неё поглядывал при этом.
Но занята была невеста туалетом
И, глядя в зеркало, Венеру вопрошала.
Прислужница щипцы горячие держала,
Чтоб локоны завить, а девушки другие
В оборки кружева вшивали дорогие.

Покуда все они так время проводили,
Раздался стук в окне: мол, зайца уследили!
Бежал из лозняков он через луг украдкой,
Шмыгнул на огород, а там капустной грядкой
Прельстился и засел. Нетрудно из рассады
Поднять его и взять. Борзых готовить надо.

Вот тащит Сокола Асессор в нетерпеньи,
И кличет Куцего Нотариус в смятеньи.
Поставил Войский их на страже у забора,
А сам хлопушкою пошёл тревожить вора.
Захлопал, засвистел; сердца у них забились,
В ошейники борзых охотники вцепились,
Указывают псам, откуда ждать косого;

Насторожились псы перед началом лова
И уши подняли, предчувствуя охоту, —
Дрожа, как две стрелы, готовые к полёту.
Вдруг Войский закричал: «Ату!» вослед зайчишке,
А тот как выпрыгнет — и прочь без передышки.
Псы ринулись за ним и сразу, без усилья,
По сторонам его мелькнули, словно крылья,
И в заячий хребет вцепились разъярённо.
Заверещал косой, точь-в-точь новорождённый,
И смолк! Охотники бегут к нему; борзые
Под брюхом шёрстку рвут, довольные и злые.

Пришлась борзятникам по вкусу их сноровка!
Гречеха нож достал, отрезал лапки ловко.
«Награду равную, — он произнёс, — по праву
Снискали оба пса, работая на славу.
Искусство их могло лишь резвости равняться, —
Достоин Пац дворца, дворец достоин Паца [21].
Достойны и борзых охотники, конечно.
Итак, закончен спор, который длился б вечно;
А что касается до вашего заклада,
То выиграли спор вы оба, значит, надо
Заклад вам получить и тотчас помириться».
От этих мудрых слов разгладились их лица,
В сердцах рассеялись и ненависть и злоба,
И руки правые соединили оба.

Нотариус сказал: «В заклад коня со сбруей
Поставил, и назад заклада не беру я.
Ещё я перстенёк в залог Судье оставил, —
Обратно не возьму, то будет против правил.
Гречеха, перстенёк приняв, меня обяжет,
Пускай он вырезать свой герб на нём прикажет:
Мой перстень — золотой, к тому ж высокопробный,
И камень-сердолик на перстне бесподобный.

Конь реквизирован милицией военной,

Но сбруя у меня и ценится отменно
За лёгкость, красоту и за удобство тоже.
Седло турецкое, других оно дороже,
И на луке его огнём горят каменья,
И шёлком выстлана подушка для сиденья.
Усядешься в него, и точно в самом деле
Покоишься в пуху, на собственной постели;
А пустишься в галоп (нотариус Болеста
Не обошёлся тут без красочного жеста:
Привстал и показал, как на коня садятся,
Раскачиваться стал, изображал, как мчатся), —
А пустишься в галоп, на чепраке богато
Каменья заблестят, как будто каплет злато:
Вся сбруя золотом искрится и сверкает,
И серебро стремян на солнышке играет;
На узких ремешках и на узде узорной
Жемчужных пуговок поблёскивают зёрна,
И на нагруднике луна в гербе Леливы [22], —
Под новолуньем — крест блестящий и красивый.
Добыта сбруя та в сраженьи подгаецком[23],
Украшен ею был конь под пашой турецким.
Прими её теперь, Асессор, друг старинный!»

Тот отвечал ему с сияющею миной:
«Ошейник подарил когда-то мне Сангушко [24];
Его поставил я в заклад; он, как игрушка,
Весь яшмой выложен, на кольцах позолота,
С ним шёлковый смычок. Прекрасная работа,
Равняется ценой вполне каменьям этим.
Его в наследство я хотел оставить детям:
Женюсь я; детвора, наверное, родится.
Однако и тебе ошейник пригодится.
Дарю его тебе за княжескую сбрую
И в знак того, что спор сошёл на мировую,
Почётно кончился согласием сердечным,
И мир у нас с тобой отныне будет вечным!» —
Все к дому двинулись и вспомнили за пиром

Непримиримый спор, закончившийся миром.

Однако слух прошёл, что Войский сам украдкой
Зайчишку приручил и выпустил на грядку,

Желая примирить враждующих умело,
И удалось ему состряпать втайне дело,
Да так, что обманул старик всё Соплицово.
Позднее казачок шепнул кому-то слово, —
Хотел, конечно, он друзей поссорить снова;
Не вышло ничего, хоть не жалел он сплетен:
Рассказ Гречехи был для всех авторитетен!

Вот гости вкруг стола уже собрались в зале
И за беседою все пира ожидали.
Тут с обручёнными вошёл Судья под своды,
На нём сверкал мундир парадный воеводы.
Тадеуш отдал честь, хоть левою рукою:
Из-за ранения не мог владеть другою;
А Зося вспыхнула и очи опустила,
И реверансами всё общество почтила.
(Была обучена недаром тёткой Зося.)
На голове её венком сплелись колосья, —
В таком же платьице была она в костёле,
Где сноп оставила, который сжала в поле.
А сноп второй она среди гостей делила,
Дарила всем цветы и улыбалась мило,
Серпа на голове касаясь ручкой белой,
К другой руке вожди склонялись то и дело,
А Зосенька в ответ, краснея, приседала.

Князевич девушку взял на руки средь зала
И, по отечески расцеловавши в щёки,
Поставил Зосеньку на белый стол высокий.
Тут все захлопали, повскакивали с места:
Так хороша была смущённая невеста.
Герои на костюм литовский засмотрелись, —

Пленяла странников родного платья прелесть
Скитались столько лет изгнанники по свету,
Что им литовское простое платье это
Казалось юностью минувшею согрето,
Напоминало им былые увлеченья…
Все стали вкруг стола, не удержав волненья,
Просили девушку взглянуть и повернуться,
Головку приподнять, склониться, улыбнуться
Головку подняла и улыбнулась мило,
Но ручкою глаза застенчиво прикрыла.

Не мог на девушку Тадеуш наглядеться.
Кто Зосю научил как следует одеться?
Инстинкт ли подсказал, как ей распорядиться?
(Умеют девушки к лицу принарядиться.)
Но утром первый раз бранила Зосю тётка:
Питомица всегда повиновалась кротко,
А тут противилась, простого платья ради,
И слышать не могла о городском наряде.

В короткой кофточке была и в юбке длинной,
Зелёной с розовой полоскою поплина;
Зелёный и корсаж, но с розовой шнуровкой,
И зашнурован он до самой шеи ловко;
Грудь, чуть расцветшая, в корсаже укрывалась.
Прозрачных рукавов материя взвивалась,
Парила крыльями она в потоках света,
У кисти собрана, где ленточка продета;
А шея Зосина обтянута сорочкой
И ворот розовой отделан оторочкой;
Серёжки смастерил из косточек вишнёвых
Сам Пробка, и на них узор был не из новых:
Два сердца пламенных, пронизанных стрелою,
Он Зосе подарил, томясь любовью злою;
Две нитки янтаря сплетались воедино,
Цвёл на висках венок из веток розмарина,
И были волосы заплетены косою,

И серп на голове, обрызганный росою,
Светился серебром в траве благоуханной,
Как месяц молодой на голове Дианы.

Тут все захлопали, забыл полковник шпагу,
Скорей раскрыл портфель и раздобыл бумагу,
Смочил он карандаш, рисует Зосю смело.
Лишь увидал Судья, сейчас смекнул, в чём дело:
Художника узнал по всем его повадкам,
Хоть изменил его теперь мундир порядком,
И эполетов блеск, и весь убор уланский,
И тёмные усы с бородкою испанской.
Судья сказал: «Эге, мой Граф ясновельможный,
И в патронташе ты хранишь набор дорожный
Для рисования!» Хоть Граф простым солдатом
Отправился в поход, но так как был богатым,

То целый полк привёл и, как отважный воин,
Был императорской наградой удостоен:
Он произведён был в полковники приказом.
Судья хвалил его, Граф не повёл и глазом,
Картина целиком пленила графский разум.

Вторая пара в зал вошла слегка смущённо
Асессор, преданный слуга Наполеона,
Про службу царскую уже забыл отныне [25],
И хоть немного он часов был в новом чине,
Но шпорами звенел на плитах пола скользких,
Одетый в синие цвета жандармов польских.
С ним дочка Войского бок о бок шла, как пава,
Была она в шелках, держалась величаво.
(Асессор неспроста покинул Телимену
И, чтобы отомстить кокетке за измену,
За дочкой Войского ухаживал степенно.)
Хотя полвека ей — не молода, пожалуй,
Хозяйка добрая и капитал не малый,
Скопила денежки, что ей дарил Соплица,

И деревенька есть, всё может пригодиться.

А третью парочку напрасно долго ждали,
Дождаться не могли, слугу за ней послали, —
И доложил слуга, что перстень обручальный
Пытается найти Нотариус печальный:
Он уронил его, охотясь, а невеста
Кончает туалет, сойти не может с места;
С портнихой заперлась, а также с камеристкой,
Но окончание предвидится не близко, —
Оденется она не раньше чем в четыре.

Книга двенадцатая. ЗА БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ

Последний старопольский пир • Чудо-сервиз • Объяснение его фигур • Его перемены • Домбровский получает подарок • Ещё о «Перочинном ножике» • Князевич получает подарок • Первый поступок Тадеуша при вступлении его во владение вотчинами • Замечания Гервазия • Концерт из концертов • Полонез • За братскую любовь.

Вот с треском, наконец, раскрылись двери шире,
Пан Войский в зал вошёл; он в шапке был на пире,
Не поздоровался ни с кем он, — до того ли?
Гречеха выступал сегодня в новой роли —
Распорядителя; не выпускал он трости,
По мановению её садились гости
(Трость эту он держал, как символ руководства).
Вот Подкоморий пан — маршалок воеводства,
Как первое лицо, сел на почётном месте,
Обитом бархатом, и с ним уселись вместе,
По правой стороне — сам генерал Домбровский,
По левой стороне — Князевич, Малаховский.
Невдалеке от них маршалкова супруга,
Шляхетство, воины, рядком друг подле друга, —
Где Войский указал, там разместились чинно;
За каждой дамою ухаживал мужчина.

Почтив своих гостей, Судья ушёл к крестьянам,
Собрал их во дворе он за столом пространным, —
Длиной во сто шагов. Смогли все разместиться:
Плебан — в одном конце, в другом конце — Соплица.
Тадеуш с Зосею, конечно, не сидели,

Но, потчуя гостей, и сами с ними ели;

Так по обычаю пристало новым панам —
Сперва прислуживать самим своим крестьянам.

А гости за столом беседовали в зале,
Сервизу славному вниманье уделяли [1]:
Работа тонкая всё общество дивила.
(Сервиз когда-то был Сиротки Радзивилла.) [2]
По замыслу его исполнен в польском стиле,
В Венеции его художники отлили.
Потерян был сервиз в связи с войною шведской [3],
Бог знает как потом попал он в дом шляхетский!
Теперь он украшал парадные банкеты.
Поднос был с колесо объёмистой кареты,
Застыли сливки там короной ледяною,
Был сахар белый схож со снежной пеленою;
Картина зимняя, привычная для взгляда;
Посередине — бор варений, мармелада,
А по бокам его ютились на опушке
Селенья малые, застянки, деревушки —
И, замыкая круг роскошного прибора,
Стояли ловкие фигурки из фарфора,
Все в польских кунтушах, похожи на артистов,
Кто хмур, кто величав, кто весел, кто неистов,
У каждого свой цвет, свой жест, все, как живые,
Досадно лишь одно, что все они немые!

«Что делают они?» — допытывались гости.
И Войский объяснял, не выпуская трости
(В то время принесли бутылки и стаканы):
«Когда позволят мне вельможнейшие паны,
Я расскажу, что здесь дано изображенье
Старинных сеймиков в обычном их теченьи:
Голосование, совет, триумф. Ну, словом,
Я разгадал спектакль и расскажу его вам:

Направо — гости здесь, как видите, панове,
Приглашены на пир, стол рядом, наготове,

Однако же за стол фигурки не садятся,
А совещаются, кого бы им держаться?
Здесь в каждой группке их — оратор в середине
Стоит с раскрытым ртом; по возбуждённой мине

Видать, что говорит, что голоса считает
И на руках своих он пальцы загибает,
Что называет он различных кандидатов;
По лицам шляхтичей не видно результатов.

Направо, в группе той, не доверяя слуху,
Иной свою ладонь прикладывает к уху,
И крутит ус другой рукою молчаливо,
Как видно, увлечён оратором на диво!
Оратору легко, он видит их вниманье,
Как будто голоса лежат в его кармане.

А в третьей группе вид досадный и унылый, —
Оратор шляхтичей удерживает силой,
Схватив за пояса; а те, взгляните, рвутся!
И слушать не хотят, ну, только не дерутся!
Один оратору грозит во гневе яром
И хочет рот ему заткнуть лихим ударом,
Вот, кажется, боднёт оратора рогами…
Те сабли вынули, а те уж за дверями!
Тот в нерешимости: кому отдать свой голос?
Видать, что голова от мыслей раскололась,
Как поступить ему, не знает, — вот в чём дело,
И полагается он на судьбу всецело!
Зажмурил он глаза и пальцем в палец метит,
Чтоб ногти их сошлись. Пускай судьба ответит
Когда сойдутся, он подаст аффирмативу,
А не сойдутся, он положит негативу! [4]
Здесь рефектариум монастыря стал залом [5],
В нём выборы идут. В молчаньи небывалом
Уселись старики, а молодые, стоя,
Глядят во все глаза, там что-то непростое! —

Маршалок посреди пред урной с голосами,
Считает он шары, их шляхта ест глазами.
Но вот последний шар, и возные согласно
Избранника теперь назвали громогласно.

А этот шляхтич вот с решеньем не согласен,
Из кухни выглянул, взгляните, как он красен!
Глаза таращит он, разинув рот широко.
Как будто бы пожрёт всех во мгновение ока!
Нетрудно угадать, что закричал он: «вето!
»Что шляхта на него набросится за это;
Те кинулись к дверям, те взяли сабли — право,
От битвы не уйти жестокой и кровавой.

Взгляните в коридор хотя бы на мгновенье,
Увидите ксендза, идёт он в облаченьи, —
То приор! К спорящим санктиссимум выносит,
А мальчики звонят и расступиться просят;
Оружье спрятано, все на колени пали,
Лишь кое-где ещё увидишь отблеск стали;
Но пред святынею смирятся все буяны…

То время доброе давно умчалось, паны,
Когда шляхетские разнузданные страсти
Обуздывать могли без полицейской власти [6].
Все свято верили и уважали право,
Порядок с волей был, и шла с богатством слава!
Меж тем в иных краях немало есть драбантов,
Чинов полиции — констеблей и сержантов,
Но там, где служит меч порукою охраны,
Не верю, чтобы там была свобода, паны!»

По табакерке тут ударил Подкоморий:
«Пан Войский, знаете вы множество историй
О сеймиках, но их на время отложите,
Подумайте теперь о нашем аппетите!»
С поклоном Войский встал, и трость к земле склонилась:

«Ясновельможный пан, мне окажите милость!
Кончается рассказ, одна осталась сцена:
Маршалка нового выносят вдохновенно
Из рефектария; все чествуют собрата,
Бросают шапки вверх, лишь не слыхать вивата!

Вон там отвергнутый стоит уединённо,
Надвинул шапку он себе на лоб смущённо,
А дома ждёт жена — по взгляду догадалась.
Упала в обморок! Несчастная! Вот жалость!
Ясновельможной быть несчастная мечтала,
Теперь вельможною осталась, всё пропало!» [7]

Рассказ окончился, и тотчас же лакеи
По знаку Войского несут обед скорее.
Здесь королевский борщ близ польского бульона[8]
В который опустил Гречеха потаённо
Жемчужин несколько и крупную монету, —
Переходил рецепт бульона по секрету.
Он вкусен был, служил для очищенья крови
И силы укреплял, поддерживал здоровье,
Другие яства шли, — они забыты нами:
Фрикасы вкусные, аркасы с блемасами,
С ингридиентами контузы, фигатели,
Помухли с соусом, пинели и брунели…
А сколько за столом дунайской лососины,
Отборнейшей икры, чудесной осетрины!

И мелких, крупных щук здесь выбор пребогатый,
Меж карпов были тут и шляхта и магнаты,
А щука-уникум струила ароматы —
С печёной головой и с жареной серёдкой
Варёный хвост парил над жаркой сковородкой.

Но гости, не спросив, как называлось блюдо,
И даже не дивясь на поварское чудо,
За яства принялись с завидным аппетитом

И запивали их венгерским знаменитым.

Меняется сервиз [9] — там, где снега белели,
Прошла уже зима, луга зазеленели.
Произвело тепло такую перемену,
Все сливки растопив и сахарную пену;
Представилось гостям другое время года,
Весенний ясный день, расцветшая природа:
Побеги выбились, зазеленели злаки,
Взошли, как на дрожжах, и васильки и маки
В пшенице золотой, окрашенной шафраном,
Засеребрилась рожь под сладким марципаном,
Гречиха зацвела (она из шоколада),
Запахли яблони в тени густого сада.

Спешило общество вкусить утехи лета,
Просило Войского продолжить время это…
Увы! Круговорот законный совершая,
Сервиз меняется — вот осень золотая!

Поблекшая трава, и листья покраснели.
Здесь на ветвях они держались еле-еле, —
Вдруг осыпаются, как будто бы сорвало

Осенним вихрем их, — листвы как не бывало!
Лес обнажён, в тени деревьев не укрыться…
Темнеет голыми стручочками корица,
Да лавра веточки чернеют в зёрнах тмина, —
А были соснами! Печальная картина!
Тут гости веточки и сучья оборвали
И принялись их грызть, венгерским запивали.

Гречеха радости и гордости был полон,
Глазами общество с достоинством обвёл он.
Домбровский, наконец, промолвил в удивленьи:
«Пан Войский, что это? китайские ли тени? [10]
Быть может, перенял пан волшебство Пинети? [11]

Откуда на Литве взялись сервизы эти?
И хлебосольство здесь такое же всегда ли?
Скажите нам, Литвы давно мы не видали!»
Гречеха отвечал: «Нет, пан ясновельможный.
Мне бесов не ссужал на пир колдун безбожный!
Обед наш — образец старинных тех обедов,
Что были некогда у прадедов и дедов,
Когда страна была счастливой и могучей.
Рецепты вычитал я в книжке самой лучшей.
Увы! обычаи забыты в наши годы,
И поддалась Литва влиянью новой моды:
Скупятся и у нас, не терпят, мол, избытков,
Не подают гостям достаточно напитков.
Венгерского не пьют, а тешатся шампанским,
Московской модою — напитком шарлатанским —
И, деньги на пиры для шляхтичей жалея,
Спускают золото, за картами шалея!
Я вам поведаю и собственное горе, —
Пусть не обидится на это Подкоморий, —
Когда из сундука я взял сервиз старинный,
Он повстречал его насмешливою миной,
И хламом называл, машиной старосветской,
Пригодной для забав, ну разве только в детской!
К приёму знатных лиц, сказал он, не годится,
И поддержал его — увы! — судья Соплица.
Но выразили вы теперь мне восхищенье,
А, значит, тот сервиз и впрямь на загляденье!
Не знаю, будем ли ещё когда, панове,
Мы чествовать гостей столь знатных в Соплицове

Знаток банкетов вы, и я просить вас стану
В дар эту книжку взять: понадобится пану
Монархов принимать в гостях у легиона,
Быть может пир задать и в честь Наполеона!
Поможет книжечка вам не одним советом.
Как получил её, я расскажу об этом».

Тут шум послышался, — то шляхтичи кричали:
«Пускай живёт Забок, не ведая печали!»
Толпа ввалилась в зал, Матвей шёл с нею вместе.
Судья приветствовал Добжинского по чести,
С вождями усадил на самом видном месте,
И выговаривал он ласково соседу,
Что позже всех пришёл и опоздал к обеду.

«Я здесь не для еды, обедаю я рано,
Из любопытства лишь пришёл на праздник пана.
Чтоб нашу армию увидеть на постое.
Она — ни то ни се, сказал бы, да не стоит!
Но шляхта не дала уйти мне от обеда.
Ты усадил за стол, — благодарю соседа».
В знак, что не хочет есть, тарелку опрокинул
И хмурым взглядом он всё общество окинул.

Домбровский Матека окликнул восхищённо:
«Не ты ль с Костюшкой был ещё во время оно?
Ты, точно ль, Матек тот? Твоей наслышан славой!
Ты свеж по-прежнему, как прежде — воин бравый!
А сколько лет прошло! Не тот я, что бывало;
Князевич поседел — взгляни на генерала, —
А ты и молодым не уступил бы в силе,
И „Розгу“ славную года не подкосили;
Ты москалей побил, не изменила смелость.
Где ж родичи твои? Безмерно мне б хотелось
Увидеть „Ножички“ и „Бритвы“ ваши снова,
Цвет дедовской Литвы и рыцарства былого».

Судья Домбровскому ответствовал на это:
«В леса ушли они, попрятались от света,
Легионерами вступили под знамёна».
«И правда, — подтвердил начальник эскадрона, —
Во взводе у меня усатое страшило —
Вахмистр Добжинский есть, по прозвищу «Кропило».
Медведем из Литвы прозвали мы рубаку, —

Захочешь — позову усатого вояку».
А капитан сказал: «Ходил литовец в битву,
В отряде знали все отчаянного «Бритву»;
Был в коннице у нас другой правофланговый;
Два гренадера есть у нас в полку стрелковом
Добжинских».

«Встретиться хотел я с их главою,
Известен „Ножичек“ нам славой боевою.
О нём пан Войский мне рассказывал пространно,
Изображал его почти как великана».
«Хотя он не бежал, — ответил Войский, — всё же.
Подальше от греха — вояка скрылся тоже;
Всю зиму по лесам скитаясь одиноко,
К нам на призыв пришёл он во мгновенье ока;
Гервазий полон сил и рвётся в бой. Однако
Годами староват испытанный рубака».
Гут Войский указал на сени: «Ваша милость,
Да вот он!..» Дворня там с крестьянами толпилась.
И лысина одна над тьмой голов всходила,
Как в новолуние небесное светило,
Ныряла по пути и двигалась к проходу, —
То Ключник проходил и кланялся народу.
«Пан гетман, — так сказал Домбровскому он смело [12], —
А нет, так генерал, не в титулах тут дело, —
По слову твоему пришёл, — лишь долетело, —
Рубака с «Ножичком»; мой нож не за оправу —
За подвиги свои стяжал такую славу,
Что донеслась она и до тебя сегодня.
А разреши ему святая власть господня,
О старой бы руке порассказал он много:
Служила хорошо, не забывая бога,
Отчизне, а потом Горешков славных роду.
Та служба памятна и посейчас народу.
Так перья писаря не очиняют славно,
Как головы срубал мой «Ножичек» исправно,
А сколько ссек носов! Не счесть и половины!

И ни единой нет на «Ножичке» щербины.
И не запятнан он, могу сказать без лести, —
Рубился на войне, на поединках чести,
А беззащитного он положил на месте
Лишь раз один, и то отнюдь не ради мщенья —
«Pro bono publico!» — для общего спасенья!»

«Прекрасный «Ножичек!» — промолвил вождь со

смехом, —

Таким бы мог палач сечь головы с успехом!»
Тут взял он в руки меч, дивясь его размеру,
И передал его другому офицеру.
Испробовали всё, да только бесполезно:
Никто поднять не мог рапиры той железной.
Все об отсутствии Дембинокого [13] жалели, —
Вот он бы справился! Силач был, в самом деле.
Лишь эскадрона шеф и богатырь Дверницкий
Да взводный командир, поручик пан Ружицкий [14],
Могли с трудом поднять железную махину:
Меч по рукам пошёл, переходя по чину.

Князевич между тем и ростом великанским,
И силой превзошёл других в полку уланском.
Мечом, как шпагаю, взмахнул он пред собою, —
И точно молния сверкнула над толпою!
Припомнил генерал сперва удар «крестовый»,
А после «мельницу», удар и выпад новый,
«Украденный» удар и выпады терцетом.
Какие в корпусе преподают кадетам.

Он фехтовал смеясь. Пал Ключник на колени
И обнимал его, и плакал в умиленьи:
«Чудесно, — восклицал, — так бились мы когда-то!
Мопанку, узнаю в тебе конфедерата! [15]
Вот так Пулавский бил, а это — выпад Савы [16]

Кто ж руку панскую тренировал для славы?
Наверно, Матек сам! Присягу дам святую,
Что этот выпад — мой, я не хвалюсь впустую:
Я обучил ему сородичей. «Мопанку»
Он назван в честь мою, как ведомо застянку.
Кто ж выучил тебя? Хотел бы очень знать я».
Поднялся и схватил Князевича в объятья:
«Умру спокойно я! Век прожил не короткий,
И не останется дитя моё сироткой;
Всё думал я о нём и тосковал порою,
Что он заржавеет, когда глаза закрою! —
Но не заржавеет! Ясновельможный пане,
А нет, так генерал, — что толку в этой дряни,
В шпажонке узенькой — немецкой глупой штуке?

Потомок шляхтича, возьми-ка саблю в руки!
У ног твоих сложил я «Ножик перочинный».
Он для меня был всем — и счастьем и кручиной.
Ведь не женился я и не имел дитяти, —
Он заменял мне всех; ни разу из объятий
Моих не выходил; я, как зеницу ока,
Берёг его всегда, со мной и спал он сбоку!
Когда ж я постарел, то осенил он ложе,
Как осеняет кров еврея слово Божье!
В могилу «Ножичек» хотел я взять с собою, —
Владельца он нашёл и вновь годится к бою!»

Со смехом искренним, взволнован простотою,
Промолвил генерал: «Ты станешь сиротою,
Когда уступишь мне ребёнка и супругу,
Утратишь в старости опору и подругу!
Но чем вознагражу тебя за жертвы эти,
За дар, которого дороже нет на свете?»

Тут Ключник закричал: «Что я, Цыбульский, что ли,
Который проиграл жену по доброй воле [17],
Как песня говорит? Мне и того довольно,

Что «Ножик» мой блеснёт ещё на свете вольно
В такой руке! Прошу о том лишь генерала,
Чтоб длинен был темляк, как лезвию пристало.
Тогда, как рубанёшь ты недруга от уха, —
То разом рассечёшь от головы до брюха».
Князевич принял меч, но был он слишком длинный,
И слуги унесли заветный «Перочинный».
Что стало с «Ножичком», есть разные рассказы,
Но больше не видал его никто ни разу.

«А что же ты, Матвей? — спросил его Домбровский, —
Не весел и не пьёшь? Ты, удалец литовский?
Не радуешься ты орлам белее снега,
Орлам серебряным и золотым [18], коллега?
Не рад костюшкиной побудке молодецкой?
Как не почувствовал ты гордости шляхетской?
Я думал, если ты и сабли не отточишь,
То выпить с нами ты, наверное, захочешь
За императора и за надежды Польши!»

«Слыхал, — сказал Матвей, — чего и слушать дольше
Но двум орлам в одном гнезде не поместиться,
А милость кесаря ведь может измениться!
Наполеон — герой! я возражать не стану!
Но о Пулавских всё ж хочу напомнить пану.
Они о Дюмурье твердили меж собою,
Что Польше надобно и польского героя [19].
Не итальянского и не француза — Пяста,
Юзефа ль, Матека, а нет, так Яна! Баста!

Про войско говорят, что польское! Сапёры
И фузильеры есть [20], вступать не стану в споры.
Немецких прозвищ здесь побольше, чем народных,
Кто разберётся в тех названиях негодных?
Должно быть, с вами тут и турки, и татары,
Схизматики ещё — не миновать им кары!
Сам видел, как они бесчинствуют в деревне [21],

Бьют женщин, не щадят и веры нашей древней!
Торопятся в Москву! Далёкая дорога,
Коль выбралось его величество без бога!
Слыхал, что проклят он и отлучён костёлом…»
Хлеб размочил старик в молчании тяжёлом,
И начал есть его, не видя проку в споре.

Уже на Матека косился Подкоморий,
Роптала молодёжь; но тут о третьей паре
Соплица возвестил, и ропот смолк в разгаре.
То был Нотариус. Не назови он имя,
Неузнанным бы он остался меж своими:
Привык он к кунтушу, однако Телимена
Сменить его на фрак велела непременно [22];
И вот он был одет согласно новой моде,
Хотя видать, что фрак претит его природе, —
Он жесты так любил! А нынче прям, как спица,
Шагает, как журавль, боится оступиться;
Хоть с миной важною, а всё в тяжёлой муке,
Не знает, что сказать, куда засунуть руки.
Заткнуть за пояс их — нет пояса на платье;
Водил по животу руками; вдруг — проклятье! —
Ошибку понял он и стал краснее рака
И руки заложил в один кармашек фрака.
Он, как сквозь строй, прошёл под шёпот изумленья;
Стыдился фрака он, как будто преступленья;
А Матька увидав, затрясся от боязни.

До сей поры Матвей с ним жил в большой приязни,
Теперь же взгляд его беднягу жёг, как пламя.
Застёгивался он дрожащими руками, —
Казалось, раздевал его Забок тем взглядом;
И так был разъярён Матвей его нарядом,
Что дурнем обозвал средь целого собранья
И вышел, не сказав и слова на прощанье,
И, на коня вскочив, помчался прочь мгновенно.

Меж тем, счастливая невеста Телимена
Сиянье красоты, улыбки расточала,
И мода грацию красавицы венчала.
Причёска и наряд, всё было здесь прекрасно, —
Пером не описать, рассказывать напрасно, —
И кисть художника нам передаст едва ли
Брильянты, кашемир, тончайший тюль вуали,
Румянец на щеках и томный вздох печали.

Граф увидал её и стал бледней бумаги,
Вскочил из-за стола, сжав рукоятку шпаги:
« Ты ль это? — возопил, — иль обмануло зренье?
Другому руку жмёшь при мне ты без стесненья?
О вероломная! Нарушившая слово!
Как не провалишься ты со стыда такого?
Изменница, тебе я предан был так страстно
И на груди носил цвета твои напрасно!
Но горе жениху, — за это оскорбленье
Он, лишь убив меня, пойдёт на обрученье!»

Мужчины поднялись, Нотариус смешался,
Пан! Подкоморий их уговорить старался.
Но Граф был отведён в сторонку Телименой:
«Ещё не связаны мы клятвою священной;
Когда захочешь ты… жду твоего ответа:
Скажи мне попросту, и если правда это,
Что любишь ты меня, — я тотчас же готова
С тобою в брак вступить у алтаря святого,
А слово данное возьму тогда обратно».
Но Граф ей отвечал: «Нет, мне ты непонятна!
О женщина, была ты прежде поэтичной,
Но кажешься теперь простой и прозаичной!
Цепями назову я этот брак, конечно, —
Он вяжет не сердца, а руки лишь навечно.

Порой в молчании таится вздох признаний,
Есть обязательства помимо обещаний!

Разлука не властна над пылкими сердцами,
Они, как звёздочки, беседуют лучами;
И к солнцу оттого всегда земля стремится,
А месяц на неё глядит — не наглядится,
Друг к другу их ведёт кратчайшая дорога,
Но не сближаются они по воле Бога!»

«Довольно вздор молоть! Да я ведь не планета,
Я женщина! Пора тебе постигнуть это!
Давно наскучила мне болтовня без толка,
И если скажешь ты хотя бы слово только,
В лицо твоё вцеплюсь я десятью ногтями
И расцарапаю, клянусь, перед гостями».
«Не стану я мешать ни счастью, ни обрядам!»
И Граф неверную не удостоил взглядом,
А чтоб ей отомстить и нанести обиду,
Он за другою стал ухаживать для виду.

Желая помирить поссорившихся сразу,
Пан Войский приступил к искусному рассказу,
Про Налибокский лес заговорил пространно
И про денассову обиду на Рейтана [23].
Но ужин кончился, десерт уже доели,
И гости в сад пошли и прохладиться сели.
Там по рукам крестьян жбан ходит вкруговую,
Играет музыка мелодию живую.
Зовут Тадеуша, а он стоит на месте
И что-то на ушко твердит своей невесте.

«О важном деле я хочу спросить совета;
Согласен дядюшка, что скажешь ты на это?
Ты знаешь, я теперь вступаю во владенье
Имуществом твоим, а в деревнях, в именьи —
Твои крестьяне, прав над ними не имею,
Без госпожи решать судьбы крестьян не смею.
Хотя отчизной мы владеем, Зося, снова,
Но к мужикам она, как мачеха, сурова.

Что им сулит она? Хозяина другого?
Пускай не плохо б им жилось у нас, родная,
Но если я умру, — что ждёт их, я не знаю;
К тому же я солдат, и смертны мы с тобою,

Я человек, боюсь играть чужой судьбою;
Рабовладельцем быть позорно человеку, —
Хочу отдать крестьян; под правую опеку.
Свободны мы с тобой, подарим им свободу,
Землёй наследною дадим владеть народу [24].
Мужик рождён на ней, и до седьмого пота
Он трудится — весь мир живёт его работой!
Но только не забудь, что с дарственною этой
Беднее станем мы, и на меня не сетуй.
Я к бережливости привык ещё измлада,
Ты ж — рода знатного, тебе богатства надо.
Нужды не знала ты, когда жила в столице, —
Захочешь ли со мной от света удалиться,
В деревне жить?»

Ему так Зося отвечала:
«Я — женщина, решать самой мне не пристало.
Ты — будущий мой муж; юна я для совета,
Что скажешь, соглашусь от всей души на это!
И если от того бедней мы станем, что же?
Ты будешь для меня тогда ещё дороже.
Про знатность я свою, — сказала Зося кротко, —
Забыла; помню я, что с нищею сироткой
Соплицы нянчились, как с детищем желанным,
И замуж выдают, и наградят приданым.
А жизнь столичную совсем я позабыла;
Деревни не боюсь, — всегда её любила.
Поверь, что индюки, и голуби, и куры
Милей мне во сто крат, чем Петербург тот хмурый.
По развлечениям я, помнится, грустила,
Но в детстве, а теперь всё в городе не мило!
Деревню я люблю и жизнь с простым укладом —

Возню с пернатыми, уход за птичьим садом;
Не забывала я и в Вильне Соплицова.
Труда я не боюсь, я молода, здорова,
С ключами хлопотать привыкла я по дому,
Хозяйству рада я и не стремлюсь к иному!»

Пока с Тадеушем так Зося говорила,
Гервазий подошёл и так сказал уныло:
«И я уже слыхал об этих новых планах!
Судья мне рассказал, жалею о крестьянах!
Не оказалась бы та выдумка немецкой, —

Свобода искони была у нас шляхетской!
Хотя произошли все люди от Адама,
Но хлопы, слышал я, ведут свой род от Хама,
От Сима — шляхтичи, евреи — от Яфета [25], —
Зато мы властвуем от сотворенья света.
Однако говорит не так плебан с амвона…
Мол, тот порядок был ещё во время оно,
Но сам Христос не внял писаниям закона:
Он в яслях родился, хотя был царской крови,
Среди евреев рос — не различал сословий;
Пусть будет так, когда иначе невозможно!
Когда угодно то моей ясновельможной
И дать согласие моя хозяйка рада,
То ей повелевать, — мне подчиняться надо,
Глядите только вы, чтоб зла не получилось
Из этой вольности, как при царе случилось:
Когда решил пан Карп дать хлопам отпускную [26],
То подать наложил на них москаль тройную.
Советую тебе шляхетство дать крестьянам,
Присвоив им гербы, как настоящим панам.
Пусть пани даст одним селеньям «Козерога»,
Другим «Леливу» даст Соплица, волей Бога.
И я себе тогда признаю хлопа равным,
Когда его с гербом увижу достославным.
Сейм утвердит гербы.

Пусть знает пан Соплица —
От этой отпускной ему не разориться;
Ведь не допустит Бог, — а все мы в Божьей воле,
Чтоб внучке Стольника пришлось нажить мозоли.
Фамильное добро запрятано в руинах,
Там много золотых колец, монет старинных:
Запястья ценные, цепочки и браслеты,
И сбруя дивная, и сабли, и стилеты.
Стерёг сокровище я, как зеницу ока,
От москалей, от вас, Соплиц, зарыл глубоко.
Добро до сей поры укрыто потаённо,
Достанется теперь наследнице законной.
С ним талеров мешок я спрятал полновесный, —
Их заработал я всей долгой службой честной.
Я ждал, что замок нам достанется в наследство,
Хотел я на ремонт истратить эти средства…
Что ж, новым господам запас мой пригодится,

Ведь поселюсь теперь я у тебя, Соплица,
И на покое мне привольно будет житься!
Горешков вынянчу я третье поколенье,
Сыночка обучу рубить на загляденье.
А родится сынок, — на это есть причина:
Во время войн всегда жена приносит сына».

Едва закончил речь растроганный Гервазий,
Шагами важными к ним подошёл Протазий.
Он из-за пазухи достал огромный свиток,
Почти что в три листа, хранивший чувств избыток.
То юный офицер, товарищ по походу,
Посланье сочинил: торжественную оду.
Хоть он в мундире был, но с жаром беллетриста
Пера не оставлял. Протазий строчек триста
Прочёл; дойдя до слов: «О ты, чьей красотою
Я в сердце поражён и восхищён мечтою!
Когда покажешь лик ты в лагере Беллоны [27],

Рассыпятся мечи, красой испепеленны!
Ты Марса порази оружьем Гименея[28],
Сорви рукой с чела обвившегося змея!..»
Хвалила парочка творение поэта,
Но в их сердцах оно не вызвало ответа.
Меж тем плебан уже успел сказать крестьянам,
Что вольностью они пожалованы паном.

Едва услышали слова его крестьяне,
Как в ноги бросились Тадеушу и панне.
«Живите вечно вы!» — кричали со слезами.
Тадеуш отвечал: «Живите вечно сами!»
«Да здравствует народ!» — провозгласил Домбровский.
«Да здравствуют вожди!» — гремит ответ литовский.
«Да здравствует народ, крестьяне, все сословья!»
На тысячи ладов звенели славословья.
Хваля проект, хотел его переиначить
Пан Бухман и ещё комиссию назначить,
Чтоб уточнить ясней намеренья и цели,
Но так как времени на это не имели,
То шляхтичи ему внимать не захотели.

Вот с дамами вожди, с солдатами крестьянки
Попарно строятся пред замком на полянке.

«Играйте полонез!» — толпа в одно вскричала,
И подают сигнал оркестру для начала,
Но просит пан Судья тихонько генерала,
Чтоб музыка его пока что не играла:
«Племянника теперь справляю обрученье, —
От предков повелось у нас обыкновенье
Под музыку сельчан плясать и петь на свадьбе.
Вон музыканты ждут, они с утра в усадьбе;
Волынщик хмур, скрипач подмигивает глазом.
Мне не хотелось бы их огорчать отказом;
Ведь если откажу, то будут слёзы литься,
И под оркестр народ не станет веселиться;

Пускай начнут они, народу на забаву,
Натешимся потом оркестром мы на славу».
Знак подан.
И скрипач, взмахнув смычком коротким,
На скрипку оперся тяжёлым подбородком,
Галопом свой смычок пустил по струнам скрипки.
Волынщики напев схватили без ошибки,
Плечами двигали, как будто бы крылами,
И дунули в меха; зажгло все лица пламя. —
Казалось, улетят они в мгновенье ока,
Подобно детворе Борея толстощёкой [29],
Жаль, цимбалистов нет.
Хоть выбор их немалый,
При Янкеле никто из них не брал цимбалы.
(Где Янкель пропадал всю зиму, непонятно,
Но только с войском он домой пришёл обратно.)
Известно было всем окрестным музыкантам,
Что не сравниться с ним уменьем и талантом.
Цимбалы подали почтительно еврею,
Но он не взял: «Отвык, как приступлю к игре я?
Стесняюсь панства я, рука не та уж стала».
Собрался уходить, но Зося увидала,
И, молоточки взяв, к еврею поспешила,
Дала их Янкелю и улыбнулась мило,
И, бороды его приветливо касаясь,
«Пожалуйста, сыграй! — просила улыбаясь. —
Ведь обручаюсь я, — прибавила в смущеньи. —
А ты мне обещал играть на обрученьи.

Он бородой кивнул. И кресло притащили,
В средину Яикеля с почётом усадили,
Тотчас же положив цимбалы на колени,
Старик глядел на них с восторгом, в умиленьи;
Так смотрит ветеран, которого призвали,
На меч, что со стены с трудом внучата сняли,
И хоть меча давно уже не брал он в руки —
Уверен, что былой не позабыл науки.

Вот пред цимбалами два музыканта юных
Настройкой занялись, берут аккорд на струнах,
В глазах у Янкеля зажглись две ярких точки;
В приподнятых руках держал он молоточки.

На струны опустил, прошёл певучим ладом,
И звуки хлынули могучим водопадом;
Тут подивились все, — но то была лишь проба,
Маэстро опустил вновь молоточка оба.
Коснулся снова струн так тихо и умело,
Как будто бабочка чуть слышно пролетела.
Едва касаясь струн, старик глядел в волненьи
На небо, точно ждал оттуда вдохновенья,
И на цимбалы вдруг он сверху глянул гордо
И, наклонившись, взял два мощные аккорда,
Все замерли на миг…
Ударил вновь маэстро,
И звуки разрослись в гром бурного оркестра,
Литавров медный звон, грохочут дробно бубны,
И полонез плывёт, как будто голос трубный!
Пылают радостью сияющие лица,
И хочет молодёжь скорее в пляс пуститься,
А старым грезятся излюбленные даты:
Счастливый майский день, в который депутаты
С сенатом в ратуше, не ведая печали,
Народа с королём согласие венчали.
«Виват!» — кричали все с восторгом и с любовью
Народу, королю и каждому сословью.

Ускорил Янкель темп — и в праздничные звуки
Ворвался диссонанс, как будто свист гадюки
Иль скрежет по стеклу; тут гости побледнели:
Предчувствие беды нарушило веселье.
Встревожилась толпа, все шепчутся смущённо:
Фальшивит инструмент? Старик ли сбился с тона?
Но нет! Не сбился он и продолжает дальше

В мелодию вносить оттенок мерзкой фальши;
В гармонии тонов певучей, сладкогласной —
Всё тот же диссонанс пронзительный и властный:
И гости поняли, стыдясь, закрыли лица,
Гервазий закричал: «Ах, это Тарговица!»
Вдруг лопнула струна, раздался свист зловещий…
По примам [30] молотки забегали всё резче.
Вот примы бросили, к басам перебежали,
На тысячи ладов цимбалы зазвучали.

Атаку и войну, тревогу и печали,
Стон детский, женский плач,
смятенье в польском стане
Так передал старик, что плакали крестьяне!..
По песням только лишь запомнили бедняги
Резню, которая была когда-то в Праге.
Тут мастер заглушил аккорды струн унылых,
И звуки замерли, он точно в землю вбил их!

Едва пришёл в себя народ от изумленья,
Другая музыка, летит, как дуновенье:
Вот струны тонкие, когда их еле тронут,
Как мухи, вырвавшись из паутины, стонут.
Но звуки ширятся, разрозненные тоны
Сливаются, гремят аккордов легионы,
И в такт сплетаются созвучья всё чудесней,
Передающие напев знакомой песни:
Скитается солдат по свету, как бродяга,
От голода и ран едва живой, бедняга,
И падает у ног коня, теряя силу,
И роет верный конь солдатскую могилу.
Та песня старая мила седым воякам!
И по сердцу пришлась мелодия полякам!
Столпились вкруг цымбал и вспоминали с мукой,
Как «ад могилою отчизны пред разлукой
Запели, и пошли они бродить по свету;
Скитанья вспомнили, конца которым нету.

По суше, по морям, тяжёлые невзгоды
Среди людей чужих и новые походы,
Когда той песенкой залечивали раны…

И головы свои склонили ветераны,
Но снова подняли: артист взмахнул рукою
И тон переменил, и заиграл другое,
На струны поглядел, и вот двумя руками
Обрушился на них двумя он молотками:
Удар превосходил всё прежнее по силе, —
Как трубы медные, цимбалы зазвонили,
И песня в небесах, ликуя, зазвенела.
Марш ширился и рос — то «Польска не сгинела»,
То марш Домбровского! —И грянули виваты,
Запели хором все: крестьяне и солдаты!

Казалось, Янкеля заворожили звуки, —
Он бросил молотки и поднял к небу руки,
Ермолка с головы сползала, не спадая,
По ветру борода раскинулась седая,
И щёки старика покрылись краской алой,
И жаром юности лицо его пылало;
Тут Янкель, не сдержав слёз, хлынувших рекою,
Сказал Домбровскому, прикрыв глаза рукою:
«Тебя ждала Литва со всей тоской своею,
Как ждут пришествия Мессии [31] иудеи,
И о тебе молва давно прошла по свету, —
Недаром видели мы дивную комету.
Живи! Воюй! Ты — наш! Тобой гордится всякий…»
Любил он родину не меньше, чем поляки!
Вождь руку дал ему, избытком чувств волнуем,
А Янкель к ней припал горячим поцелуем.

Но полонез [32] гремит. И Подкоморий вышел,
Закинул рукава кунтуша он повыше,
Подкручивает ус и просит Зосю старый,
Учтиво кланяясь, идти с ним первой парой.

Все пары строятся в ряды за ними; вскоре
Знак подан начинать, — ведёт их Подкоморий.

Алеют сапоги в траве щеголевато,
И сабля светится, горит кушак богато.
Ступает медленно, с ленивым выраженьем,
Но угадать легко во всём его движеньи
И чувства, и мечты искусного танцора:
Вот перед дамой встал, как будто ищет взора.

И, наклонившись к ней, шепнуть ей хочет что-то;
Отворотясь, она взглянула с неохотой.
Конфедератку снял, склонился в ожиданьи,
А дама глянула, но всё хранит молчанье;
Он замедляет шаг, с неё не сводит взора,
Она смеётся, вот — завязка разговора;
Соперникам своим грозится он украдкой,
Играет на ходу лихой конфедераткой,
Надвинет на глаза и передвинет вправо,
Наденет набекрень, закрутит ус лукаво.
Идёт — соперники спешат за ним толпою,
Он рад бы ускользнуть, уйти любой тропою;
Подымет руку вдруг и так замрёт мгновенно,
Скорее проходить попросит всех степенно;
Порою в сторону он хочет уклониться,
Чтоб мимо пронеслась цветная вереница, —
Однако тщетно всё, вновь настигают пары
И вьются вкруг него, и недоволен старый;
За рукоять меча берётся Подкоморий,
Соперникам своим он предвещает горе.
Идёт навстречу им с надменным выраженьем;
Все расступаются перед его движеньем
И уступают путь, но вновь, ряды мешая,
Пускаются за ним.
С восторгом восклицая:
«Остался среди нас лишь только он, единый,
Который так ведёт наш полонез старинный!»

Беспечно пары шли, кружились друг за другом.
Развёртывались, вновь закручивались кругом;
Как бесконечный змей меняет переливы,
Менялась радуга костюмов их красивых:
Мужские, дамские, блестевшие богато,
Играли чешуёй под золотом заката,
И оттеняла их трава зелёным глянцем.
Гремела музыка, «виват» летел за танцем!

Капрал Добжинский лишь не разделял веселья.
Не слушал музыки, невесел, как с похмелья.
Сплёл руки за спиной, был мрачен и суров он!
Всё вспоминал, как был он Зосей очарован,
Как ей таскал цветы и гнёзда из дубравы,
Серёжки вырезал неверной для забавы…

Неблагодарная! Он ей дарил немало,
Хотя она, его завидя, убегала,
Хотя отец его не потакал проказам,
Он всё ж… чтоб увидать одним хотя бы глазом,
Как возится она на огороде с грядкой,
Взбираясь на забор, лез в коноплю украдкой;
Неблагодарная! Не поглядев на пляску,
Мазурку засвистал, надвинул ниже каску,
И к лагерю побрёл, где пили ветераны:
Там картами лечить пытался сердца раны,
Глушил вино. Увы! Не помогло и пьянство!
Вот было каково у Пробки постоянство!

А Зося весело танцует: бал в разгаре,
Она едва видна, хотя и в первой паре;
На зелени травы она, в зелёном платье,
С венком на голове, на розовом закате
Ведёт танцующих движеньем грациозным,
Как в небе светлый дух вращеньем правит звёздным.
Найти её легко — обращены к ней взгляды,
К ней руки тянутся, все танцевать с ней рады,

Напрасно тщился с ней остаться Подкоморий.
Соперники его прочь оттеснили вскоре,
Недолго тешился Домбровский сладкой честью,
Другому уступил и третий шёл к невесте,
Однако потерпел он тут же пораженье,
Устала Зосенька от шума и движенья,
Попав к Тадеушу, ушла она из круга,
Не стала танцевать, чтобы остаться с другом.
Пошли к столам они налить гостям бокалы,

А в небе догорал заката отблеск алый,
И облаков края сквозили еле-еле,
Вверху лиловые, а снизу розовели.
Сулили облака хорошую погоду,
Как лёгкие стада, брели по небосводу,
Взвивались стайками и плавали иные;
Как занавески вдруг белели кружевные,
Струились складками, из глубины сверкая,
Жемчужной пронизью и позолотой с края.
В закатном отблеске они неярко тлели
И выцветали все, желтели и бледнели.

Тут солнце голову в глубь облаков уткнуло,
Теплом в последний раз дохнуло — и уснуло.

А шляхта всё пила на мураве зелёной
За Зосю, за вождей и за Наполеона,
Вновь чарки подняла она за обручённых,
Потом за всех гостей, на свадьбу приглашённых,
И за живых друзей, встречавшихся когда-то,
И за покойников, чью память чтили свято!

И я с гостями был, пил добрый мёд и вина.
Что видел, что слыхал — собрал здесь воедино.

(Эпилог)[1]

О чём ещё на улицах парижских
Мечтать мне среди лжи, обманов низких.
Утраченных надежд, проклятий, споров
И сожалений поздних и укоров?..

О, горе нам за то, что на чужбину
Бежали мы в суровую годину!
Куда ни шли — тревога шла за нами,
Все встречные казались нам врагами,
Сжималась цепь тесней [2], бряцала глуше,
Как будто бы звала отдать и души.

Мир затыкал от наших жалоб уши,
Меж тем из Польши доносились стоны,
Как похоронные, глухие звоны,
Желали сторожа нам смерти чёрной,
Могилу рыли нам враги упорно,
А в небесах надежда не светила.
И дива нет, что всё для нас постыло,
Что, потерявши в долгих муках разум,
Накинулись мы друг на друга разом!

Хотел бы малой птицей пролететь я
Те бури, грозы, ливни, лихолетье,
Искать погоды, веющей прохладой,
И вспоминать свой домик за оградой…

Одно лишь счастье нам дала чужбина —
Сидеть порой с друзьями у камина
И, запершись от суеты и шума,
К счастливым временам вернуться думой:
К отчизне светлой, к юности невинной
.Зато о крови, лившейся рекою,

О Польше, раздираемой тоскою,
О славе, что ещё не отгремела, —
О них помыслить и душа не смела!
Под тяжестью народного удела,
Пред родиной, распятой в крестной муке,
И мужество заламывает руки.

Там в горьком трауре мои собратья
И воздух тяжелеет от проклятья,
В ту сферу страшную лететь боится
И буревестник — грозовая птица!

Мать Польша! Предали тебя могиле, —
И в муке о тебе не говорили…
Ах, чьи уста похвастаться могли бы,
Что ими найдено такое слово,
Которое развеет мрак былого,
С души поднимет каменное бремя,
Глаза раскроет, что сковало время,
И слёзы, наконец, польются снова,
Века пройдут, пока найдётся слово!

Когда ж от львиного рычанья мести,
При громе труб падут враги на месте,
Когда их крики возвестят народу
Желанную и жданную свободу,
Когда орлы родные с громом славы
Домчатся до границы Болеслава [3],
Упьются вражьей кровью в изобилии,
И, наконец, насытясь, сложат крылья —
Тогда, увенчаны листвой дубовой,
Уже без снаряженья боевого,
Герои к песням возвратятся снова,
И над судьбой отцов заплачут сами
Печальными, но чистыми слезами.

Нигде не жданные, что мы встречали?

Во всей вселенной —лишь одни печали!
Но сохранился в мире край, однако,
В котором счастье есть и для поляка —
Край детских лет, с надеждами и снами;

Как первая любовъ, он .вечно с нами!
Не омрачён тоскою сожалений
И не отравлен ядом угрызений,
Незыблем он среди других явлений!

О, если б сердце улететь могло бы
В тот край, где я не знал ни слёз, ни злобы!
Край детства, где бродили мы по свету,
Как садом, собирая первоцветы,
Топтали белену, когда встречали,
Полезных трав совсем не примечали!

Тот край счастливый, небогатый, тесный
Был только наш, как божий — поднебесный!
Всё в том краю лишь нам принадлежало.
Всё помню, что тогда нас окружало;
От липы той, что пышною короной
Давала тень, до гнёзд в листве зелёной,
До быстрого ручья, овражка, клёна
Всё было близко нам и всё знакомо,
Вплоть до соседей, живших подле дома!
Те земляки навек остались с нами
Единственными верными друзьями
И нашими приверженцами в Польше!
Кто жил там? Мать, сестра, а кто же больше?
Приятели. Когда мы их теряли,
Как долго их соседи вспоминали,
Как тосковали горько, неустанно!
Там крепче был слуга привязан к пану,
Чем, муж к жене привязан на чужбине,
Там сабля дорога была мужчине,
Как сын отцу; о псе грустили втрое

Сильней, чем здесь тоскуют о герое!

Меж тем друзья-приятели былого
Роняли в песню мне за словом слово,
Как журавли, когда из синей дали
Над замком чародея пролетали
И крики мальчугана услыхали,
По пёрышку на землю уронили,
И смастерил малыш из перьев крылья!..

Дожить бы мне до радостного мига,
Когда пойдёт по сёлам эта книга, —
Чтоб девушки за пряжею кудели
Не только бы простые песни пели
Про девочку, что скрипку так любила.
Что и гусей для скрипки позабыла,
Про сиротинку, схожую с зарёю,
Что птиц гнала вечернею порою, —
Чтоб взяли девушки ту книгу в руки,
Простую, как народных песен звуки.

В далёкой юности мы для забавы,
Под липою густой читали главы
Сказаний про Юстину и Веслава [4];
А за столом широким, деревянным
Нередко эконом садился с паном,
И не мешали чтению, порою
Нам объясняли то или другое,
Хваля хорошее, простив дурное.

И ревновали мы поэтов к славе,
Которая гремит в лесу и в поле,
Хотя не увенчал их Капитолий [5], —
Милее пышных лавров для поэтов
Девичий дар — венок из первоцветов.

notes

Примечания

[*]

Во времена Речи Посполитой выполнение судебных приговоров было очень затруднено в стране, где исполнительная власть располагала ничтожным количеством полицейских сил, а магнаты держали при своих дворах целые полки, некоторые же как, например князья Радзивиллы, имели многочисленные войска. Вот почему истец, после вынесенного судом в его пользу приговора, порой вынужден был обращаться для его исполнения к рыцарскому сословию, то есть к шляхте, при которой тоже существовала исполнительная власть. И вот, родственники, друзья и земляки истца, вооружившись, отправлялись в поход с приговором суда на руках, в сопровождении возного и добывали, подчас не без кровопролития, присуждённое истцу имущество, которое возный именем закона и отдавал ему во временное или постоянное владение. Такое вооружённое исполнение приговора суда называлось: *за́язд*. В старину, когда ещё уважалось право, даже магнаты не смели сопротивляться приговорам, и тогда редко случались вооружённые столкновения, а насилие почти никогда не оставалось безнаказанным. Из истории известен печальный конец князя Василия Сангушки и Стадницкого, прозванного чёртом. Но, из-за порчи общественных нравов в Речи Посполитой, количество заяздов сильно увеличилось, и они постоянно нарушали спокойствие на Литве (А.М.).

Поляки отличают два понятия: *zajazd* (за́язд) — оно разъяснено поэтом выше — и *najazd* (на́язд) — вооружённый захват владения без окончательного решения суда, без возного (судебного пристава), словом, совершенно незаконный акт. И хотя «Пан Тадеуш» назван (по-польски) «остатним заяздом», нападение враждебной Соплицам шляхты совершается тут ещё до приговора суда.

(Здесь и далее объяснения А. Мицкевича к «Пану Тадеушу» вставлены в примечания в порядке текста поэмы и помечены инициалами поэта.)

[1]

Трибунал — наивысший суд последней инстанции, учреждённый во времена польского короля Стефана Батория (в 1570 году) для Великопольши в гор. Петрокове и для Малой Польши в гор. Люблине. По образцу этого суда в Литве с 1581 года действовал свой трибунал, собиравшийся то в Вильно, то в Гродно.

[2]

Всем в Польше известен чудотворный образ пресвятой девы на Ясной Горе в Ченстохове. В Литве славятся чудесами образы пресвятой девы Остробрамской в Вильно, Замковой — в Новогрудке, а также Жировицкой и Борунской (А.М.).

[3]

Мицкевич рассказывал своему другу Одынцу, как он, ещё совсем ребёнком, «выпал из окна и не подавал признаков жизни», пока мать не поручила его милости богоматери.

[4]

В окончательном варианте «нас» вместо первоначального «меня» — замена весьма характерная; «явив нам чудо» — ибо убеждение поэта в близости великого политического переворота в Европе уже тогда начинало принимать мистическую форму веры в прямое вмешательство провидения в дела Польши.

[5]

В оригинальном тексте «шляхетский двор». На родине поэта, неподалёку от Заосья и Тугановичей, было селение мелкой шляхты Соплицы, но его топография несколько отличается от топографических данных поэмы. Некоторые комментаторы считают, что в изображении Соплицова много реальных черт другого шляхетского двора — в Чонброве, где родилась мать поэта. Большая часть названий населённых пунктов и местностей, упоминаемых в «Пане Тадеуше», не выдумана, а относится к географии Новогрудского уезда.

[6]

По ряду беглых упоминаний в оригинальном тексте поэмы видно, что Тадеуш окончил Виленский университет. В те времена в течение десяти лет можно было окончить гимназию (шесть лет) и университет (четыре года).

[7]

Костюшко (1746–1817) — польский национальный герой, возглавивший восстание 1794 года, выдающийся государственный деятель и защитник прогрессивной Конституции 3 мая (1791 года), делавшей «громадный скачок вперёд от старой неурядицы» (Вацлав Боровский). Герой поэмы Мицкевича был назван Тадеушем в честь Костюшко. В краковском костёле капуцинов состоялось только освящение сабли Костюшко, а торжественную клятву — бороться до последнего вздоха за освобождение родины — Костюшко дал (24 марта 1794 года) на рыночной площади в Кракове, перед самой присягой. Костюшко был тогда не в «краковской чамарке», а в генеральском мундире; чамарку он надел только после рацлавицкой битвы (происшедшей 4 апреля 1794 года) в честь вооружённого косами крестьянского ополчения «косинеров». Чамарка — народная мужская верхняя одежда в Польше, со складками сзади (от пояса книзу), со шнурами и петлицами спереди, обычно тёмная (Костюшко носил белую, и в этом уборе он чаще всего изображается).

[8]

Тадеуш Рейтан, земляк поэта, родом из новогрудского воеводства, был депутатом сейма 1773 года, на котором он прославился скорбным протестом против первого раздела Польши. Под впечатлением тяжёлых несчастий родины Рейтан в 1780 году покончил самубийством, перерезав себе горло стеклом. Он изображён на портрете, описываемом Мицкевичем, с двумя книгами — диалогом древнегреческого философа Платона (427–347 гг. до н.э.) о бессмертии души «Федон» и «Жизнью Катона» из «Параллельных жизнеописаний знаменитых мужей Греции и Рима» (сочинение греческого историка и моралиста Плутарха, около 40 — около 120 гг. н.э.). — *Катон Младший*, или *Катон Утический* (95–46 гг. до н.э.), боролся на стороне Помпея против Цезаря. Плутарх изобразил его непоколебимым борцом за римскую республиканскую свободу. Когда Помпей погиб и Катону не удалось самому организовать дальнейшее сопротивление, он отпустил своих ненадёжных сторонников и, сохраняя душевное спокойствие, стал читать отрывки из «Федона», после чего бросился на свой меч. Таким образом, Тадеуш Рейтан, по Мицкевичу, «польский Катон», непреклонный борец за республиканскую свободу. Знаменитый польский художник Ян Матейко увековечил протест Рейтана на сейме в своей прославленной картине «Рейтан».

[9]

Якуб Ясинский — организатор восстания на Литве (1794). Погиб во время штурма Праги (предместья Варшавы на правом берегу р. Вислы). — *Тадеуш Корсак* — виленский земский судья, командовал во время восстания Костюшко (1794) повстанцами Виленского округа. В 1791 году, накануне нового раздела Польши, он, будучи депутатом сейма, проводил свои выступления под лозунгом: «Деньги и войско!» Погиб вместе с Ясинским.

Подбор портретов в усадьбе не случаен. Это всё портреты деятелей польского национально-освободительного движения, тесно связанных с Литвой (а Костюшко был даже родом из того же новогрудского воеводства, что и Мицкевич).

[10]

Генрих Домбровский (1755–1818) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения, наполеоновский генерал, участник итальянской кампании Бонапарта и его похода на Россию. В 1797 году он организовал в Италии польские легионы, а 3 мая 1798 года его войска принимали участие во взятии Рима. В 1806 году Домбровский возглавлял восстание против пруссаков в так называемой Великопольше.

«Мазурка Домбровского» — песня, впоследствии национальный гимн Польши; возникла в 1797 году в польских легионах, сражавшихся в Италии. Автор её — Юзеф Выбицкий (1747–1822) — польский политический деятель, соратник Домбровского, известный литератор-мемуарист.

[11]

Один из друзей поэта, Томаш Зан, рассказывал, что в последующих стихах «Пана Тадеуша», где повествуется, как Тадеуш, отыскивая свою детскую, попал в комнату Зоси, описано приключение Мицкевича в день его первого приезда в Тугановичи, имение Верещаков.

[12]

Сплетённый цифрами заборик — сделанный из дощечек, скреплённых в виде римских цифр — V либо X.

[13]

«По дощечке» — по доске, приставленной снаружи к окну. Такой способ сообщения между комнатой панны и разбитым под её окнами цветником был, по словам современников, очень распространённым.

[14]

Царское правительство никогда не разрушает сразу в добытых землях права и гражданские институты, но постепенно подкапывает их и разлагает указами. В Малороссии, например, до последних лет удерживался Литовский Статут, фактически отменённый указами. Литве оставлена вся её старая система гражданских и уголовных судов. Как и прежде, там избирают судей, земских и городских — в повятах, а также главных судей — в губерниях. Но апелляции направляются в Петербург, во множество — разных степеней — инстанций, и, значит, у местных судов осталась лишь тень их старинного значения (А.М.).

Речь идёт о **земском судье**, который выбирался шляхтой, что было свидетельством её уважения и доверия. Земские суды были первой инстанцией в судебных делах всякого рода, кроме уголовных, подлежавших юрисдикции городских судов. Для дел о границах землевладений были оставлены старинные «подкоморские», или граничные суды. «Малороссией» Мицкевич называет здесь земли, отошедшие к России по первому разделу Польши.

[15]

Войский (tribunus) был некогда, по должности, опекуном жён и детей шляхты на время всеобщего шляхетского ополчения. Но уже давно эта должность, не связанная с несением соответствующих ей общественных обязанностей, свелась к одному лишь званию. В Литве существует обычай давать видным лицам, из вежливости, какой-либо старинный титул, который входит в права благодаря постоянному употреблению. Так, например, соседи называют своего приятеля Обозным, Стольником или Подчашим сначала только в разговоре или в личной переписке, а затем даже и в официальных актах. Царское правительство запрещало подобное титулование и пыталось даже выставить его на посмешище, вводя вместо него титулование по своей иерархической системе, к которой литвины до сих пор чувствуют глубокое отвращение (А.М.).

Войский в «Пане Тадеуше» — дальний родственник и друг дома Судьи (в молодости жениха одной из его дочерей, после смерти которой Судья остался холостяком). В Соплицове Войский — правая рука хозяина, и он живёт с Судьёй в патриархально-дружеских отношениях.

[16]

Пудерман, или пудермантель (нем. Pudermantel) — полотняный халатик, который надевали, когда посыпали парик пудрой; в более общем значении — это полотняный плащик для защиты от пыли и грязи («пыльник»).

[17]

Назначили у нас на завтра суд граничный… — После третьего раздела Польши (1795) русское правительство учредило в Литве и Белоруссии (1797) городские суды для разбора гражданских и уголовных дел. Дела, связанные с границами землевладений, были оставлены прежним «подкоморским», или «граничным» судам. Там, где существовал только земский суд, в состав его входили: судья с двумя его помощниками и писарь. Канцелярию вёл «реент» (стряпчий), находящийся и в числе действующих лиц «Пана Тадеуша». Суды выбирали возных. Всех членов судов избирали шляхетские сеймики на три года, с последующим утверждением губернатором. Исключительно подкомориям были подсудны граничные дела только до 1810 года, когда была учреждена ещё одна судебная инстанция для разбора граничных дел. С 1802 года существовал литовский «главный суд» для апелляций земских судов. Апелляция в сенат допускалась только тогда, когда (как в опоре Судьи с Графом) стоимость спорного имущества превышала пятьсот злотых.

[18]

Звание Подкомория, некогда видного и важного сановника (princeps nobilati) стало при царском режиме только титулом. Некоторое время он ещё был судьёй в граничных судах, но, наконец, утратил и эту область давней юрисдикции. Теперь он иногда ещё заменяет маршалка и назначает «коморников», или повятовых инструкторов мер и веса (А.М.). — «Princeps nobilatis» (лат.) здесь соответствует, до известной степени, русскому: «предводитель дворянства». — Маршалок — здесь речь идёт о так называемом земском маршалке. Эти маршалки были далеко не во всех землях, входивших в состав давней Литвы, и сохранились они во времена «Пана Тадеуша», то есть в начале XIX века, лишь как пережиток давнего административного устройства.

[19]

Поэт не раз подчёркивает, как характерную для Судьи черту, его приверженность старопольским традициям с их положительными и частью отрицательными чертами.

[20]

«Возный», или «генерал» — избранный из местной шляхты постановлением трибунала или суда, разносил повестки, провозглашал ввод во владение, производил, по поручению судебных властей, личный осмотр на месте фактического положения вещей и т.п. Обычно эту должность нёс кто-либо из мелкой шляхты (А.М.).

Возные были характерными, бросавшимися в глаза фигурами в старопольском суде. Как шляхтичи, они были при сабле, в старопольском костюме — кунтуше и жупане (обычно голубого или же яркоалого, багряного, кармазинного цветов). Длинный кунтуш, узкий в плечах и спереди стянутый, был от пояса до ниву в сборках. Из-под кунтуша, от шеи до пояса, виднелся жупан. Рукава у жупана были узкие, а у кунтуша — откидные, закладывавшиеся обычно на плечи.

[21]

Мотив замка — один из ведущих мотивов композиции «Пана Тадеуша». В действительности нигде в окрестностях Новогрудка, избранных местом действия поэмы, нет и не было развалин, которые бы напоминали горешковский замок. *Горешки* — белорусская форма фамилии Ожешко, знатного рода, гербом которого был «Корабль». В первоначальной редакции так и было: Ожешко. Эта семья, по-видимому, покровительствовала родителям поэта: крёстные матери двух его братьев были Ожешко.

[22]

Граф возвратился из заграничного путешествия («вояжа» — как тогда говорили), предпринятого для довершения образования. Такие путешествия считались тогда необходимой частью великосветского воспитания молодых людей. Последние приобретали поверхностный лоск и нередко проникались ложным чувством собственного превосходства и презрительным отношением к родине. Традиционной темой польской литературы конца XVIII — начала XIX века стало высмеивание молодых аристократов, набиравшихся за границей разных чудачеств.

Европейский романтизм сильно содействовал углублению понимания готики, архитектурного стиля, характернейшая черта которого — стрельчатая арка (в сводах, окнах, дверях). Граф, энтузиаст романтизма (которым он увлекается лишь как модным литературным течением), разделяет и романтическое преклонение перед готикой.

[23]

Готы — древнегерманское племя, исчезнувшее со времени великого переселения народов. Гот-архитектор фигурирует здесь ради комического эффекта, так же как и «документы», свидетельствующие о том, что строителем замка был в действительности некий виленский мастер-каменотёс, комически противопоставляемый (несведущим в архитектуре и в истории Судьёй) мифическому архитектору-готу.

[24]

В этих стихах, как и в ряде других мест поэмы, дана сатира на широко распространённое среди шляхты и глубоко укоренившееся в старой Польше бытовое явление — сутяжничество. Сатирический выпад тем острее, что в процесс втянулся «неведомо зачем» не кто иной, как судья, который по должности обязан был бы бороться с этим явлением.

[25]

«Козерог» — герб с изображением ослиной головы на красном поле и с верхней половиной козы на шлеме, над геральдическим щитом.

[26]

Ксёндз, в оригинальном тексте — kwestarz, — сборщик подаяний на нищенствующий монашеский орден; здесь ксёндз-монах Робак (робак по-польски означает «червь», добровольное прозвище, принятое из чувства покаянного уничижения).

[27]

Озёрная лилия, белая кувшинка, — водное растение с крупными сердцевидными плавающими листьями на длинных черенках и большими ослепительно белыми махровыми цветами, в которых лепестки постепенно переходят в тычинки; самое красивое растение наших стоячих или тихих вод.

[28]

Давний обычай отправлять шляхетскую молодёжь ко дворам богатых панов и магнатов, чтобы они учились там уму-разуму, присматривались к людям и усваивали определённые нормы поведения, постепенно выводился, начиная с середины XVIII века. Литература второй половины XVIII столетия, требовавшая реформы обычаев, высмеивала этот, чуть ли не средневековый, способ воспитания.

Воевода — сановник из числа высших чинов сената, облечённый правом предводительства над шляхетским ополчением всего воеводства (то есть края, губернии). Воевода обладал правом созывать вече, председательствовал «а сеймиках, назначал некоторых чиновников и, при посредстве подвоевод, контролировал по городам меры веса, сыпучих тел и т.п.

[29]

Уметь расшаркаться… — Это был новый и Польше обычай, который стал распространяться только в начале XIX столетия. До того принято было снимать шапку, а встречая старших по общественному положению, низко («челобитно») кланяться.

[30]

Теперь не думают о том: каков ты? кто ты? — Мицкевич считал в те годы («О духе народном», 1832), что, стремясь к возвращению независимости страны, не следует совершенно разрывать со старыми традициями и обычаями; он находил, что новая форма правления не может игнорировать недавнее историческое прошлое.

[31]

Веспасиан, римский император (69–79 гг. н.э.). Когда его упрекнули однажды в том, что он обложил налогом даже вывозку нечистот, он сказал: «деньги не пахнут» («pecunia non olet»).

[32]

Взгляд Судьи на женитьбу был тоже отсталый, старопольский. К тому времени уже миновала пора, когда старшие в семье распоряжались судьбой младших, а те считали своим долгом безоговорочное послушание.

[33]

С XVII и до середины XIX века в Европе было повсеместно распространено нюхание табака. Растёртый в порошок табак носили при себе в маленьких коробочках, иногда очень дорогих и художественно отделанных. Бывали табакерки жестяные, покрытые красным лаком, самшитовые, черепаховые, фарфоровые и литые медные. Широко были распространены рожки (верхние кончики рогов крупного рогатого скота) и лосиные копытца, иногда очень красиво обработанные. Были также серебряные и золотые табакерки, нередко отделанные драгоценными камнями. Короли и прочие владетельные особы иногда жаловали подобные табакерки, украшенные их гербами и вензелями, различным лицам в знак своего расположения или в виде благодарности (такая-то табакерка была подарена королём Станиславом Понятовским и Подкоморьему). У ксендза Робака была особенная табакерка, с гравюрой армии Наполеона. Гервазий и Протазий потчуют друг друга из скромной, вероятнее всего берестяной табакерки.

[34]

В оригинальном тексте: «Преследуя в отчизне бога, веру предков, старые права и обычаи и даже старинную одежду». Мощное развитие во Франции идей просветительной философии, знаменовавшее собой глубочайшую идеологическую подготовку первой французской буржуазной революции конца XVIII века, становилось в аристократических слоях Польши времени Станислава-Августа (1764—1795) поверхностным, модным увлечением, карикатурные формы которого высмеивает Подкоморий. Но среди прогрессивной части среднего дворянства и горожан просветительские идеи, укоренившись и окрепнув на почве польской действительности, отразились в знаменитой Конституции 3 мая 1791 года, испугавшей Екатерину II как приближение революции к границам Российской империи.

[35]

Намёк на нездоровый образ жизни молодёжи из высших классов и на болезнь (morbus gallicus), которую эта «золотая молодёжь» завозила в патриархальную Польшу из своих заграничных путешествий.

[36]

Ошмяны — прежде уездный городок в виленском (воеводстве, к северу от Новогрудка, над речкой Ошмянкой.

[37]

«Подчаший» — образ офранцузившегося польского аристократа «петиметра», гоняющегося за модными новинками в одежде или в области идей; в последние он тоже наряжается, как в новые платья. Такой тип аристократа служил объектом постоянных нападок в польской литературе конца XVIII, начала XIX века («Пан Подстолий» Красицкого, «Возвращение депутата» Немцевича и др.). Следовательно, образ этого модного щёголя — традиционный литературный образ, хотя несомненно, что в молодости сам Мицкевич ещё мог наблюдать подобные типы.

Подчаший — в старой пястовской Польше — дворцовый чин; обязанностью облечённого им родовитого шляхтича было подавать пирующему королю напитки. Позднее это звание превратилось в почётный титул, не связанный с несением каких-либо обязанностей. Кроме Великих подчаших, коронного и литовского, были земские подчашие; все они назначались королём.

[38]

Raróg — хищная птица из породы ястребиных. Известно, что мелкие пташки, и особенно ласточки, целыми стайками гоняются за ястребами. Отсюда и поговорка: летать (гоняться), как за ястребом (А.М.).

[39]

Венецианский чёрт — Вошедший в послозицу образ, который будто бы имел реальное начало в лице шляхтича XV века Яна Чариковского, владельца деревни Венеция в воеводстве гнезненском. Этого Яна Чариковского за его крайнюю жестокость прозвали «венецианским чёртом». По народным представлениям, чёрт одет в короткую, куцую одежду, «по-немецки»; и потому простой народ на Литве прозвал «чертями» щёголей, одетых по-иностранному, как Подчаший.

По другому толкованию, «венецианский чёрт» был постоянной фигурой популярных в Польше «венецианских карнавалов».

[40]

Колтун — болезнь волос. Они сплетаются в узел, который невозможно расчесать. Такое сравнение для элегантного щёголя Подчашего было особенно унизительным.

[41]

Не совершенствует язык в кафе парижских. — В период первой буржуазной революции во Франции кафе были местом собраний политических партий, «клубов» и сильно влияли на общественное мнение.

[42]

И о поляках вновь везде заговорили… — Польские легионы отличились в Италии, в Испании (при знаменитой атаке Сомосьерры гвардейской лёгкой конницей, под предводительством Козетульского, в 1808 году) и в войне герцогства Варшавского с Австрией в 1809 году, когда полякам удалось, при поддержке Наполеона и с согласия России, присоединить к герцогству Западную Галицию вместе с Краковом, древней столицей Польши, — событие, радостно воспринятое польскими патриотами как начало собирания Польши.

[43]

«Из-за Немана», то есть из герцогства Варшавского, граничившего с Россией по Неману (в среднем течении, от Гродно до Восточной Пруссии).

[44]

Где русский капитан беседовал с гостями… — Живым прототипом капитана Рыкова послужил якобы генерал-лейтенант Рыков, выслужившийся из солдат; Мицкевич познакомился с ним в Одессе в 1825 году (ом. «Письма» А. Мицкевича, т. IV, Париж, 1884, стр. 74). Литературным же прототипом был, по всей вероятности, Фёдор Никитич Бебехов из «Литовских писем» Немцевича, вышедших в 1812 году.

[45]

Среди простого русского люда кружит немало рассказов о колдовстве Бонапарта и Суворова (А.М.). — В русском солдатском фольклоре начала XIX века существовало много рассказов о том, что и Наполеон и Суворов обладали даром превращаться в зверей, но при каждом превращении Наполеона Суворов неизменно превращался в зверя более сильного.

[46]

Асессоры составляют земскую полицию повята. По указам, их иногда выбирают сами граждане, а иногда они назначаются администрацией края; последних зовут коронными. Судей по апелляциям тоже зовут асессорами, но здесь речь идёт не о них. Нотариусы управляют канцелярией суда и составляют судебные приговоры; их назначают по указанию секретарей судов (А.М.).

[47]

Первоначально было: «у дяди-ксендза» — автобиографическая черта, перенесённая в поэму Адамом Мицкевичем, который в начале своих университетских лет жил у своего однофамильца или даже далёкого родственника — виленского ксендза, преподавателя университета, Юзефа Мицкевича.

[48]

Василиск — легендарное чудовище: голова петуха, а тело ящерицы, со змеиным хвостом. Взгляд василиска был смертелен. Уничтожить это чудовище можно было только подставив ему зеркало, — василиск убивал отражённым взглядом самого себя.

[49]

Речь идёт о Станиславе-Августе Понятовском, последнем польском короле (1764–1795).

[50]

Форум (лат.) — о древнем Риме — площадь, где заседал суд, происходили народные собрания и пр.

[51]

Охота была, в глазах старого поколения, благородной дворянской забавой, и о ней говорилось подчас в торжественно-приподнятом тоне. Но молодое поколение пренебрегало охотой и даже высмеивало её. Подкоморий, хоть и старик, заражён новым духом, и это огорчает Войского.

[52]

Здесь имеется в виду Михал Рейтан, знаменитый на всю Литву охотник, какими были Бялопетрович и воевода Неселовский.

[53]

Граф Юзеф Неселовский, последний новогрудский воевода, был председателем революционного правительства во времена восстания Ясинского (А.М.).

[54]

И сто возов сетей при замке ворончанском. — На больших охотах на красного зверя окружали сетями иной раз весьма значительный участок леса, куда загоняли зверя, чтобы он не мог уйти.

Воронча — село в Новагрудском уезде; в ворончанском приходе находились Тугановичи, имение родителей Марыли Верещак, возлюбленной поэта. Большой барский дом в ворончанском поместье, выстроенный воеводой Неселовским, был деревянный, на каменном, выше фундамента, основании. На Литве такие помещичьи дома претенциозно называли «замками».

[55]

Ежи Бялопетрович — последний писарь великого княжества Литовского. Принимал деятельное участие в восстании Ясинского. Он судил государственных преступников в Вильно. Муж, весьма уважаемый за доблести и патриотизм (А.М.).

«Государственных преступников» (в 1794 году) и в первую очередь Шимона Коссаковского (1724–1794), поляка, члена тарговицкой конфедерации, выступившей (в мае 1792 года) против сторонников прогрессивной польской Конституции 3 мая 1791 года.

[56]

В новогрудском воеводстве был действительно род Гречех. В 1812 году застянок (слобода) мелкой шляхты Гречехи находился на землях Верещаков, близ Новогрудка. Выражение «от царствования Леха» соответствует русскому «от царя Гороха»: оно, невидимому, создано самим Мицкевичем, мастером на такие «поговорки».

[57]

В Слуцке была фабрика золотого шитья и поясов, славившаяся на всю Польшу; её основал Тизенгауз (А.М.).

Что касается Тизенгауза, то он основал обширные ткацкие мастерские поясов и парчи не в Слуцке, а в Гродно. Антони Тизенгауз, литовский подскарбий (должность, соответствующая теперешнему министру финансов: «скарб», по-польски, — сокровище, казна); он много потрудился в деле подъёма тогдашней литовской промышленности и прославился как основатель нескольких крупных промышленных предприятий в тогдашней Литве.

Такой старопольский пояс был до десяти «локтей» длины и до трёх локтей ширины. Самые дорогие были вытканы из серебряных и золотых нитей (по одну сторону серебро, по другую — золото) и отделаны тканными шёлком цветами. Пояс этот одевали на кунтуш, перехватывая им стан два или три раза, завязывая его спереди или сбоку в замысловатый бант и спуская книзу цветистые концы либо бахрому. Одевать такой пояс можно было только с посторонней помощью.

[58]

Возный, всю жизнь проведший в судах, придумывает здесь юридический трюк, такую «натяжку» закона, которая отдавала бы Судье замок.

[59]

Реестр судебных дел хранил бедняга свято. — «Воканда» (реестр судебных дел) — узкая продолговатая книжка, куда записывались имена тяжущихся сторон в порядке рассмотрения дел. Каждый адвокат и возный обязал был иметь подобную воканду (А.М.).

[60]

Этим стихом первоначально заканчивалась первая книга «Пана Тадеуша». Последующие стихи составляли окончание третьей книги. Работая уже над четвёртой книгой, поэт решил сделать эту перестановку.

[61]

«Бог войн» — Наполеон I; далее говорится о наполеоновских золотых орлах (полкозых эмблемах, в подражание римской войсковой эмблеме) и серебряных орлах польских легионов Домбровского, воевавших в составе французской армии.

[62]

В оригинале «красных воротников» на мундирах царских полицейских чиновников.

[63]

Капитолий — один из семи холмов античного Рима, со святилищем Юпитера и дворцом; от древних сооружений здесь сохранились только незначительные остатки. В 1789 году после взятия Рима французскими войсками на Капитолии водворились французские власти.

Генерал Князевич, посланец итальянской армии, сложил перед Директорией добытые в боях знамёна (А.М.).

С генералом Князевичем, командиром первого польского легиона в Италии, Мицкевич познакомился лично в Дрездене (в 1829 году), а затем встречался с ним в Париже.

[64]

Князь Яблоновский, командир Наддунайского легиона, умер в Сан-Домииго, где погиб почти весь его легион. Среди эмигрантов осталось лишь несколько человек, уцелевших участников этого злополучного похода, и между ними генерал Малаховский (А.М.).

Примечание Мицкевича и упоминание в тексте поэмы не совсем точны. Генерал Вл. Яблоновский, который короткое время был командирам Наддунайокого легиона, командовал на Сан-Домимго не польскими легионами, а французской полубригадой. Легионы же, в числе около 4500 человек, были отправлены на Сан-Доминго под французским командованием. И только позднее команду над поляками принял подполковник Казимир Малаховский; ему-то и выпала печальная доля привести во Францию жалкие остатки польского войска (в 1804 году), которое французское правительство цинично использовало для своих колониальных целей.

[65]

Герцогство Варшавское стремилось организовать большую армию, в которую, тайком покинув Литву, вступали и литовские поляки.

[66]

Горецкий, открывающий собой список перебежчиков из Литвы в герцогство Варшавское, был близким знакомым Адама Мицкевича в период, когда тот писал «Пана Тадеуша». Поэт Антоний Горецкий перебежал в герцогство Варшавское в 1809 году и стал капитаном; на службе Наполеону он получил орден Почётного легиона. От него Мицкевич мог почерпнуть ряд сведений о делах легионов.

[1]

По средневековым представлениям, появление кометы предвещало войну, ужасающие бедствия и перевороты, чреватые опасностями не только для народов, но и для государей.

[2]

«Surge, puer!» (лат.) — «Вставай, мальчик!» Этот, в устах Робака, шутливый окрик взят из хорошо знакомой Тадеушу школьной грамматики Копчинского, где слова эти приводились в виде примера на повелительное наклонение: «Surge, puer, sume librum» и т.д. («Вставай, отрок, собери книги»). Так ксёндз Робак напоминает Тадеушу популярное школьное выражение и угрозу, заставлявшую школьника пораньше вставать.

[3]

Ксёндз Робак с самого начала действия поэмы держится таинственно: ходит с низко опущенной головой и то и дело надвигает поглубже на голову капюшон (особенно тогда, когда, в силу обстоятельств к нему бывает привлечено общее внимание). К этим предосторожностям он прибегает не только с посторонними, но и с наиболее близкими ему людьми. Эта тайна вполне разъяснится только в десятой книге.

[4]

Польские учёные-мицкевичеведы указывали на разных лиц, послуживших поэту образцом при создании этого персонажа. Так, например, профессор Неринг писал, что некоторые черты поэт «спортретировал» с Вавжиица Путткаммера, женившегося на возлюбленной поэта, Марыле. Сам поэт, по словам одного мемуариста, указывал будто бы на графа Кароля Пшездецкого, наполеоновского полковника.

[5]

И звал жокеями в домашнем обиходе. — Англизированный магнат одевает своих слуг на английский манер и называет их жокеями. Передовая польская литература бичевала как англоманию подобных графов, так и галломанию «подчаших».

[6]

Граф, несмотря на все свои чудачества, принадлежал к «реформаторскому» поколению конца XVIII столетия, усвоившему некоторые демократические идеи века Просвещения.

[7]

По словам польского мемуариста Ст. Моравского, жил в окрестностях Ковно в годы учительства Мицкевича некий Ратомский, рубака и дуэлист, бывший барский конфедерат (1768) и участник восстания Ясинского (1794), называвший свою саблю, как и Гервазий, «Перочинным ножичком». Ратомский будто бы привлёк к себе внимание поэта, зорко высматривавшего подобные «экземпляры стародавней Литвы». В историко-литературном отношении Гервазий принадлежит к традиционному типу старого слуги, широко представленному в польской литературе. В западноевропейской литературе этот тип всесторонне обрисован Вальтер Скоттом.

[8]

Ключнику доверялись ключи от господского добра, за сохранность которого он и нёс ответственность.

[9]

Уже в XVI веке, помимо генерального сейма Речи Посполитой, существовало по воеводствам и повятам не менее полусотни сеймиков для избрания в сейм депутатов, которым избиратели давали свои наказы. Эти сеймики оказывали огромное влияние на дела Речи Посполитой вплоть до восшествия на престол Станислава-Августа (1764), ограничившего их прерогативы. Богатая шляхта и магнаты устраивали перед открытием сеймиков пиры, чтобы склонить к себе мелкую шляхту и располагать её голосами.

[10]

В старинных замках ставили на хорах орган (А.М.).

[11]

Примас — архиепископ гнезненский, глава католической церкви в Польше, первая особа после короля. В периоды междуцарствия правил Польшей. Он созывал сейм, на котором избирался король, председательствовал на этом сейме, а затем короновал короля и королеву. Гервазий правильно передаёт освящённый обычаем порядок тостов на торжественных пирах в старой Польше. После каждого тоста играла музыка и палили из пушек.

[12]

Тип надменного магната Мицкевичу был знаком по его тяжело сложившимся (Рим, 1830) личным отношениям с графом Анквичем, отцом Генриетты-Евы (дочь Стольника тоже Эва), воспротивившимся браку дочери с бедным шляхтичем-поэтом. После выхода поэмы в свет Анквич будто бы сам узнал себя в образе спесивого Стольника.

[13]

Большие усы, при старопольском кунтуше и жупане, считались в пору молодости Яцека Соплицы украшением внешности шляхтича и служили предметом особой заботы со стороны их владельца.

[14]

Подать домогавшемуся руки панны чёрную похлёбку к столу означало отказ (А.М.).

[15]

Это было в 1792 году во время польско-русской войны. 16 июня русские войска заняли Новогрудок и его окрестности и приказали сдавать оружие. В поисках складов последнего нередко устраивались конфискации, приводившие к конфликтам с привыкшей не расставаться с оружием шляхтой. При такой ситуации возможна была, конечно, и осада большого панского двора вроде «замка» Горешков.

[16]

То есть за конституцию, принятую Великим, или четырехлетним, сеймом 3 мая 1791 года. Вот некоторые начала этой конституции: шляхта сохраняет свои привилегии, но вместе с тем издаются новые законы о правах горожан, а также обеспечивается правовая защита крестьянам. Католическая религия остаётся господствующей, но и другие вероисповедания пользуются свободой и поддержкой. Законодательная власть осуществляется сеймом, который может быть созван в любое время; при этом постановления принимаются большинством голосов, а индивидуальное право срыва сейма — право свободного «вето» и право образовывать конфедерации для борьбы против законов отменяются навсегда.

[17]

Гайдуки — первоначальное название лёгкой венгерской пехоты, служившей при дворах магнатов в Польше; позднее эта пехота формировалась из польских подданных, но её одежда оставалась венгерской. Подражая магнатам, держала гайдуков и шляхта. Во время глубокого мира либо в отдалённых от границ областях гайдуки исполняли обычные обязанности дворовых.

[18]

Сельский пробощ, или плебан — настоятель приходского костёла, старший среди духовенства прихода.

[19]

В документах семьи поэта есть упоминания о каких-то отношениях с Парфяновичами. Горбатовичи — шляхетская слобода (застянок) в новогрудском воеводстве, в ворончанском приходе, недалеко от застянка Соплицы. Около 1770 года прадед поэта приобрёл там фольварк (хутор), переселившись из Лидского уезда в Новогрудский. В Горбатовичах не было в действительности столько Мицкевичей, сколько (двести!) указано в поэме.

[20]

Между Мицкевичами и Соплицами действительно существовала давняя родовая вражда, отражённая в судебных актах о земельном («граничном») процессе Соплиц и Мицкевичей, а также — в преследовании Мицкевичей со стороны Яна Соплицы, убившего одного из родственников поэта и угрожавшего посягнуть на жизнь отца Адама Мицкевича, начавшего против него судебное дело.

[21]

В оригинальном тексте — «кресла, ленты и булавы» говорят о том что предки Стольника были сенаторами, их награждали орденами, среди них были и гетманы (булава — знак гетманского достоинства).

[22]

Слуга — ключник Гервазий. «Обмакнул в рану меч» — по обычаю, издавна распространённому там, где была принята родовая месть- «Ножик» — прямая сабля Гервазия, меч (которым можно было и рубить и колоть), тяжёлая рапира, иронически прозванная им «Ножиком перочинным».

[23]

Т.е. сгорел живьём (пескарей пекли или жарили живыми). *Кореличи* — местечко (городок) в 22 км. к востоку от Новогрудка, возле речки Рута. Об упомянутом здесь Рымше достоверных сведений нет.

[24]

«Пояс с узлами-огурцами» — шнур, которым подпоясывались монахи францисканских монастырей; он белого цвета, а на концах у него — узлы, прозванные «огурцами».

[25]

В оригинале дословно: «Или берет с *вицин* кофейные зерна лучшего сорта».

Вицины — это большие суда на Немане, при посредстве которых литвины ведут торговлю с Пруссией, отправляя на них зерно, а взамен получая бакалейные товары (А.М.).

[26]

Князь Сукин — вымышленное (с юмористической целью) имя, так же как и (несколько ниже в тексте поэмы): «Кирилл Гаврилыч Козодусин».

[27]

Дамы XVIII века, под влиянием сентиментализма, с его идеалом женщины как слабого и чувствительного существа, усвоили себе манеру падать в обморок и чуть что ссылаться на спазмы, сердцебиение и тому подобные признаки впечатлительности и деликатности их натуры.

[28]

Марьяж — старосветская карточная игра. В переводе с французского означает «женитьба», ибо сочетание короля и дамы давало в ней наибольшее число выигранных очков. В начале XIX века марьяж выходил уже из моды, в него играли большей частью старики.

[29]

Судья, в противоположность Телимене и Графу, выступает даже в вопросе о сроках охоты сторонником старины, не думавшим ни о каких предписаниях в этой области и руководившимся в охоте только чувством морально дозволенного или недозволенного, на практике приводившим к истреблению богатейшей фауны страны.

[30]

Талер — монета, получившая название от местности Иохимсталь в Чехии, где эти монеты стали чеканить с 1518 года. В Польше чеканка их началась с 1528 года. Первоначально талер равнялся тридцати грошам, то есть он был одинаковой стоимости с польским «злотым», но позднее ценность талера поднялась значительно выше.

[31]

Среди польской шляхты ещё в XVII веке был в ходу анекдот о мухах-шляхтянках.

[32]

Янус — древнеримский бог, покровитель входов и выходов. Его изображали с двумя лицами. Изображения Януса помещали над дверьми — одна голова бога была обращена внутрь жилища, другая — наружу.

[33]

«Pax vobiscum» и значит по-латыни: «Мир вам!»

[34]

«Шляхтич Жегота» — таково было первоначальное заглавие 1-й книги «Пана Тадеуша», которое некоторые мицкевичеведы считают первичным заглавием всей поэмы. По этому предположению, светское имя ксендза Робака было (в начальном варианте поэмы) не Яцек Соплица, а Игнатий (Жегота) Соплица, и Робаку будто бы принадлежало первое место среди персонажей поэмы.

Тераевич, не раз упоминаемый в поэме, принадлежал к числу родственников Мицкевича. Тераевичи жили в Пуцевичах. На дочери судьи Тераевича был женат Александр Мицкевич, брат поэта.

[35]

Будревич — имя одного из друзей Мицкевича по Виленскому университету, где было двое Будревичей, коренастых, сильных и неуклюжих братьев, над которыми часто подшучивали товарищи. Их прозвали «Будрысами», и это прозвище вошло в знаменитую балладу Мицкевича «Три Будрыса».

[36]

Князь Доминик Радзивилл, большой любитель охоты, эмигрировал в герцогство Варшавское и сформировал там на свой счёт кавалерийский полк, которым и командовал. Умер во Франции. С ним угасла мужская линия Радзивиллов, князей Ольица и Несвижа, самых крупных панов в Польше и, должно быть, во всей Европе (А.М.).

[37]

Мейен отличился в народной войне во времена Костюшки. Под Вильно до настоящего времени показывают мейенские окопы (А.М.).

Сангушко — магнатский род в Литве; трудно сказать, о каком из Сангушко идёт здесь речь. В оригинале этот Сангушко назван маршалком; но многие Сангушки бывали великими маршалками, коронными и литовскими, то есть высшими сановниками в государстве (не смешивать с повятовыми маршалками).

[38]

Куписко — урочище над Неманом, в виленском воеводстве, возле Щорс.

[1]

Елисейские тени (греческая мифология) — духи, или тени умерших, попадающие после жизни, исполненной подвигов и добродетелей, на обширные подземные, так называемые «елисейские» поля, где они бродят в блаженстве, не зная тревог и забот, но подчас всё же сожалея о покинутом мире.

[2]

Экономка и «дом», из которого она происходит, названы так поэтом в юмористических щелях. Этим целям служит и разрыв второй фамилии на две части с переносом в следующий стих её окончания.

[3]

В календарях XVIII—XIX веков печатались, иной раз вперемежку со всяким вздором, более или менее полезные советы по различным отраслям хозяйства.

[4]

Английская трава — декоративное растение с узкими и длинными листьями в белые и зелёные полосы.

[5]

Амальтея (греческая мифология) — коза, выкормившая малютку Зевса, спрятанного на о. Крите от его отца, Кроноса. Благодарный Зевс, победив отца, поместил Амальтею между звёзд, а из её рога сделал так называемый «рог изобилия», никогда не истощавшийся.

[6]

Высокопарная речь Графа выдержана в ходульном тоне так называемых ложноклассических од и пародий на них вроде хорошо известной Мицкевичу пародийной «Оды к кнуту» польского поэта Нарушевича. Среди античных образцов подобного торжественно приподнятого обращения комментаторы указывают на слова Одиссея, приветствующего царевну Навсикаю.

[7]

Грибным полковником зовётся он недаром! — На Литве широко известна народная песня о грибах, выступающих на войну под командой боровика. В этой песне описаны свойства съедобных грибов (А.М.).

[8]

Среди простого народа было распространено в тогдашнее время опаивание детей одурманивающим отваром из маковых листьев, чтобы дети спали, когда родители уходят на работу и оставляют их без присмотра.

[9]

Судья, которому привычно было говорить о польских легионах, с 1797 года находившихся на службе Франции (в 1811 году они уже не существовали), называет здесь «легионами» войска герцогства Варшавского. Слова «я был в большой печали», по замечанию некоторых польскик комментаторов, не очень-то высоко аттестуют патриотизм Судьи.

[10]

Для тесного провинциального «застянкового» кругозора Судьи эти слова характерны; он с гордостью вспоминает о своих путешествиях в мелкие города, Дубно и Петроков, не говоря уже о Варшаве.

[11]

Из поэмы видно, что Зосе пошёл четырнадцатый год. В тогдашнее время панны этого возраста считались взрослыми, выходили замуж и становились матерями. По Литовскому статуту, опека над потерявшими родителей лицами женского пола оканчивалась, когда им исполнялось тринадцать лет.

[12]

Тибур, ныне Тиволи, городок неподалёку от Рима, славится красотой местоположения и хорошим климатом. Река Тевероне (Анио) образует возле города красивые водопады. Позилиппо — гора возле Неаполя с большим гротом длиной в 689 метров. Неподалёку развалины древнеримской виллы Паузилипон (в переводе «Отрадное»).

[13]

Менады, по греческой мифологии, — женщины из свиты бога вина Дионисия (у римлян — Вакха, вакханки); их изображали с жезлами (тирсами), обвитыми плющом и виноградом. Гроздья лесных орехов Мицкевич сравнивает с гроздьями винограда.

[14]

Брейгели — семья нидерландских художников: Питер (1525–1569) и двое его сыновей: Питер (1564–1638), прозванный, в отличие от отца, «Ван дер Хелле» (что значит: адский) за изображение сцен ада, и Ян (1568–1625); все трое — -пейзажисты. Рюисдаль, Якоб (1628–1682) — голландский художник, тонко передававший настроение природы в своих ландшафтах, изображавших уединённые леса и потоки — излюбленный романтиками пейзаж.

[15]

Известный художник-жанрист; за несколько лет до смерти начал писать пейзажи. Умер недавно в Петербурге (А.М.).

Александр Орловский (1777—1832) — художник, один из зачинателей народного бытового жанра как в русском, так и в польском искусстве. С 1802 года жил в Петербурге как художник двора великого князя Константина Павловича, наместника Польши. Любовно писал картины на сюжеты из польской истории и быта. Мицкевич познакомился с ним во время своего пребывания в Петербурге в 1828–1829 годах.

[16]

Пиявки — порода английских псов, малых, но сильных; они служат для охоты на крупного зверя, особенно на медведя (А.М.).

И*справник*, или капитан-исправник, — начальник уездной полиции. *Стряпчий* — должностное лицо вроде государственного прокурора. Эти чиновники, часто располагающие возможностью злоупотребить властью, вызывают глубокое отвращение у граждан (А.М.).

[17]

Плебан — приходский священник.

[18]

Св. Губерт — покровитель охотников; месса — обедня.

[1]

В оригинале: «Dyplomatyka i lovy». Мицкевич пользуется здесь словом «дипломатия» в смысле «политическая деятельность», «агитация», имея в виду прежде всего деятельность ксендза Робака, политического эмиссара Наполеона.

[2]

Эмиссар — посланец; здесь — тайный польский агитатор-патриот. Впервые эти наполеоновские эмиссары появились в Варшаве в 1805 году; после своего посещения Варшавы (1807) Наполеон направил своих эмиссаров на Литву и Волынь для возбуждения недовольства среди населения и собирания информации.

[3]

Крепь — так переводчик передаёт польское слово matecznik, означающее здесь «недра пущи», с заматерелым, вековечным лесом, естественные заповедники, где сохраняется и выводится всякий зверь. Мицкевич в описании matecznika опирался на народные поверья о недоступных человеку лесных недрах, куда знают доступ какими-то им одним известными тропами только звери, которые и отправляются туда умирать.

[4]

Свитезь — озеро к югу от Новогрудка площадью около 20 км², среди большого плужинского бора (это озеро описано в балладе А. Мицкевича «Свитезь»). — *Понары* — понарские горы, гряда живописных лесистых холмов неподалёку от г. Вильнюса, на юго-запад от него. — *Кушелево* — кушелевская пуща в юго-западной стороне б. Новогрудского уезда.

[5]

Витенис — литовский великий князь конца XIII — начала XIV века. Миндовг (Миндове, Мендог) — король Литвы в XIII веке (1253—1263), основатель Литовского государства, подчинивший себе многих князей как литовских, так и западнорусских. После его смерти созданное им государство распалось. Возле Новогрудка, родины А. Мицкевича, находится курган, по преданию, с могилой Миндовга. Гедимин — великий князь литовский (1315—1341), основатель г. Вильнюса; при нём Литва превратилась в большое и сильное государство; он был отцом великого князя Кейстута и дедом Владислава Ягеллы, при котором Литва объединилась с Польшей.

[6]

И песней тешился искусного Лиздейки. — В старинной хронике Стрыйковского говорится, что Лиздейко был последним верховным жрецом языческой Литвы.

[7]

По преданию, великому князю Гедимину приснился на Понарской горе железный волк, и Гедимин, по совету вайделота Лиздейки, заложил вблизи город Вильно (А.М.).

Эту легенду о Гедимине записал в своей хронике Стрыйковский: «Снилось ему, что он видит огромного и сильного волка, закованного как бы в железные латы».

[8]

Эта легенда выросла, по-видимому, из наивного осмысления названия Вильно, которое сближается со словом волк (волк, по-польски, wilk).

[9]

Легендарные основатели Рима, близнецы Ромул и Рем, были будто бы выкормлены волчицей. Эта древнеримская легенда объясняет литературное (по аналогии) происхождение приведённой у Стрыйковского литовской легенды об основании Вильнюса.

Ольгерд (1345—1377) — великий князь Литвы, отец Владислава Ягеллы (1377—1434), кроме которого у него было ещё одиннадцать сыновей, ставших родоначальниками нескольких знатных литовских фамилий. Ольгерд правил Литвой совместно с Кейстутом (младшим сыном Гедимина).

[10]

Зыгмунт-Август, по старинному обычаю, препоясался в столице Великого Княжества Литовского мечом и короновался шапкой Витольда. Он очень любил охоту (А.М.).

«Шапка Витольда» — государственная регалия Литвы. (Ср. «шапка Мономаха».)

Зыгмунт-Август (1520—1572) — Сигизмунд II Август, польский король с 1548 по 1572 год, последний Ягеллон на польском престоле; после него Польша стала выборной монархией.

[11]

В Росенском уезде, в имении Пашкевича, земского секретаря, рос дуб, прозванный Баублис, некогда, в языческие времена, считавшийся священным. В дупле этого исполина Пашкевич устроил кабинет литовских древностей (А.М.).

Пашкевич, Дионизы — известный собиратель литовских древностей, историк, автор нескольких трудов, вышедших около 1820 года.

Дуб Баублис насчитывал будто бы около тысячи лет и, по преданию, считался священным ещё в языческой Жмуди. Засохший в 1811, он был срублен в 1812 году. Внутри его ствола была вырублена беседка, и в ней устроен музей, о котором вспоминает поэт в своих «Объяснениях». В беседке могло разместиться не менее десяти человек.

[12]

Шумит ли рощица Миндовга над костёлом? — Недалеко от приходского костёла в Новогрудке росли древние липы; их много вырубили около 1812 года (А.М.).

[13]

Рось — правый приток Днепра, очень живописный. В поместье Головинских над Росью, Стеблеве, радушно приняли поэта, когда он направлялся в Одессу, в феврале 1825 года. Остатки гигантской липы существовали ещё в конце XIX века.

[14]

Чернолесская липа — дерево, осенявшее дом Яна Кохановского, великого польского поэта XVI столетия; эта липа увековечена им в нескольких стихотворениях.

[15]

См. поэму Гощинского «Каневский замок». В третьей части поэмы казак Небаба думает в степи на вершине древнего дуба о великом прошлом Украины.

[16]

Тир — город в древней Финикии, стране, граничившей с юга с Палестиной. Тирийские плотники работали при постройке знаменитого, по библейским преданиям, храма Соломона в Иерусалиме.

[17]

Храм Соломона был выстроен на Сионе, священном холме Иерусалима. Хирам — тирский царь (969—963 годы до. н.э.), друг царя Соломона.

[18]

Пизанская башня — наклонная колокольня кафедрального собора в городе Пизе, в Италии; при высоте около шестидесяти метров её вершина находится не прямо над основанием, а с отклонением в пять метров.

[19]

В оригинале говорится, что Янкель привозил много «коломыек из Галича, мазурок из Варшавы». К этому тексту Мицкевич делает примечание: «Коломыйки, украинские песни, вроде польских мазурок».

[20]

«Ту песню» — мазурку Домбровского «Ещё Польска не згинела». «У авзонов» — у итальянцев; Авзония — легендарное название Италии (от имени Авзона, сына Одиссея и нимфы Калипсо).

[21]

Почётное место, где в древности ставились изображения домашних богов, где до сих пор русские вешают образа. Туда литовский крестьянин сажает гостя, которого хочет почтить (А.М.).

[22]

Reverendissime (лат.) — почтеннейший. В старину так обычно обращались к ксендзам.

[23]

Ченстохов — город с монастырём на Ясной горе, где находится польская католическая святыня — «чудотворная» икона богоматери. В агитации ксендза Робака рассчитано, что упоминание Ченстохова подействует не только на религиозное, но и на патриотическое сознание шляхты, так как город этот в XVII веке прославился геройской защитой против шведов.

[24]

В словах Вильбика отражена тревога, вызванная наполеоновскими реквизициями сокровищ католической церкви. Часть сокровищ ченстоховского монастыря была изъята герцогством Варшавским для военных нужд в 1812 году.

[25]

«Литовский курьер» был тогда единственной польской газетой, выходившей в Вильне.

[26]

В 1811 году армия герцогства Варшавского насчитывала 60 тысяч человек; перед походом в Россию она была увеличена до 85 и даже 90 тысяч. В своих мемуарах, написанных на острове св. Елены, Наполеон, в оправдание тягчайших жертв похода 1812 года, указывал, что эта кампания была оплачена кровью главным образам «чужих» народов, и приводил цифры, из которых видно, что поляков он загубил в этом походе куда больше, чем природных французов.

[27]

Мелкая шляхта, искательная и угодливая по отношению к магнатам, была спесива и высокомерна с близким к ней, по имущественному положению, крестьянством.

[28]

Шляхта в старой Польше была «неподатным сословием». Царские власти приказали, чтобы «застянковая» шляхта представила грамоты о своём действительно дворянском происхождении. Множество мелких шляхтичей не могли документально подтвердить своего шляхетства. Их записывали крестьянами и обкладывали податями. Это вызывало в шляхетских слободах (застянках) сильное недовольство.

[29]

Митра — тут: княжеская шапка. Митра в гербе, над геральдическим щитом, указывала на принадлежность к княжескому роду.

[30]

«Выкрест» — обычно название перешедшего в христианство еврея, а не всякого новообращённого, чем и вызван возглас другого шляхтича.

[31]

«Порай», герб Мицкевича и князей Гедройцев, был несколько иным, чем описывает его Мицкевич: на красном поле в этом гербе была изображена роза с пятью лепестками.

[32]

Гданьск был взят французскими войсками при участии польских подразделений 24 мая 1807 года. Поляками командовал генерал Генрих Домбровский.

[33]

Тарататка — польская верхняя одежда, род кафтана до колен, с вышитыми петлицами для застегивания.

[34]

Аустерлицкая битва, в Моравии (1805), — так называемая «битва трёх императоров». Против императора Наполеона I выступили австрийский император Франц II и русский император Александр I, с которым был его младший брат, великий князь Константин Павлович, впоследствии наместник, Польши. Причиной поражения союзников была бездарность австрийского командования, которому чрезмерно доверился Александр I.

[35]

Негримово, Зубково, Пуцевичи — фольварки и застянки возле Новогрудка. Пословицы сложил к месту, как видно, сам поэт.

В Зубкове жили Чечоты (один из них, Ян Чечот, был университетским товарищем и другом Мицкевича), Гречехи (фамилия Войского из «Пана Тадеуша») и др. старинные роды мелкой шляхты.

[36]

Некоторые места четвёртой песни принадлежат перу Стефана Витвицкого (А.М.). — Эти места теперь точно известны, так как существует текст С. Витвицкого: описание недр пущи — 68 строк, которое автор «Пана Тадеуша» трижды основательно перерабатывал.

[37]

Описание этой «столицы» Мицкевич ввёл только во второй редакции вставки о недрах пущи. Оно основывается на белорусском предании — о лесном духе, Лесовике, и его таинственном и грозном сельбище. Генрих Жевусский один из мастеров польского шляхетского сказа («гавэнды»), утверждает, что это предание рассказал поэту художник Олешкевич, с которым Мицкевич был близок в Петербурге.

[38]

Медведь, и зубр, и тур — они владыки чащи… — Тур — вымершее животное, один из видов первобытного дикого быка. Белорусский зубр, род буйвола — крупнейшее дикое животное в Европе. Единственное место, где он ещё водится, — Беловежская пуща.

[39]

Клювы больших хищных птиц, по мере того как эти птицы стареют, всё более искривляются, пока, наконец, верхнее острие, загнувшись, не замкнёт клюв, и тогда птица умирает с голоду. Это народное предание принято некоторыми орнитологами (А.М.).

[40]

В самом деле, не было случая, чтобы когда-либо был найден скелет издохшего зверя (А.М.).

[41]

В этом стихе и ниже пародируется теория Жан-Жака Руссо о порче людских нравов цивилизацией.

[42]

«Пташинка» (в настоящем переводе «невеличка-птичка») — это ружьё малого калибра; в него кладётся маленькая пуля. Меткий стрелок поражает из такого ружья птицу на лету (А.М.).

[43]

В анекдоте о Домейке и Довейке, а также в рассказе о Рейгане и принце де Нассау шляхтич Войский выступает в роли мастера устного рассказа, какие живали кое-где при дворах магнатов. Широкая, открытая для многочисленных гостей жизнь магнатских дворов породила этот тип своеобразного шляхетского «сказителя», обладавшего подчас весьма значительным творческим воображением и выдающимся даром живого слова. Войский — тоже вымиравший тогда тип, тип своеобразного «последнего барда» шляхты.

[44]

Обе фамилии очень распространены на родине поэта. Фамилию Домейко поэт ввёл в поэму ради шутки, на память о своём друге, земляке и университетском товарище, Игн. Домейко, который жил вместе с поэтом в период его работы над «Паном Тадеушем», переписывал рукопись поэмы и своими воспоминаниями об обычаях родины часто бывал полезен Мицкевичу.

[45]

То есть по женской линии: «по прялке» — образное геральдическое выражение; по мужской линии — «по мечу».

[46]

В бутылках гданьской водки на дне бывают листочки золота (А.М.).

[47]

Кирейка — верхняя одежда, обычно на меху.

[48]

Уша — фольварк (хутор) в Новогрудском уезде, в 39 км от Новогрудка, над речкой Уша, притоком Немана.

[49]

Виргилий, или Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н.э.) — римский поэт, автор большой эпической поэмы «Энеида».

[50]

Царица Дидона приказала разрезать на пояса воловью шкуру и таким образом охватила ею обширное поле, на котором заложила Карфаген. Войский вычитал описание этого события не в «Энеиде», а вероятно, в комментариях схоластов (А.М.).

В «Энеиде» Виргилия есть только краткое упоминание о мифе об основании знаменитой финикийской колонии и города Карфагена. Мицкевич полагает, что Войский мог вычитать более подробное изложение этого мифа у кого-либо из античных комментаторов римского поэта.

[51]

Одна из евангельских заповедей, никогда не соблюдавшихся ни одним христианским народом: «не убий!». «Приводить законы» — ссылаться, в первую очередь, на польские «статуты», запрещавшие поединки.

[52]

«Медведица» — родовая усадьба Домеек, над Ушей, недалеко от Новогрудка.

[1]

В первом полустишии Телимена говорит неправду, ибо ей за 40 лет, и она чуть ли не вдвое старше Графа. Во втором полустишии она на этот раз откровенна: «и состоянья нету»; прельщая Тадеуша, она говорила другое: «Тут юноша узнал, что с состояньем тётка».

[2]

Польские комментаторы отмечают неясность степени родства Телимены с Соплицами, обстоятельство, осложняемое здесь указанием на родство Телимены с Зосей, и притом, по-видимому, близкое родство. Неслаженность этих указаний поэмы вызвала даже предположение, что в лице Телимены совмещены (в последней редакции): тётка Тадеуша (из первоначального варианта) и воспитательница Зоси (быть может, какая-то дальняя родственница Горешков).

[3]

В оригинале дословно: «вырвавшаяся бог весть откуда, как Филипп из конопли». Мицкевич комментирует эти строки:

«Однажды на сейме депутат Филипп из наследственной деревни Конопля, попросив голоса, так далеко отступил от темы, что возбудил всеобщий смех в палате. Отсюда-то и поговорка: вырвался как Филипп из конопли».

Это объяснение считается теперь неточным. Комментаторы указывают, что Филипп — это южноукраинское прозвище зайца. Заяц, одурев от острого запаха конопли, бежит из неё во весь дух, отсюда и поговорка.

[4]

Ошмянский и Лидский уезды граничили с уездом Новогрудским с севера и с запада. В старой Польше была широко распространена «земляческая» солидарность шляхты и соревнование с другими «землями» («повятами»).

[5]

Подобное представление о змеях (якобы добывающих яд из трав, которые они для этого высасывают) широко распространено в народе. Некоторые комментаторы выражают предположение, что Мицкевич воспользовался тут гомеровским сравнением («Илиада», XXII).

[6]

Некоторые монастырские уставы (и строже других, устав капуцинов) предписывали молчание во время еды.

[7]

Денасов — принц де Нассау-Зиген (1745—1808), известный искатель приключений, много путешествовавший. Служил в войсках у французов, итальянцев, русских; принимал участие в одной из русско-турецких войн. В Польшу прибыл в 1780 году, был гостем знатнейших польских аристократов (например, Кароля Радзивилла) и женился на княжне Сангушко. Рейтан — знаменитый в Литве охотник.

[8]

Из этого стиха видно, что Подкоморий решил присудить замок, находившийся среди полей Судьи, Соплицам, а стоимость земли при замке возместить Графу за счёт имения Судьи.

[9]

Речь Возного — выражение духа сутяжничества и крючкотворства, которым он проникся за долгие годы службы в старопольских судах. Она вместе с тем полна спеси. Недаром же он Брехальский; это фамилия-кличка от «брехать», врать, лгать (см. ниже: «Попридержи язык, ты брешешь, как собака!»). Его противник, Гервазий, носит тоже кличку, значение которой столь же ясно — «Рубака» (Ренбайло). Ср. ещё фамилию-прозвище (начало III кн.): Кокошницкая из роду Индюковичей. Такие легко этимологизируемые фамилии характерны для литературы XVIII и даже первой половины XIX века.

[10]

Приручённого медведя его вожатый принуждает палкой танцевать в такт музыке.

[11]

«Дзяды» — поминки душ усопших; в это время на могилах оставляется для них пища.

Мицкевич написал большую, создававшуюся им в разные периоды жизни драматическую поэму «Дзяды» («Поминки»); в предисловии ко второй её части поэт объясняет этот народный обряд поминовения. Исполнял обряд поминок старик, вызывавший чарами, заклятиями — «гуслами» — души умерших на этот обряд поминовения. Ниже в переводе он назван «гусляром».

[12]

Гервазий, живо себе представляя желанную месть Соплицам, в своём старческом увлечении упрекает Графа в том, что тот не принял его совета устроить наезд на Соплиц, тогда как на самом деле он ещё не давал Графу этого совета. Гервазий стоит именно за «наезд» (наязд), отличая его от «заязда», ибо последний мог бы иметь место, если бы у Графа был уже окончательный приговор суда в его пользу. (см. «Объяснение» [*] поэта к заглавию поэмы.) «Наязд» Гервазия — простой вооружённый захват.

[13]

О Матеке речь будет в книге VI «Пана Тадеуша» и далее, до конца поэмы.

[14]

«Готский» — в значении средневековый; «сарматский» — в значении старопольский.

[15]

Палермо — итальянский приморский город на северном побережье Сицилии.

[16]

В Добжине, а потом в Центычах и в Ромбанках — Застянки, Центычи и Ромбанки вымышленные, с названиями, произведёнными от глаголов — сечь и рубить (обозначение действий, которыми славилась загоновая шляхта).

[17]

Буздыган (тур.) — регалия высших войсковых чинов, род булавы, но с грушевидным утолщением на конце, при коротком древке.

[18]

Конфедератка — головной убор о четырёх острых углах, высокий; его носили, чуть сдвинув к правому уху. Иногда его отделывали мерлушкой и украшали пучками перьев орла, сокола, журавля или цапли. Этот головной убор носили исстари в Польше, но особенной популярностью он стал пользоваться со времён барских конфедератов (1768—1771), и с тех пор он носит название «конфедератки».

[1]

В Литве называют «околицей» или «застянком» шляхетское селение, чтобы отличить его от настоящих деревень или сел, то есть крестьянских селений (А.М.). Комментаторы сопровождают это объяснение Мицкевича указанием на его неточность. Шляхетская «околица» возникала путём оседания (часто колонизаторского) пришлой шляхты различного происхождения, а значит и разных в одной местности фамилий. «Застянок» же образовывался путём разрастания одной семьи и разделения некогда одного владения на несколько, а иногда и много отдельных хозяйств. Следовательно, вся шляхта застянка носила одно родовое имя и была связана между собой узами родства. И потому Добжин был застянком.

[2]

Актовый реестр, в оригинале: «тактовый реестр» (rejestr taktowy), список дел об оскорблении суда и судей; эти дела слушались в городских судах.

[3]

Позыв — польское pozew — означало в старинном польском судопроизводстве вызов ответчика на суд; этот вызов осуществлялся истцом при посредстве судебных властей, обычно посылавших такую повестку через возного.

[4]

Рейтузы — широкие брюки для верховой езды. В рейтузы и куртку одевались, отправляясь в дорогу.

[5]

Тарговица, тарговицкая конфедерация — союз польских магнатов (во главе со Щенсным Потоцким, Ксаверием Браницким, Шимоном Коссаковским и др.), добившийся, при поддержке царских войск, отмены польской прогрессивной Конституции 3 мая (1791). Конфедерация эта организовалась 14 мая 1792 года в местечке Тарговица, возле Умани (Киевская область). Позднее к ней примкнул и король Станислав-Август.

[6]

Кисель, литовское кушанье, род галантира; он приготовляется из заквашенного молотого овса, отполаскиваемого водой до тех пор, пока не отделятся все мучные частицы; отсюда и поговорка (А.М.).

[7]

Наполеоновские войска ещё в 1806 году вступили на польские земли, отошедшие после трёх разделов к Пруссии. 19 декабря 1806 года Варшава торжественно встречала Наполеона. Победы, одержанные 14 октября 1806 года Наполеоном над пруссаками под Иеной и Ауерштедтом, окрылили поляков. Но в июле 1807 года французский император заключил с Александром I мир в Тильзите, вызвавший в Польше разочарование: вместо независимой и сильной Польши на карте Европы появилось карликовое герцогство Варшавское.

[8]

«Поганя» — герб великого княжества литовского: на червонном поле изображён всадник, скачущий на белом коне; в правой руке у всадника меч, в левой — щит. «Медведь» — герб Жмуди, низменной прибалтийской области, которую до последнего раздела Польши называли княжеством Жмудским с уездам: Росенским, Шавельским и Тельшевским; это были земли старой Литвы, в которых сохранилось много особенностей, бытовых и этнографических.

[9]

Исторически неверно. Александр I не посылал просить мира у Наполеона, но после вторжения французов, к Наполеону прибыл (в июле 1812 года) генерал Балашов, предложивший французам отвести войска за Неман и прекратить военные действия против России.

[10]

Луи Биньон (1771—1848) — французский дипломат, был в 1811 году представителем Наполеона в столице герцогства Варшавского, а позднее его комиссаром при временном правительстве Литвы. Юзефа Понятовского в то время не было в Варшаве: с апреля и до осени 1811 года он жил в Париже.

[11]

Здесь говорится о движении в Литве с целью воссоединения с собственно Польшей, «Короной». Наполеоновские эмиссары в Литве поощряли эти стремления, тогда как некоторые литовские магнаты, во главе с М. Огинским и князем Любецким, держались не французской, а русской ориентации.

[12]

Граф был представителем знатного рода, магнатом. Могущественные магнаты, сосредоточивая у себя огромные владения и будучи первыми вельможами в государстве, фактически пользовались исключительными привилегиями и использовали шляхту в своих политических целях.

[13]

Михал Володкович — близкий друг князя Кароля Радзивилла, отличался дебоширством, насилиями и дикими попойками. За кровопролитие, учинённое им над членами трибунала великого княжества Литовского, он был расстрелян в возрасте 24—25 лет, в 1760 году; в «Объяснениях» поэт говорит о нём только: «После многих насилий был схвачен в Минске и, по приговору трибунала, расстрелян».

[14]

Добжина не было в Новогрудском уезде: многочисленные шляхетские семьи Добжинских жили главным образом в «застянке» Долматовщизна.

[15]

Ян III Собесский (1624—1696) — сын краковского кастеляна, польский король с 1674 года. Он победил турок при Хотине в 1673 году, а десять лет спустя освободил осаждённую турками Вену и спас от разгрома Австрию. Мицкевич даёт к этому стиху следующее объяснение:

«Король, объявляя созыв всеобщего шляхетского ополчения, приказывал втыкать в каждом приходе высокий шест с воткнутой в него наверху метлой, то есть выставлять веху. И это называлось *раздать вехи*. Каждый взрослый мужчина рыцарского сословия обязан был тотчас же, под угрозой утраты шляхетства, стать под воеводскую хоругвь».

[16]

Мицкевич поясняет в этом месте «Объяснений» значение польского слова imioniska при помощи ссылки на французское слово sobriquet.

[17]

В оригинале прямо указан год 1794 (год восстания Костюшки в Польше и Ясинского на Литве). Прозвище Мацька точнее было: «Петух на костёле», ибо флюгеры — это были железные флажки в виде петушков, менявшие положение в зависимости от того, откуда дует ветер.

[18]

То есть со времени войн шведского короля Карла XII с Августом II Саксонским. Саксонский курфюрст Август II был с 1697 года и польским королём.

[19]

Зыгмунтовка — польская сабля, знаменитая добротностью клинка, на котором обычно выбивали портрет Сигизмунда III, короля Польши с 1587 по 1632 год.

[20]

Церера (римская мифология) — богиня плодородия земли. Помона — богиня садов. Марс — бог войны.

[21]

Михал-Клеофас Огинский (1765–1833) — участвовал в восстании Ясинского на Литве и в 1794 году был членом временного правительства (жонда).

[22]

Граф Александр Потей, обозный литовский, был тяжело ранен во время штурма Праги (1794). В 1811 году он ещё жил, а в 1815 году был членом делегации литовских областей, представленной в Варшаве Александру I, когда тот возвращался с Венского конгресса. Поэт говорит о нём: «Граф Александр Потей, возвратившись с войны в Литву, поддерживал перебегавших за границу земляков и пересылал значительные суммы денег в кассу легионов».

[23]

Тогдашние календари (из которых многие выходили под названием «Календарь сельского хозяина») помещали предсказания погоды на все дни года.

[24]

«Когда восходят зори» — религиозная песнь, сочинённая Фр. Карпинским и изданная в 1792 году. С тех пор она пользовалась в Польше большой популярностью, и упоминания о ней часты в польской литературе.

[25]

Слуцк — город над р. Случь, в котором в те времена изготовлялись красивые широкие пояса для польской шляхты; они были из шёлка, тканные чистым золотом и серебром.

[26]

Кросны, или кросно, — ткацкий стан.

[1]

Крулевец — польское название Кёнигсберга, бывшей столицы Восточной Пруссии.

[2]

Французы вступили в отошедшую к немцам часть Польши в начале ноября 1806 года и притом не через Варту, так как, чтобы попасть в Великопольшу, не надо переходить через эту реку.

[3]

Граф Юзеф Грабовский был в 1812 году адъютантом Сокольницкого, начальника штаба армии Мюрата. В 1831 году Мицкевич гостил в его поместье, Лукове. В Лукове, у Грабовского (по утверждению ряда исследователей и друга Мицкевича, поэта Богдана Залеского), А. Мицкевич задумал «Пана Тадеуша» и написал там начало поэмы.

[4]

Обезеже — имение в Оборницком повяте, к северу от Познани, принадлежавшее помещику Турну, у которого в 1831 году гостил Адам Мицкевич.

[5]

Тадеуш Тодвен — служил в польских легионах офицером лёгкого кавалерийского полка, под командой Винцента Красинского (отца поэта Зыгмунта Красинского). Он участвовал в испанской кампании Наполеона. Мицкевич познакомился и близко сошёлся с ним в Дрездене (1832).

[6]

Иена — город в Саксонии над р. Заал. Здесь Наполеон одержал победу над пруссаками (1806), одним из последствий которой было образование герцогства Варшавского (из польских земель, отошедших по разделам к Пруссии).

[7]

Ландрат (в дословном переводе: «земский советник») — чиновник какой-либо из немецких «земель»; хофрат — «надворный советник», придворный советник (титул немецкого чиновника среднего ранга).

[8]

Игра слов: прусаки — жёлтые тараканы и пруссаки же немцы.

[9]

«Майн гот!» (нем. mein Gott) — мой боже.

[10]

Ретирада (франц.) — отступление. Победы Наполеона вызвали величайший энтузиазм среди поляков. В немецкой части Польши стали стихийно возникать польские вооружённые отряды, которые гнали пруссаков вон из коренных польских земель.

[11]

В прусском войске было тогда обязательным ношение париков с длинными волосами, которые сзади завязывались лентой или же охватывались сеткой.

[12]

Домбровский и Выбицкий привезли в Познань прокламацию к полякам, призывавшую к организации польского войска; в ней с энтузиазмом приводились в сущности высокомерные слова Бонапарта: «Я посмотрю, способны ли поляки быть народом».

[13]

У Матека, который, как и все жители застянка Добжина, носит фамилию Добжинского, есть, для отличия от десятков других Добжинских, своё прозвище и даже не одно: Кролик, Забока, Петух на костёле (флюгер) и др. Такие же красочные прозвища носят его многочисленные родичи, населяющие Добжин.

[14]

Здесь имеется в виду последний, третий, раздел Речи Посполитой, положивший конец её существованию как государства.

[15]

В Крулевце (Кёнигсберге) родился, занимался научной деятельностью и профессорствовал немецкий философ Кант. Мицкевич сторонился кантианства и недолюбливал немецкую философию. В этих словах Кропителя поэт в шутливой форме выражает своё нерасположение к немецким философам-идеалистам.

[16]

Мацек разгадал в квестаре Робаке прежнего лихого шляхтича Яцка Соплицу. Но не зная о его покаянном образе жизни и о резкой перемене в характере, старик с недоверием относится к деятельности этого ксендза, боясь, что тот — агент царского правительства, и опасаясь от него провокаций.

[17]

Конфедерации — время от времени возникавшие тесные союзы шляхты для достижения той или иной цели, известные в Польше ещё с XIV века.

[18]

Клецк — местечко неподалёку от Несвижа, в тогдашних владениях Радзивиллов — князей Несвижа и Ольца.

[19]

В образе Бухмана Мицкевич представил тип беспочвенного политического доктринёра, широко распространённый в среде польской эмиграции во Франции. Забывая о реальных условиях исторического бытия народа, такой доктринёр, начинённый чужеземными теориями (в данном случае устарелыми руссоистскими взглядами), судит обо всём отвлечённо, подгоняя живую действительность под отжившие политические формулы, чуждые народу. Немецкая фамилия подчёркивает нелюбовь Мицкевича к отвлечённым политическим словопрениям, подобно тому, как он был нерасположен к отвлечённому идеалистическому философствованию немцев.

[20]

Снова сатирический выпад против книжного направления всей деятельности и умонастроения людей, подобных Бухману. В литературе XVIII века часто высмеивался (Красицкий, Карпинский) тип мнимо учёного агронома, получившего только книжную подготовку, незнакомого с практикой сельского хозяйства и механически переносившего чужеземные приёмы ведения хозяйства в сложную обстановку такой большой страны, какой была тогда Польша.

[21]

В оригинале: «В каком духе?»… и т.д. Здесь — тоже отражение эмигрантских споров: каким духом должно быть проникнуто будущее восстание — духом аристократизма, монархизма или демократическим, республиканским духом, а также, каков должен быть характер будущего повстанческого правительства и т.д.

[22]

Бухман педантически развивает перед деревенскими шляхтичами теорию «Общественного договора» (1762) Жан-Жака Руссо.

[23]

«Общественный контракт» — «общественный договор» Руссо, по которому правитель управляет не «божьей милостью», а волей народа, по уговору. Теория «Разделения властей» на законодательную, исполнительную и судебную была разработана французским писателем эпохи Просвещения, Монтескьё. Здесь Бухман выступает как сторонник либерально-конституционного или даже республиканско-демократического строя.

[24]

Здесь — сатирический выпад против постоянных склок многочисленных направлений и партий в польской эмигрантской среде.

[25]

Вето (лат. veto) — запрещаю, традиционная в Польше формула срыва сейма, на котором непременно требовалось единогласное решение. Эта формула так въелась в сознание каждого шляхтича, что даже после ликвидации Речи Посполитой ею, по создавшейся привычке, то и дело пользовались и в сильно сузившейся общественной жизни и в быту.

[26]

Стыпулковские были родственниками поэта; Винценты Стыпулковский был женат на тётке А. Мицкевича, и ему с 1806 года принадлежало Заосье, перешедшее к чете Стыпулковских от отца поэта.

[27]

Белица — местечко над Неманом в 35 км. от Новогрудка по гродненскому тракту. Лососна — левый приток Немана, «падающий в него чуть пониже Гродно, в нижнем течении. Лососна была границей герцогства Варшавского.

[28]

Здесь речь идёт о так называемом «мышском» заязде, о котором ничего достоверного неизвестно. Нет никаких сведений и о Войниловиче. Логомовичи, вернее Логумовичи, — деревня в Ошмянском повяте, севернее Новогрудка, между Неманом и Березиной. Эту деревню купил в 1800 году Самуэль Волк-Ланевский, составивший себе потом огромное состояние благодаря поставкам зерна для русских войск в 1812 году.

[29]

Этот случай исторически достоверен, только он произошёл значительно позднее (20 лет спустя, во время восстания 1831 года). Предание о неслыханной жестокости Волка (он умер ок. 1850 г.) живо было в Ошмянском повяте ещё в начале XX века. Рассказывают также, будто Волк, услышав от кого-то, что имя его упоминается в «Пане Тадеуше», приказал прочесть ему поэму Мицкевича.

[30]

В старой Польше голосовали, бросая в урну чёрный или белый шарик.

[31]

Здесь А. Мицкевич опять почтил своих университетских товарищей, включив их имена в поэму.

[1]

Дидона — карфагенская королева, которая полюбила Энея, а когда тот, по воле Юпитера, решил покинуть её, осыпала его горькими упрёками и пыталась покончить с собой («Энеида» Виргилия).

Мицкевич юмористически использует этот образ, говоря о мнимом отчаянии Телимены по поводу потери Тадеуша и, ниже, о её притворном намерении покончить с собой.

[2]

В оригинале дословно: «Подобно заклятым озёрам в кавказских горах». На Кавказе существует легенда о поющих озёрах. На этом мотиве основано стихотворение друга Мицкевича, поэта Залесского, «Мелитела».

[3]

В созвездии Близнецов две самые яркие звезды, Кастор и Поллукс. По хронике Стрыйковского, эти звёзды у славян назывались Лель и Полель.

[4]

На родине поэта Ситом называли будто бы Плеяды, в созвездии Быка. Предания, о котором говорит поэт, в фольклоре не найдено.

[5]

Воз Давида — созвездие, известное у астрономов под именем Ursa Major (A.M.).

Ursa Major (лат.) — Большая Медведица. Дышло Воза направлено не к Полярной звезде, а от неё.

[6]

Люцифер — ангел Света, восставший против бога и превратившийся в ангела Тьмы, сатану. Некоторые польские комментаторы полагают, что Войский почерпнул эту подробность из белорусских преданий. Другие считают, что поэт ввёл сюда Люцифера, чтобы подготовить дальнейшую параллель кометы с Наполеоном.

[7]

Левиафан — по древнееврейским преданиям, чудовищной величины рыба, предназначенная богом для будущего пиршества, на котором насладятся все знатоки священного писания.

[8]

При костёлах было в обычае вывешивать находимые кое-где остатки ископаемых животных: простой народ считает их костями исполинов. (А.М.).

[9]

Памятная комета 1811 года (А.М.). Об этой комете писало множество тогдашних мемуаристов. С нею связывалось ожидание крупнейших политических событий. Она появилась в марте 1811 года, исчезла на время в июне, а во второй половине августа на западе снова появился её длинный хвост. Постепенно приближаясь к созвездию Большой Медведицы, она оказалась среди звёзд последней около середины сентября. Это был «путь Люцифера», и поэт, уподобляя Наполеона комете, косвенно высказывает свой тогдашний суд о Бонапарте, уподобившемся безмерной гордыней Люциферу и шедшем по пути последнего.

[10]

Такие же предвестия мора описал поэт в «Конраде Валленроде», где в примечаниях дал следующее объяснение: «Простой народ в Литве представляет себе моровое поветрие в образе девицы, появление которой, как его описывают народные рассказы, предвещает страшную болезнь».

[11]

Здесь некоторые мицкевичеведы видят пробел в композиции «Пана Тадеуша». Первоначально, после образной речи Войского, насыщенной народными представлениями о звёздах, должен был будто бы выступить Тадеуш, но уже с точки зрения точной науки. Поэт, как полагают, выбросил, по каким-то соображениям, слова Тадеуша, а речь Подкомория оставил без изменений.

[12]

Ксёндз Почобут — бывший иезуит, известный астроном, издал труд о зодиаке в Дендерах и своими замечаниями помог Лаланду в вычислении движения луны. См. его биографию, составленную Яном Снядецким (А.М.).

[13]

Ян Снядецкий (1756—1830) — известный математик и астроном, профессор Краковской академии и Виленского университета, ректором которого он состоял с 1807 по 1815 год. Мицкевич был его слушателем.

[14]

Подкоморий упрекает представителей естественных наук, в том числе и астронома Снядецкого, в механическом взгляде на мир, в том, что они надменно относятся к народным воззрениям на природу, по которым существует будто бы глубочайшая таинственная связь между явлениями природы и судьбой человека. Эту точку зрения Мицкевич развивал в своей ранней (1821) романтической балладе «Романтичность».

[15]

Браницкий, Францишек-Ксаверий (ум. в 1819) — великий коронный гетман, один из инициаторов тарговицкой конфедерации, богатейший магнат.

[16]

На родине Мицкевича народ называл комету метлой, говоря, что, в какую сторону она обратит свой хвост, тот край будет начисто сметён.

[17]

В Австрии были графы Вильчики. Но Яна Собесского просил о помощи против осадивших Вену турок чрезвычайный австрийский посол граф Турн (на аудиенции 15 июля 1683 года).

[18]

Ян III видел в 1682 году так называемую комету Галлея, появляющуюся периодически каждые 76 лет.

[19]

«Янина победоносных триумфов Яна III» — заглавие труда Якуба Казимира Рубинковского, изданного в Познани в 1739 году. Именно здесь, а не в панегирике Бартоховского «Молния Востока», находится рисунок кометы 1682 года, подробно описывается её появление и приложен рисунок «Знамени Магомета», отнятого у турок. «Янина» — название герба Собесских: на красном поле рыцарский щит, а вверху павлиний хвост.

[20]

В оригинале: «генерал подольских земель», то есть верховный, генеральный староста этих земель; им в то время был Чарторыйский, Адам-Казимир (1734—1823) — отец кн. Адама Чарторыйского (министра Александра I, попечителя виленского учебного округа, председателя польского народного «жонда» в 1831 году).

[21]

Ятра — деревня и имение в 23 км от Новогрудка.

[22]

Солтан, Станислав — надворный маршалок литовский в годы Великого, или четырехлетнего, сейма (1788–1792). Здзенцёл — местечко в Слонимском повяте, владение Радзивиллов, перешедшее от них к Солтанам.

[23]

Точнее — князь де Нассау-Зиген. Знаменитый вояка и авантюрист. Он был русским адмиралом и побил турок на Лимане, затем сам был наголову разбит шведами. Жил некоторое время в Польше, где получил индигенат (права польского шляхетства, предоставляемые иностранцу). Поединок князя де Нассау с тигром гремел тогда во всей европейской прессе (А.М.). В морском сражении под Очаковом, в котором русский флот разбил турок (1788), де Нассау играл незначительную роль. В 1790 году под Свенкзундом этот немецкий авантюрист-космополит командовал небольшой русской флотилией.

[24]

Маркитантка — женщина, продававшая солдатам в походе вино и всякую снедь.

[25]

Свитезянка — русалка озера Свитезь (см. балладу Мицкевича «Свитезь»).

[26]

В старой Литве Гивойтосом назывался домашний уж или змея.

[27]

Бирбанте-Рокка — итальянское название, состоящее из двух слов, из которых первое означает: плут, негодяй, а второе: нагорная крепость, замок на скале; здесь, примерно, «Замок разбойников».

[28]

Здесь несколько латинских слов вперемежку с польскими словами, которым приданы латинские окончания (искажённая так называемая «макароническая» латынь). Значение этого отрывка следующее: «с рощами, лесами и со всеми границами: с кметями, солтысами (деревенский староста), со всевозможными вещами и с кое-какими другими». Начиная со средних веков в Польше была очень распространена латынь, особенно у «судебного сословия», так как в польские законы много проникло из римского права. Низшее духовенство тоже употребляло своеобразную латынь, прозванную кухонной. Гервазий, как человек без образования, коверкает на латинский лад польские слова, и это не удивительно, так как подобная латынь проникала даже в юридические акты.

[29]

Манлий Марк, прозванный Капитолийским, — вождь римского гарнизона в Капитолии, в 390 году до н.э.; разбуженный криком всполошившихся гусей, он отразил неожиданное нападение врага и спас Рим.

[30]

По старинному народному поверью, Хохлик — ночной дух, небольшого роста, увёртливый, крылатый, склонный к злобному веселью.

[31]

По греческой мифологии, Сон и Смерть были сыновьями Ночи.

[1]

Антал — бочонок ёмкостью около 70 литров.

[2]

В оригинале сказано: «издавна враждовали» и названы: Подгайские, Бирбаши, Гречехи и Бергели. Всё это — роды белорусской, по происхождению,шляхты, тогда как Добжинские были, как уже говорилось, поляки-мазуры, лет за четыреста до описываемых событий поселившиеся в Белоруссии и сохранившие все свои племенные особенности.

[3]

Плут — вымышленная фамилия, обличающая характер этого полякаренегата, которому Мицкевич отводит столь незавидную роль в последующих событиях. Местечка Дзеровичи в действительности не было; это тоже вымышленное название от слова odzierac — обдирать. Выходит, следовательно, так: «Плут из местечка Обдиралова».

[4]

Здесь говорится о Литовском статуте, кодексе законов, ещё применявшемся тогда в Литве в частях, не отменённых указами.

[5]

Жёлтая Книга, названная так по её обложке, — варварская книга царского военного насилия. Не раз в мирное время правительство объявляет целые области на военном положении и, согласно Жёлтой Книге, отдаёт военачальнику всю власть над имуществом и жизнью граждан. Известно, что с 1812 года вплоть до революции вся Литва подлежала действию Жёлтой Книги, и это действие зависело от великого князя цесаревича (А.М.).

До революции, то есть с 27 января 1812 года до восстания 1830 года.

[6]

Судья — это хотя и выборный, но утверждённый царскими властями чиновник, и его нельзя было третировать, подобно остальной шляхте.

[7]

Юзеф Бака (1707–1780) — иезуит, автор анонимно вышедшей в 1766 году в Вильно книжки «Рассуждения о смерти, для всех неизбежной». Эта книжка вышла вторично там же в 1807 году с предисловием некоего Р. Корсака, написанным теми же «лубочными» виршами, что и самый текст. Мицкевич приводит, в юмористических целях, выдержки из этого произведения, трактующего в шутовских стихах столь серьёзную тему.

[8]

Литовская дубина делается следующим способом: высмотрев подходящий молодой дуб, его обрабатывают топором снизу доверху так, чтобы только слегка поранить дерево, разрубив на нём кору и заболонь. В образовавшиеся рубцы втыкают острые кремни, которые со временем врастают в дерево в виде твёрдых узлов. В языческиевремена подобные дубины (мачуги) были основным оружием литовской пехоты; к ним иногда прибегают и в наше время, называя их «насеками» (А.М.).

[9]

После восстания Ясинского, когда литовские войска отступали к Варшаве, русские вступили в Вильно. Генерал Деев со свитой въезжал в город через Острую Браму. Улицы были пусты, жители заперлись в домах. Но один из граждан города, заметив покинутую в переулке пушку, набитую картечью, прицелился в ворота и поднёс фитиль. Этот выстрел спас тогда Вильно: генерал Деев с несколькими офицерами погиб, а остальные, боясь засады, отступили от города. Не могу назвать с уверенностью фамилию этого горожанина (А.М.).

Достоверно в этом объяснении то, что 20 июля 1794 года, при рекогносцировке оставленного польскими повстанцами Вильно, был убит русский офицер (не генерал) Михаил Деев. Всё остальное о Чарнобацком (вместо которого называют Коссобудского или монаха-кармелита, ксендза Цылицу) — виленское предание, ставшее известным А. Мицкевичу, по-видимому, из стихотворения польского поэта Горецкого «Острая Брама».

[10]

Здесь, как и во многих других местах «Пана Тадеуша», пародийно используется один из мотивов «Илиады» Гомера (во время поединка Париса с Менелаем Афина-Паллада побуждает знаменитого лучника Пандора выстрелить в Менелая). Плут в случае удачного выстрела обещает наградить сержанта… четырьмя рублями.

[11]

Бывали ещё и позже «заязды», хотя и не столь славные, но довольно-таки громкие и кровавые. Около 1817 года некий У., житель новогрудского воеводства, побил во время «заязда» весь новогрудский гарнизон и взял в плен его командиров (А.М.). Упомянутый поэтом У. — это маршалок Узловский, владелец поместья Чонброво, возле Свитези; о его «заязде» нет никаких достоверных данных.

[1]

Ниоба (греческая мифология) — фиванская царица, мать семи сыновей и семи дочерей, насмехалась над богиней Латоной, у которой было только двое детей: Аполлон и Артемида. Мстя за унижение матери, те перебили всех детей Ниобы. Горе последней было так велико, что даже перенесённая на гору Сипилос, в Лидии, и превращённая в камень, она вечно проливала слёзы по утраченным детям.

[2]

Это единственный во всей поэме незаконченный стих (если не считать исповеди Робака). Произошло это от того, что стихи «И в это же мгновенье… борьба стихий» представляют собой позднейшую вставку, конец которой поэт не сомкнул со следующим стихом.

[3]

Измаил — турецкая крепость, запирающая устье Дуная; Суворов взял её штурмом в 1790 году.

Очаков — турецкая крепость на днепро-бугском лимане, взятая в 1788 году русскими войсками под командой Потёмкина.

И за Эйлау («Конечно, за Прейсиш-Эйлау», — поясняет поэт). — Прейсиш-Эйлау — городок в Восточной Пруссии, под которым 7—8 февраля 1807 года произошла кровопролитная битва французов, сражавшихся против русских и прусских войск.

Корсаков — командующий русской армией (во время так называемой «второй коалиционной войны» 1799—1801 годов) в Швейцарии

Фельдмаршал — Суворов.

[4]

Рацлавицы — деревня в краковском воеводстве, под которой Костюшко 4 апреля 1794 года в битве с царскими войсками добился, при помощи народного ополчения, значительного успеха, поднявшего дух сопротивления в польском народе.

[5]

Матьевицы (Мацеевицы) — деревня с замком графа Замойского (в б. Седлецкой губ.) в 3 км. от Вислы. Здесь 10 октября 1794 года армия Костюшко потерпела поражение от царских войск, а сам Костюшко был взят в плен.

[6]

Среди русского офицерства в Польше, с первых её разделов, были офицеры, не одобрявшие насилий над поляками. «Патриарх польской литературы» первой трети XIX века, Немцевич, в своих «Литовских письмах» (1812) так же отзывался о Бебехове, как Мицкевич о Рыкове.

[7]

Гименей (греческая мифология) — сын Аполлона и одной из муз, бог брака.

[8]

Финансовое положение герцогства Варшавского было чрезвычайно тяжёлым. Главным источником дохода был вывоз зерна за границу, резко упавший вследствие объявленной Наполеоном континетальной блокады. Армия была огромной по сравнению с цифрой народонаселения, сгибавшегося под тяжестью налогов, разорённого войнами.

[9]

Герой, действия которого окутаны тайной, в предсмертной исповеди открывается близким — этот мотив был очень распространённым в современной А. Мицкевичу литературе, например, у Вальтер Скотта. Но в исповеди Яцка Соплицы, в отличие от десятков и сотен исторических повестей и романов, индивидуальная трагедия дана как отражение великой трагедии всего народа, утратившего свою независимость.

[10]

Ян Тенчинский, воевода белзский, в бытность свою послом в Швеции обручился с шведской принцессой Цецилией. Женитьба его не состоялась, так как по дороге в Швецию он был арестован датчанами и умер в копенгагенской тюрьме (1562).

[11]

Sanctissimum — так называемые «святые дары», священные сосуды с вином и хлебом, символизирующими кровь и плоть Христа.

[12]

В истории Польши известны такие частные («приватные») войны, за которые само государство не желало отвечать. В широчайших размерах такая «приватная» война была инсценирована польским королём в годы авантюр Лжедмитриев.

[13]

Каштеляны были сановниками ниже воевод и в сенате подразделялись на два ранга: из них старшие сидели позади воевод в креслах и назывались «кресловыми каштелянами». Таким был и витебский каштелян.

[14]

Радзивилл — князь Кароль Радзивилл (1754–1790). У него была привычка, обращаясь к приближённым, говорить «коханку» («дружок», «друг мой!», «душа моя!»); от этого постоянного присловья его и прозвали «Пане Коханку».

[15]

Кажется, Стольник был убит около 1791 года, во время первой войны (А.М.). «Первая война», упоминаемая поэтом, — это летняя польско-русская кампания 1792 года.

[16]

Шпильберг — австрийская крепость в Моравии для политических заключённых; поляков стали туда сажать после 1831 года. Такой рост преследований в Польше характерен не столько для начала XIX века, сколько для времени после 1830 года. Эти стихи звучали в год выхода в свет «Пана Тадеуша», как злободневные.

[17]

Фишер, Станислав — бывший адъютант Костюшки, генерал и начальник штаба герцогства Варшавского (при военном министре и главнокомандующем, князе Юзефе Понятовском). Убит в бородинском сражении.

[18]

Поэт опережает события почти на целый год. Наполеон начал войну против России 22 июня 1812 года. Сейм в Варшаве собрался 26 июня, а спустя два дня на сейме были объявлены образование генеральной конфедерации и воссоединение Польши. 29 июня в Вильне было постановлено возобновить унию Литвы с Короной, а 14 июля провозглашено присоединение Литвы к генеральной конфедерации.

[1]

Один из русских историков именно так описывает гадания и предчувствия русского простонародья перед войной 1812 года (А.М.). До настоящего времени многочисленные комментаторы поэмы затруднялись сказать, какого русского историка имеет здесь в виду поэт.

[2]

«Порою урожая» — По единодушным показаниям современных мемуаристов, 1812 год был необычайно хлебородным в Литве и Белоруссии.

«Для песни — вдохновеньем» — ибо польская поэзия после войны 1812 года ещё целые десятилетия возвращалась к теме этой войны.

[3]

И возвещён Литве кометой роковою… — Комету 1811 года широкие слои населения считали предзнаменованием войны 1812 года.

[4]

Мицкевич говорит не про луг, а про *ruń*, давая следующее объяснение: «Рунь — зеленеющая озимь».

[5]

В польском тексте далее следует выделенное курсивом белорусское слово «вырай», к которому Мицкевич даёт следующее объяснение:

«Вырай» означает, по существу, в народном языке осенний период, когда перелётные птицы улетают; лететь в «вырай», значит, лететь в тёплые края. Отсюда, в переносном значении, народ называет «выраем» тёплые края и вообще какие-то сказочные края, счастливые, лежащие за морем».

[6]

Это вариант лозунга, популярного у поляков в 1812 году. Этот лозунг (в день рождения Наполеона 15 августа 1812 года) вывешивали в столице на транспарантах.

[7]

Это была главная дорога третьей армии Наполеона, состоявшей из четырёх корпусов, под общей командой «короля вестфальского» (самого младшего брата Наполеона) Жерома Бонапарта. Одним из корпусов этой армии командовал кн. Юзеф Понятовский, главнокомандующий армией герцогства Варшавского и военный министр герцогства.

[8]

Польские генералы — участники похода 1812 года.

[9]

Книга «Отличный повар», теперь чрезвычайно редкая, лет полтораста тому назад изданная Станиславом Чернецким (А.М.). Книжка Стан. Чернецкого носила двойное, латинское и польское, название, а «Отличным поваром» называлась книжка Валендка, которая была в библиотеке поэта во время его первого заграничного путешествия.

[10]

Оссолинский, Ежи (1595—1650) — посол польского короля Владислава IV к Урбану VIII — папе римскому в 1633 году.

[11]

Упомянутое посольство в Рим часто описывали и изображали на картинах. См. предисловие к книге Чернецкого «Отличный повар»: «Это посольство вызвало изумление всего западного мира; и так замечательны были блеск и устройство стола, что один из римских князей воскликнул: «Рим счастлив, принимая ныне такого посла». Чернецкий сам возглавлял кухню Оссолинского» (А.М.).

[12]

Несвиж — местечко новогрудского повята, принадлежавшее князю Радзивиллу. Последний с необыкновенным великолепием принимал в 1782 году короля Станислава Августа Понятовского, против которого долгое время боролся.

[13]

В оригинале поэт говорит: «День пресвятой девы кветной» (по-польски «квят» — цветок). Такого праздника в католической церкви нет. Есть праздник «божьей матери зёльной», 15 августа (Успение Богородицы), когда по деревням несут в костёлы всякие зелья и злаки для освящения. В 1812 году этот праздник 15 августа прошёл в Новогрудке необыкновенно торжественно, т.к. он совпадал с днём рождения Наполеона. Вот этот праздник богоматери зёльной, вероятно, имел в виду поэт, перенося настроение этого дня на несуществующий весенний праздник, которому он дал вымышленное название. Ведь и вторжение наполеоновских войск он перенёс с июня —июля на весну, эту пору надежды, в ореоле которой им даны обе последние песни «Пана Тадеуша».

[14]

В Литве, после вступления французских и польских войск, были образованы по воеводствам конфедерации и выбраны депутаты на сейм (А.М.).

[15]

Известно, что под Гогенлинденом польский корпус под предводительством генерала Князевича сыграл решающую роль в победе (А.М.). Битва под Гогенлинденом произошла 3 декабря 1800 года.

[16]

Самосиерра — высоко расположенный перевал в хребте, с севера прикрывающем Мадрид. Испанцы хорошо укрепили его и не сдавались, несмотря на многократные атаки французской пехоты. Ко всеобщему изумлению, он был взят 30 ноября 1808 года, в результате кавалерийской атаки польскими уланами под командой полковника Яна Козетульского.

[17]

О равенстве таком гласит артикул третий. — В оригинале дословно: «А так как теперь у нас равенство, то статья третья равно обязательна и для горожан и для крестьян». Наполеон отклонял все предложения об освобождении крестьян. Ниже Мицкевич и сам указывает на это; ведь Тадеуш освобождает крестьян по собственному рвению и почину.

[18]

Все перечисленные ниже шляхетские роды взяты из живой действительности. Приятеля своего, Одынца, женившегося на Зофье Мацкевич, поэт ввёл шутки ради.

[19]

В битве под Грюнвальдом 15 июля 1410 года соединённые силы поляков, литовцев и русских разбили наголову войско немецкого Ордена крестоносцев.

[20]

Омела — паразитическое растение, подымающееся иногда высоко над землёю; пускает под кору дерева (редко дуба) корневидные нити, которые усажены многочисленными присосками, впивающимися в древесину.

[21]

Очень распространённая польская поговорка, основанная на легендарном великолепии дворца, выстроенного магнатом Антонием Пацом.

[22]

«Лелива» — герб шляхетского рода Соплиц: на красном поле — полумесяц вверх рогами, а в нём звезда.

[23]

Подгайцы — местечко во львовском воеводстве; здесь Ян Собесский в 1665 году одержал победу над турками.

[24]

Асессор забыл, что во второй книге он уверял, что это — подарок Радзивилла.

[25]

Асессор уже успел переметнуться на службу Наполеона; поэт с презрением отзывается о таких верных слугах любого режима.

[1]

Здесь сервиз — не в значении комплекта столовой посуды, а — особого прибора, подробно описанного в кн. XII, ниже. Традиция подобных описаний ведётся издавна, ещё со времён Гомера: знаменитое описание щита Ахилла в «Илиаде». В польской литературе, в «Монахомахии» Красицкого, есть подобное описание кубка.

[2]

Радзивилл-Сирота совершил путешествие ко «святым местам» и издал его описание (А.М.).

[3]

Вероятнее всего речь идёт о войне 1655—1660 годов при польском короле Яне Казимире, когда шведы заняли всю страну; либо о войне вначале XVIII века, когда войска Карла XII грабили и опустошали Польшу.

[4]

Аффирматива (лат.) — голос «за», негатива — голос «против».

[5]

Рефектариум (лат.) — трапезная монастыря, служившая также для собраний монахов и, как видно из настоящего описания, для шляхетских сеймиков.

[6]

Мицкевич идеализировал обычаи старой Польши, которые, по его словам, охраняли общественное спокойствие в стране лучше, чем их оберегали в современной ему Европе полиция и жандармы.

[7]

В XVI веке в Польше титул «вельможный» принадлежал только сенаторам; шляхтич на государственной или общественной службе титуловался «уродзоным» (что соответствует русскому «ваше благородие»), а шляхтич нечиновный был только «шляхетным». Спустя два века нечиновные шляхтичи уже именовали друг друга «вельможными», а самый ничтожный чин давал право величаться «ясновельможным».

[8]

Здесь королевский борщ близ польского бульона… — В описании кушаний Мицкевич следует старинным поваренным книжкам и умышленно вводит множество уже экзотически звучащих названий старопольских блюд, создавая таким образом совершенно особый колорит «последнего» старопольского пира.

[9]

В XVI и в начале XVII века, в эпоху расцвета искусства, даже пиры оформлялись художниками и были полны символов и театральных сцен. На знаменитом пиру, данном в Риме в честь Льва X, был сервиз, представлявший поочерёдно четыре времени года; он-то, должно быть, и послужил образцом для радзивилловского. Застольные обычаи изменились в Европе около середины XVIII века; в Польше они удержались дольше, чем в других странах (А.М.). Лев X Медичи занимал папский престол в 1513—1521 годах. Он слыл знатоком и покровителем искусства.

[10]

Излюбленная в XVIII веке забава, когда какой-либо искусник бросал на экран движущиеся тени, поражавшие разнообразием форм. Здесь в значении: «Да что это, наваждение, что ли?»

[11]

Пинетти был известный всей Польше фокусник; когда он гостил у нас, не знаем (А.М.). Пинетти — фокусник, по некоторым данным, не раз приезжавший в Польшу. Так, в 1796 году он был в Гродно, где развлекал Станислава Августа, отрёкшегося от польского трона.

[12]

Гервазий обращается к Домбровскому с польским титулом гетмана, который ему милее французского «генерал».

[13]

Дембинский — польский генерал. Начал кампанию 1812 года поручиком в полку карабинеров.

[14]

Дверницкий и Ружицкий — польские генералы во время ноябрьского восстания 1830 года, офицеры во время похода 1812 года.

[15]

Гервазий имеет в виду барского конфедерата (1768—1772), которым Князевич, родившийся в 1762 году, быть не мог.

[16]

Пулавский (точнее, Пулаский) Юзеф и три его сына, Францишек, Казимир и Антони, вместе с Михалом Дзержановским (упомянутым в тексте оригинала) и казаком Савой Цалинским, были участниками барской конфедерации.

[17]

В Литве широко известна трогательная песня о пани Цыбульской, которую муж проиграл москалям (А.М.).

[18]

«Орлы» — полковые эмблемы французских (золотые) и польских (серебряные) войск.

[19]

Барские конфедераты пользовались помощью Турции и Франции, стремившихся к ослаблению царской России. Франция прислала в 1770 году барским конфедератам генерала Шарля Дюмурье для инструктажа польских повстанцев, но этот генерал сыграл в Польше незавидную роль.

[20]

Фузильеры — стрелки, французское название пехотных солдат. Мацек прав, говоря, что названия родов войск в польской армии все чужеземные; но что касается фузильеров, то они были ещё при Станиславе Августе.

[21]

Армия Наполеона с первых же недель вторжения отличалась мародёрством и насилиями над мирными жителями. Вестфальцы Жерома Бонапарта в этом отношении были из первых.

[22]

Мода на французскую одежду распространялась в польской провинции от 1800 до 1812 года. Наибольшее число молодых мужчин меняло покрой одежды перед женитьбой, по желанию своих невест (А.М.).

[23]

История спора Рейтана с принцем де Нассау, не доведённая до конца, известна по устным преданиям. Чтобы удовлетворить любопытство читателей, приводим её конец: Рейтан, задетый за живое похвальбой принца де Нассау, стал возле него на «перешейке». Как раз в это время огромный кабан-одинец, разъярённый ранами и травлей, мчался на этот перешеек. Тогда Рейтан вырывает ружьё из рук принца, швыряет своё наземь и, схватив рогатину, подаёт немцу другую, со словами: «Ну, а теперь посмотрим, кто лучше работает копьём». Одинец был уже совсем недалеко, как вдруг Войский Гречеха, стоявший поодаль, метким выстрелом повалил зверя. Те сначала гневались, а потом, помирившись между собою, щедро наградили Гречеху (А.М.).

[24]

Мицкевич был горячим сторонником освобождения крестьян. Но решение Тадеуша освободить своих «подданных» представляется читателю неожиданным, оно не мотивировано его общественными взглядами, политическими убеждениями, о которых в сущности ничего не известно.

[25]

По библейскому преданию, сыновья Ноя — Хам, Сим и Иафет — стали прародителями отдельных племён и народов. Хам был якобы прародителем побеждённых евреями хананеян, рабов-земледельцев на их земле, ставшей иудейской; отсюда-то и пошла унизительная кличка «хам» для крестьянина. Старые польские летописцы (Вельский, Стрыйковский), выводя крестьянство от Хама, превращали остальных сыновей в родоначальников уже не народов, а общественных классов.

[26]

Царское правительство не признаёт вольных людей, кроме дворянства. Крестьян, освобождённых их владельцем, тотчас же записывают в «сказки» удельного ведомства, и они вместо барщины платят ещё больший оброк. Известно, что в 1818 году граждане Виленской губернии приняли на сеймике проект освобождения всех крестьян и с этой целью избрали делегацию к императору; но правительство приказало уничтожить проект и больше никогда не вспоминать о нём. При царском режиме нет другого способа освободить человека, как усыновив его. И многие таким образом получили дворянство, из милости или же за деньги (А.М.).

Игнацы Карп — хорунжий упицкий, один из богатейших помещиков Литвы, дал отпускную своим крестьянам.

Этой заметкой, некоторая очевидная неточность которой продиктована ненавистью Мицкевича к царизму и крепостничеству, заканчиваются «Объяснения» поэта к «Пану Тадеушу».

[27]

Беллона — богиня войны в римской мифологии.

[28]

Гимен или Гименей — бог брака в греческой мифологии.

[29]

Борей (греческая мифология) — бог северного ветра, здесь — окружённый божками, маленькими ветрами, которые дуют, сколько у них сил (и потому они «толстощёкие», точнее, с надутыми щеками).

[30]

Примы — «первые», самые тонкие струны, издающие самый высокий звук.

[31]

Мессия (древнеевр.) — помазанник. В период упадка иудейского царства еврейские пророки возвещали приход короля из династии Давида, который возвратит Израилю его былую силу.

[32]

Полонез — народный польский танец; народ так и называет его — «польский»; так его часто называли и в России в прошлом веке.

[1]

Опубликован посмертно, в 1860 году. Его принимали долгое время за вступление к поэме. Но Мицкевич написал его после «Пана Тадеуша» и с тем,, чтобы поместить его в конце поэмы. Некоторые старые мицкевичеведы, убеждённые в том, что пред ними введение, а не эпилог, произвольно меняли первый стих, давая вместо: «о том же» — «о чём же». Недоразумение было окончательно устранено строго аутентичной публикацией 1925 года.

[2]

В апреле 1832 года польская эмиграция во Франции была отдана под особый надзор полиции. С этих пор достаточно было ничтожного повода, чтобы французское правительство лишало права убежища того или иного, а иногда и целую группу эмигрантов.

[3]

Болеслав I Храбрый (992–1025), из дома Пястов, основатель польского государства, король с 1024 года. На западе граница Польши выходила тогда за р. Одер; это — древние «пястовские земли», захваченные впоследствии немцами и возвращённые после второй миро-вой войны Польше. На востоке, из-за начавшегося от опустошительных набегов кочевников упадка Киевской Руси, граница Польши дошла до Днепра; здесь, на обширных пространствах Правобережья, в течение нескольких столетий шло этнографическое становление украинского народа, только в нашу эпоху закончившего объединение всех своих временно отторженных земель и создавшего своё цветущее советское государство.

[4]

Юстина — возлюбленная поэта Францишка Карпинского (1741—1825), которую он воспевал в своих песнях и идиллиях; многие из них стали достоянием польского фольклора; «Веслав» — идиллическая поэма Казимира Бродзинского (1791—1835).

[5]

В римском Капитолии в средние века и в эпоху Возрождения торжественно венчали лавровым венком признанных поэтов.